# Чиновники

# Оноре де Бальзак

Графине Серафине Сан-Северино, урожденной Порча.

*Вынужденный читать все, чтобы по возможности никого не повторять, я несколько дней тому назад перелистывал триста рассказов, более или менее озорных, — творение Банделло, писателя шестнадцатого века, французам малоизвестное и недавно вновь опубликованное во Флоренции, в собрании итальянских повестей. И вот я обнаружил там имя, которое носите Вы и граф, и это поразило меня столь живо, как если бы передо мною были, сударыня, Вы сами. Впервые довелось мне прочесть Банделло в оригинале, и я не без удивления обнаружил, что каждой повести, хотя бы в ней было всего пять страниц, предпослано письмо с посвящением королям, королевам и наиболее примечательным современникам, среди которых встречаются имена миланской, флорентийской, генуэзской и пьемонтской знати: Пьемонт — родина Банделло. Это Дольчини из Мантуи, Сан-Северино из Кремы, Висконти из Милана, Гвидобони из Тортоне, Сфорца, Дориа, Фрегозе, Данте Алигьери (один еще существовал в те времена), Фраскаторы, королева Маргарита Французская, император Германии, король Богемии, Максимилиан эрцгерцог австрийский, Медичи, Соули, Паллавичини, Бентивольо из Болоньи, Содерини, Колонна, Скалигеры, испанские Кардоны Из французских имен я нашел там: Мариньи, Анну де Полиньяк — принцессу де Марсийак и графиню де Ларошфуко, кардинала д'Арманьяка, епископа Кагорского — словом, весь высший свет того времени, счастливый и польщенный своей перепиской с преемником Боккаччо. Убедился я также и в особом благородстве характера Банделло: украсив свое творение этими прославленными именами, он оказал внимание и своим личным друзьям. После синьоры Галлерана, графини Бергамской, следует врач, которому Банделло посвятил свою повесть о Ромео и Джульетте; после la singora molto magnifica Нуpolita Visconti ed Atellana[[1]](#footnote-1) упомянут простой капитан легкой кавалерии Ливио Ливиано; после герцога Орлеанского — какой-то проповедник, после госпожи Риарио — messer magnifico Cirolamo Ungaro, mercante lucchesse[[2]](#footnote-2), некий добродетельный человек, которому Банделло рассказывает, как один genliluomo novarese sposa una che era sua sorella et figliuola, non lo sapendo[[3]](#footnote-3), — сюжет, присланный автору королевой Наваррской. И вот я решил, что могу, следуя Банделло, отдать одно из своих повествований под покровительство d'una virtuosa, gentillissima, illustrissima contessa Serafina San-Severina[[4]](#footnote-4) и высказать свои истинные чувства, которые будут казаться лестью. Признаюсь — я горд возможностью подтвердить, что во Франции и повсюду, и нынче и в шестнадцатом столетии, писатель — на какой бы этаж его ни вознесли прихоти моды — за все оскорбления, клевету и злобную критику бывает вознагражден благородной и прекрасной дружбой, чье одобрение помогает ему терпеть докуки литературной жизни. Ведь Париж, этот мозг мира, столь понравился Вам постоянным волнением мысли и был так глубоко постигнут Вами благодаря чисто венецианской изощренности Вашего ума; Вы так полюбили богатый картинами художественный салон покойного Жерара, где в собрании европейских иллюстраций отображена вся последняя четверть века, как в произведениях Банделло — его время; затем, волшебные празднества и блистательные торжества, которые устраивает Париж, эта могущественная и опасная сирена, — все это так Вас пленило, Вы с такой непосредственностью высказывали Ваши впечатления, что, наверное, не откажетесь взять под свое покровительство и картину того своеобразного мира, который, вероятно, незнаком Вам, но не лишен интереса. Как хотелось бы мне поднести Вам какую-нибудь поэму, ибо в Вашем сердце и душе столько же поэзии, сколько и в Вашем облике; но если бедный прозаик не в состоянии дать больше, чем у него есть, то, может быть, он искупит в Ваших глазах скромность своего дара почтительным выражением искреннейшего и глубочайшего восхищения, которое Вы всем внушаете.*

Дe Бальзак.

В Париже, где между чиновниками канцелярий и представителями умственного труда есть кое-что общее, ибо они живут в той же среде, вам, вероятно, приходилось встречать фигуры, подобные г-ну Рабурдену, состоявшему в ту пору, с которой начинается наше повествование, правителем канцелярии одного из крупнейших министерств. Представьте себе человека лет сорока, уже седеющего — впрочем, эта седина столь приятного оттенка, что смягчает меланхолическое выражение его лица и может даже нравиться женщинам; глаза — голубые, полные огня, лицо — еще белое, но нездорового цвета, с красными пятнами; лоб и нос — как у Людовика XV, губы строго сжаты; Рабурден высокого роста, худощав — вернее, изможден, как будто он недавно перенес тяжелую болезнь, его походка нетороплива, в ней и небрежность гуляющего и сосредоточенность занятого человека. Если набросанный нами портрет уже позволяет догадываться о характере оригинала, то манера одеваться, быть может, выставит этот характер еще рельефнее. Повседневная одежда Рабурдена — длинный синий сюртук, белый галстук, клетчатый жилет а-ля Робеспьер, черные панталоны без штрипок, серые шелковые чулки и открытые башмаки.

Обычно Рабурден, побрившись и наскоро выпив чашку кофе, выходил из дому ровно в восемь часов утра, минута в минуту, и все теми же улицами шел в министерство; внешний облик его был столь щепетильно безупречен, что его можно было принять за англичанина, шествующего в свое посольство. По многим существенным чертам вы угадали бы, что перед вами — отец семейства, снедаемый неприятностями дома и удрученный заботами на службе, однако имеющий достаточно философический склад ума, чтобы принимать жизнь такой, какова она есть; что это человек честный, который любит свое отечество и служит ему, хотя не скрывает от себя препятствий, возникающих на пути тех, кто стремится к благу; что он осторожен, ибо знает людей, и отменно вежлив с женщинами, ибо ничего от них не ждет; что это, наконец, человек, который умудрен житейским опытом, ласков с подчиненными, замкнут с равными и полон чувства собственного достоинства перед начальниками.

В ту пору, когда его застает наш рассказ, вы отметили бы в нем какую-то холодную покорность судьбе, присущую тем, кто похоронил иллюзии своей молодости и отказался от ее честолюбивых мечтаний; вы признали бы в нем человека разочарованного и если еще не поддавшегося отвращению и упорствующего в осуществлении своих первоначальных планов, то не столько в надежде на сомнительную победу, сколько ради применения своих способностей. У Рабурдена не было ни одного ордена, и он считал слабостью то, что в первые дни Реставрации носил орден Лилии[[5]](#footnote-5).

В жизни его были черты некоторой загадочности: он не знал отца; мать — по его воспоминаниям, необычайно красивая женщина — жила, окруженная ослепительной роскошью: дорогие наряды, собственный выезд, вечный праздник. Мальчик видел ее редко, и она почти ничего ему не оставила; но она дала ему воспитание, обычное поверхностное воспитание, которое так сильно развивает в юношах честолюбие и так мало — их таланты.

В шестнадцатилетнем возрасте, за несколько дней до смерти матери, он оставил Наполеоновский лицей и поступил сверхштатным чиновником в министерство, а вскоре благодаря неведомому покровителю был зачислен в штат. В двадцать два года Рабурден был уже помощником правителя канцелярии, в двадцать пять — правителем канцелярии. С этого дня рука, поддерживавшая его, помогла ему всего один раз: она ввела его, бедняка, в дом г-на Лепренса, бывшего оценщика, вдовца, имевшего единственную дочь и слывшего чрезвычайно богатым. Ксавье Рабурден без памяти влюбился в мадемуазель Селестину Лепренс; ей было тогда семнадцать лет, и она держалась, как подобает невесте с двумястами тысячами франков приданого. Тщательно воспитанная матерью, которая была натурой артистической и передала ей все свои таланты, молодая особа могла рассчитывать на внимание самых высокопоставленных мужчин. Селестина была девица рослая, красивая, великолепно сложенная, она владела несколькими языками, приобрела кое-какие познания в науках — опасное преимущество, обязывающее женщину ко многим предосторожностям, не то она обратится в педантку. Мать, ослепленная неразумной любовью к дочери, внушила ей обманчивые надежды на необыкновенное будущее: только, мол, какой-нибудь герцог, посланник, маршал Франции или министр мог бы предоставить ее дочери подобающее место в обществе. Кстати сказать, у этой девицы и речь, и манеры, и все обращение были сугубо великосветскими. Одевалась она элегантнее и роскошнее, чем полагается барышне на выданье, и мужу оставалось прибавить к этому только счастье. Да и тут баловство, которым ее неизменно окружала мать, умершая через год после свадьбы дочери, делало для влюбленного даже эту задачу довольно затруднительной. Сколько же нужно было выдержки и самообладания, чтобы руководить подобной женщиной! Напуганные буржуа вскоре отступились. И вот г-н Лепренс предложил Селестине в супруги сироту Ксавье, единственным достоянием которого было место правителя канцелярии. Она долго не соглашалась. Против самого претендента у мадемуазель Лепренс не было никаких возражений: он был молод, красив, влюблен. Но ей не хотелось называться госпожой Рабурден. Отец уверял ее, что люди такого склада, как Рабурден, становятся министрами. А Селестина возражала, что при Бурбонах никогда человек с подобной фамилией не сделает карьеры и т. д. и т. д. Выбитый из своих позиций, отец совершил большую оплошность, приоткрыв дочери доверенную ему тайну и сообщив, что его будущий зять станет именоваться «Рабурден де...» раньше, чем достигнет возраста, необходимого для депутатства. По его словам, Ксавье предстояло вскоре занять пост докладчика государственного совета и вместе с тем главного секретаря своего министра. А оттуда-де молодому человеку уже нетрудно совершить скачок в сферы высшей административной власти, если он притом получит состояние и знатное имя от некоего завещателя, ему, Лепренсу, известного. Брак состоялся.

Супруги Рабурдены поверили в таинственного и всемогущего покровителя, на которого намекал оценщик. Ослепленные надеждой и беззаботные, как все молодожены в первую пору любви, г-н и г-жа Рабурден растратили за пять лет около ста тысяч франков. Но тут Селестина спохватилась и, встревоженная тем, что муж до сих пор не продвигается на служебном поприще, пожелала вложить в земли сто тысяч, оставшиеся от ее приданого, — что, впрочем, давало весьма мало дохода; все же она утешала себя надеждой, что наследство, полученное от отца, со временем вознаградит их за благоразумную бережливость и они будут жить в полном довольстве. Когда бывший оценщик понял, что зять лишился могущественного покровительства, он, из любви к дочери, сделал попытку исправить последствия этого тайного крушения и рискнул частью своего состояния, отважившись на спекуляцию, которая сулила большие выгоды. Однако бедняга жестоко пострадал при очередной ликвидации долгов банкирским домом Нусинген и умер с горя, оставив дочери всего несколько прекрасных картин, которые она повесила в своей гостиной, и кое-какую старинную мебель, которую она отправила на чердак. Восемь лет напрасных ожиданий заставили г-жу Рабурден наконец понять, что покровителя ее мужа, видимо, постигла смерть, а завещание или уничтожено, или затерялось. За два года до кончины г-на Лепренса освободилось место начальника отделения, но оно было отдано некоему господину де ла Биллардиеру, родственнику одного из депутатов правого крыла, назначенного в 1823 году министром. Прямо хоть выходи в отставку! Однако мог ли Рабурден отказаться от восьми тысяч жалованья и от наградных, когда его семья уже привыкла тратить эту сумму, составлявшую три четверти их доходов? К тому же, остается потерпеть лишь несколько лет, и он получит право на пенсию! Но какое унижение для женщины, которая питала в юности такие большие притязания, притом почти законные, и считалась женщиной выдающейся!

Госпожа Рабурден оправдала надежды, которые подавала мадемуазель Лепренс: у нее были все данные для внешнего превосходства, столь нравящиеся людям; ее обширное образование позволяло ей поддерживать разговор с кем угодно, она была, без сомнения, талантлива, одарена умом независимым и возвышенным, пленяла собеседника разнообразием и оригинальностью мыслей. Но эти качества, полезные и уместные для принцессы, для супруги посла, едва ли нужны в таком семействе, где вся жизнь течет на самом будничном уровне. Люди, наделенные даром слова, жаждут слушателей, любят говорить подолгу и иногда бывают даже утомительны. Чтобы удовлетворить потребности своего ума, г-жа Рабурден раз в неделю устраивала приемы и, привыкнув тешить свое самолюбие, часто выезжала в свет. Читатели, знакомые с парижской жизнью, поймут, что должна была перестрадать такая женщина, осужденная задыхаться в тесном семейном кругу, связанная по рукам и ногам скудостью материальных средств. Несмотря на все наши дурацкие декламации о ничтожестве денег, живя в Париже, необходимо опираться на точный расчет, почтительно склонять голову перед цифрами, лобызать раздвоенное копыто золотого тельца.

Нелегкая задача — прожить на двенадцать тысяч в год целой семьей, — у Рабурдена было двое детей, — держать кухарку и горничную и платить сто луидоров за квартиру по улице Дюфо, на третьем этаже. Прежде чем перейти к другим крупным расходам по дому, вычтите из этой суммы стоимость экипажа и туалетов г-жи Рабурден — ибо ее туалеты были на первом месте, — а потом посмотрите, много ли могло остаться на воспитание детей (девочки семи лет и мальчика девяти), содержание которых, даже при казенном пособии на обучение, обходилось все же в две тысячи франков, и вы поймете, почему г-же Рабурден с трудом удавалось выкраивать на карманные расходы мужу каких-нибудь тридцать франков в месяц. Почти все парижские мужья довольствуются тем же, иначе их объявят чудовищами. Эта женщина, считавшая, что она предназначена блистать и властвовать в свете, оказалась вынужденной растрачивать свой ум и таланты в отвратительной и для нее неожиданной борьбе, в рукопашных схватках со своей приходо-расходной книгой. Какая мука для самолюбия хотя бы в том, что после смерти отца ей пришлось даже рассчитать лакея! Большинство женщин надламываются в этой повседневной борьбе, начинают жаловаться на судьбу, а в конце концов с ней примиряются. Но Селестина не желала признать свое поражение, — наоборот, ее честолюбие росло вместе с препятствиями; и вот, чувствуя, что она не в силах преодолевать эти повседневные препятствия, она решила устранить их одним ударом. На ее взгляд, все те сложные пружины, которые двигают жизнью, составляли своего рода гордиев узел: его нельзя распутать, но гений должен его рассечь. Отнюдь не склонная мириться с ничтожностью и серостью мещанского существования, г-жа Рабурден из себя выходила оттого, что ее надежды на блестящее будущее все еще не осуществлялись, и обвиняла судьбу в обмане. Селестина в самом деле вообразила себя необыкновенной женщиной. Возможно, что так оно и было, и при обстоятельствах необычных она обнаружила бы и необычное величие духа; может быть, она действительно оказалась не на месте. Ведь нельзя не признать, что и среди женщин не меньше, чем среди мужчин, существует разнообразие типов, их создают людские общества для своих потребностей. Но общество, так же как и природа, порождает больше ростков, чем деревьев, и больше икринок, чем вполне развившихся рыб. Многим талантам, многим Атаназам Грансонам[[6]](#footnote-6) суждено погибнуть, подобно семенам, упавшим на каменистую почву. Конечно, существуют женщины-хозяйки, женщины, созданные для утех, для роскоши или только для того, чтобы быть супругами, матерями, любовницами, женщины, преданные лишь духовным интересам или исключительно материальным, — как существуют среди мужчин художники, солдаты, ремесленники, поэты, негоцианты, люди, знающие толк лишь в деньгах, в земледелии или управлении. Однако причудливый ход событий порождает немало противоречий: много званых, да мало избранных — этот закон имеет силу не только в небесной, но и в земной жизни. Г-жа Рабурден чувствовала в себе силы быть советчицей государственного деятеля, вдохновлять художника, служить интересам изобретателя и помогать ему в его борьбе с препятствиями, посвятить свою жизнь финансовой политике какого-нибудь Нусингена, поддерживать блеск какого-нибудь громадного состояния. Может быть, она этим старалась оправдать свое отвращение к счетам из прачечной, к ежедневной проверке кухонных закупок, к мелочной бережливости и заботам об убогом хозяйстве. Она приписывала себе превосходство в той области, которая была ей по душе. Столь живо ощущая на каждом шагу острые шипы, испытывая муки, которые можно сравнить с муками святого Лаврентия, когда его поджаривали на угольях, она, естественно, испускала вопли. И вот, во время приступов раздраженного честолюбия, в минуты, когда уязвленное тщеславие доставляло ей нестерпимую боль, Селестина осыпала упреками Ксавье Рабурдена. Разве не дело мужа — создать жене приличное положение? Будь она мужчиной, у нее уж хватило бы энергии быстро добиться успеха и дать счастье любимой женщине! Она корила его за излишнюю честность. Для иных женщин обвинить в этом мужа — все равно что назвать его дураком. Она предлагала ему блестящие планы, пренебрегая теми препятствиями, которые создаются людьми и обстоятельствами; подобно всем женщинам, захваченным каким-либо неодолимым чувством, она мысленно зашла в своем макиавеллизме[[7]](#footnote-7) дальше, чем какой-нибудь Гондревиль[[8]](#footnote-8), стала циничнее Максима де Трай[[9]](#footnote-9). Ум Селестины в такие мгновения становился как бы всеобъемлющим, она любовалась собой и безграничным размахом своих замыслов. Однако Рабурден, знавший жизнь, остался холоден к этой роскошной игре воображения. Огорченная Селестина решила, что ее муж ограничен, робок, недалек, и постепенно создала себе самое неправильное мнение о своем спутнике жизни: ведь она неизменно подавляла его своей блестящей аргументацией, а так как ее собственные мысли рождались внезапно, подобно вспышкам, она никогда не давала ему высказаться, если он пытался что-нибудь ей объяснить, ибо не желала потерять даром хотя бы одну искорку своего ума. С первых же дней брака Селестина, почувствовав, что муж любит ее и восхищается ею, перестала с ним считаться; пренебрегая всеми обязанностями, налагаемыми супружеством, не оказывая никакого внимания спутнику своей жизни, она требовала, чтобы он во имя любви к ней прощал решительно все ее небольшие провинности, и так как она не хотела исправиться, то стала властвовать. При таком положении дел муж чувствует себя перед женой, как воспитанник перед своим учителем, который не может или не хочет поверить, что ребенок, которым он руководил, уже стал взрослым. Подобно г-же де Сталь[[10]](#footnote-10), кричавшей на всю гостиную человеку, гораздо более значительному, чем она: «А знаете, вы только что высказали глубокую мысль!» — госпожа Рабурден отзывалась о своем муже: «А знаете, он иногда бывает умен». Ее отношение к мужу, которого она так упорно подчиняла себе, стало сказываться в неуловимой игре чувств, отражавшихся на ее лице. Вся ее манера обходиться с ним свидетельствовала о том, что она его не уважает. Таким образом, сама того не ведая, она повредила ему, ибо люди, прежде чем судить о человеке, прислушиваются к тому, что говорит о нем жена, — словом, требуют того, что женевцы называют «предварительным суждением».

Когда муж заметил, до каких ошибок его довела любовь, то ничего не мог изменить, так как их отношения уже сложились, и мучился молча. Рабурден принадлежал к числу людей, которые наделены в равной мере и чувством и умом, — благородство души сочеталось у него с развитой силой мышления; поэтому он был не только судьей своей жены, но и ее защитником. Он уверял себя, что природа предназначила Селестину для роли, которая не удалась именно по его вине: Селестина попала в положение чистокровного английского скакуна, запряженного в телегу с булыжником, и, конечно, страдала, — словом, муж осудил не ее, но себя. Кроме того, изо дня в день повторяя одно и тоже, Селестина внушила и ему веру в ее особую одаренность. В семейной жизни мнения заразительны. Девятое термидора, подобно многим другим событиям величайшей важности, было результатом женского влияния. Побуждаемый честолюбивой женой, Рабурден уже давно стал обдумывать, как бы удовлетворить ее желания, однако до поры до времени скрывал от нее свои надежды, чтобы не причинить ей новых страданий. Этот достойный человек поставил себе целью во что бы то ни стало выдвинуться на поприще административного управления при помощи меткого удара. Он задумал одну из тех революций, которые обычно ставят человека во главе той или другой части человеческого общества; впрочем, неспособный по своей натуре произвести переворот ради своей выгоды, он просто обдумывал ряд полезных преобразований и мечтал о победе, достигнутой благородными средствами. У редкого чиновника не рождались такие намерения, одновременно честолюбивые и великодушные. Однако у чиновников, как и у художников, замыслы в большинстве случаев появляются на свет преждевременно, ибо, как справедливо выразился Бюффон[[11]](#footnote-11), «гений — это терпение».

Рабурден имел возможность изучить административную власть во Франции и наблюдать действие ее механизма; его мысль начала работать в той области, с которой его связала судьба (что, добавим в скобках, наблюдается во многих человеческих начинаниях), — и в конце концов он изобрел новую систему управления. Зная тех людей, с какими ему предстояло иметь дело, он не коснулся самого механизма, который действовал тогда, действует теперь и еще долго будет действовать, ибо предложение его перестроить всех напугало бы; но он полагал, что никто не отказался бы от возможности его упростить. Следовательно, задача состояла в том, чтобы более целесообразно применить те же силы. Его план сводился в основном к тому, чтобы изменить налоговую систему и уменьшить налоги без ущерба для доходов государства, добившись преобразованием бюджета, который вызывал тогда столь яростные споры, вдвое больших результатов, чем нынешние. Долголетний опыт убедил Рабурдена в том, что во всяком деле совершенство достигается путем простых перестановок. Экономить — значит упрощать. А упростить — значит уничтожить лишние части административного механизма и произвести служебные перемещения. Поэтому система Рабурдена опиралась на упразднение некоторых должностей и требовала новой ведомственной номенклатуры. В этой идее упразднения, может быть, и кроется причина той ненависти, которую обычно вызывают новаторы. Упразднения должностей, необходимые для усовершенствования всей системы, но вначале непонятные, угрожают благополучию людей, и те нелегко соглашаются изменить условия своего существования. О подлинном величии Рабурдена свидетельствовало то обстоятельство, что он умел сдержать энтузиазм, овладевающий всеми изобретателями, и терпеливо искал для каждого мероприятия возможности плавного перехода от старого к новому, как бы по способу зубчатого сцепления, предоставляя времени и опыту показать, насколько хороши все эти реформы. Они были до того огромны, что могли представиться даже неосуществимыми, если при беглом анализе этого плана упустить из виду вышеупомянутую основную мысль. Поэтому небезынтересно выяснить на основе его собственных рассказов, хотя бы и очень неполных, какова была та отправная точка, с которой он стремился объять весь административный горизонт Франции. Наше повествование, стремящееся вскрыть самую сущность интриги, быть может, также объяснит и некоторые печальные особенности современных нравов.

Началось с того, что Рабурден был потрясен жалким существованием, которое вели чиновники: Ксавье недоумевал, почему они все больше впадают в ничтожество; он стал доискиваться причины и нашел, что она кроется в маленьких частичных революциях, возникавших как отзвук великой бури 1789 года; эти маленькие революции обычно не привлекают внимания историографов грандиозных событий, хотя, в конечном счете, именно под их воздействием наши нравы стали такими, каковы они есть.

Прежде, во времена старой монархии, бюрократических армий не существовало. Чиновники, весьма немногочисленные, подчинялись первому министру, находившемуся в постоянном общении с королем, и, таким образом, почти непосредственно служили королю. Начальников этих усердных слуг называли просто «старшими приказчиками». Там, где король не распоряжался самолично, например, в административных управлениях, ведавших откупами, чиновники были в глазах своих начальников тем же, чем приказчики торговых домов для своих хозяев: они проходили обучение, которое должно было помочь им стать самостоятельными людьми. Таким образом, любая точка окружности связывалась с центром и получала от него жизнь. Тогда существовали преданность и верность. С 1789 года государство, или, если угодно, отечество, заменило собой государя. Вместо того чтобы находиться в прямом ведении первого должностного лица, наделенного политической властью, приказчики, несмотря на все наши возвышенные идеи относительно отечества, сделались правительственными чиновниками, а их начальники носятся без руля и без ветрил, по воле некоей власти, именуемой министерством, притом не знающей сегодня, будет ли она существовать завтра. Но так как имеются текущие дела, которыми кто-то должен заниматься, то известное число приказчиков все же удерживается на поверхности, — они знают, что они нужны, хотя их могут рассчитать в любую минуту, и стараются усидеть на своих местах. Так родилась Бюрократия — эта гигантская сила, приводимая в действие пигмеями. Наполеон, подчинявший всех и вся своей воле, ненадолго отсрочил ее развитие, задержал тяжелый занавес, который, опустившись, должен был отделить осуществление полезных замыслов от того, по чьему приказу они осуществляются, и бюрократия окончательно сложилась лишь при конституционном правительстве, неизбежном покровителе ничтожеств, большом любителе сопроводительных документов и счетов, придирчивом, как мещанка. Пользуясь тем, что министры находятся в постоянной борьбе с четырьмя сотнями посредственности и десятком хитрых и недобросовестных честолюбцев, чиновники канцелярий поспешили стать необходимой частью управления, живое дело подменили делом бумажным и сотворили себе из косности кумир, носящий имя Докладной записки. Поясним, что это такое.

Короли, обзаведясь министрами, — а это случилось лишь при Людовике XV, — больше не захотели совещаться, как в старину, с виднейшими государственными мужами и потребовали, чтобы министры составляли им докладные записки по всем важным вопросам. Канцелярии же постепенно заставили министров в этом отношении подражать королям. А так как министрам приходилось защищать свои мероприятия и перед обеими палатами и перед двором, то они ходили на поводу у своих докладчиков. При решении любого важного вопроса, даже самого срочного, министр неизменно заявлял: «Я затребовал докладную записку». И вот докладная записка стала для дела и для министра тем же, чем она является в палате депутатов при отмене или принятии закона, — как бы рекомендацией, где доводы за и против изложены более или менее пристрастно, — поэтому министр, так же как и палата, после докладной записки может разобраться в деле не лучше, чем до нее. Решения принимаются тут же. Ведь как бы там ни было, а неизбежно настает минута, когда надо сделать тот или иной выбор, и чем больше выдвигается доводов за и против, тем менее здраво решение. Самые прекрасные деяния в истории Франции совершались тогда, когда не существовало еще никаких докладных записок и решения принимались немедленно. Высшее правило для государственного деятеля — это умение применять к любому случаю точные формулы, как делают судьи и врачи. Рабурден исходил из мысли: «на то и министр, чтобы быть решительным, знать дела и твердо вести их». А между тем он видел, что во Франции докладная записка царит надо всеми — от полковника до маршала, от полицейского комиссара до короля, от префекта до министра; царит при обсуждении закона в палате и при его утверждении. Начиная с 1818 года все стало обсуждаться, взвешиваться и оспариваться устно и письменно, все становилось словесностью. Однако, невзирая на блестящие докладные записки, страна шла к гибели, она предпочитала рассуждать, а не действовать. За год составлялся чуть не миллион докладных записок! Это и было царствованием Бюрократии. Канцелярские дела, папки, бесконечные сопроводительные документы, без которых Франция якобы пропадет, циркуляры, без которых она якобы не сможет жить, разрастались и приумножались с каждым днем.

Бюрократия своекорыстно поддерживала недоверие к отчетам о приходах и расходах: она клеветала на административную власть ради выгоды администраторов. Словом, подобно лилипутам, опутавшим Гулливера тончайшими нитями, она опутала Францию по рукам и ногам системой парижской централизации, как будто с 1500 по 1800 год страна, не имея тридцати тысяч приказчиков, так ничего и не совершила. Чиновник, присосавшись к государству, словно омела — к груше, сделался совершенно к нему равнодушен. Вот как это произошло: обязанные подчиняться правителям или палатам, предписывающим им известные ограничения в бюджете, и вместе с тем вынужденные все же сохранять своих работников, — министры уменьшали оклады и увеличивали число должностей, считая, что чем больше людей будет на службе у правительства, тем правительство будет сильнее. Однако аксиомой является именно обратный закон — и он действует во всей вселенной: энергия рождается только при небольшом числе действующих сил. И поэтому событие, совершившееся около июля 1830 года, показало всю ошибочность этой тяги Реставрации к министериализму. Чтобы какое-либо правительство пустило корни в жизни нации, нужно уметь связать с ним интересы, а не людей.

Доведенный до презрения к правительству, лишавшему его и жалованья и значения, чиновник стал относиться к нему, точно куртизанка к старому любовнику: по деньгам и услуги — положение, которое было бы признано невыносимым как для администрации, так и для чиновника, если бы только обе стороны решились над ним задуматься и если бы голос чиновников с крупными окладами не заглушал голоса мелкоты. Чиновник, занятый только мыслью о том, как бы удержаться на месте, получать жалованье и дотянуть до пенсии, считал, что все дозволено ради столь великой цели. Это приводило приказчика к сервилизму, порождало постоянные интриги в недрах министерств, где мелкие приказчики боролись против выродившейся аристократии, которая охотно паслась на общественных угодьях буржуазии и требовала мест для своих разоренных сынков. Незаурядный администратор вынужден был с трудом пробираться между этими извилистыми изгородями, гнуть спину, ползти, нырять в грязь вертепов, где появление умного человека вызывало всеобщий испуг. Честолюбивый гений мог дожить до седых волос — и не добиться тиары: он уподоблялся Сиксту Пятому[[12]](#footnote-12) — и все-таки начальником канцелярии не становился. Удерживались на местах и зачислялись на службу только лентяи, бездарности и тупицы.

Так постепенно административная власть во Франции переходила в руки посредственностей. И бюрократия, состоявшая целиком из ничтожных людишек, обращалась в препятствие к процветанию страны; она семь лет мариновала в своих папках проект канала, который поднял бы производительность целой провинции; она всего пугалась, поддерживала всякую волокиту, увековечивала всякие злоупотребления, лишь бы увековечить собственное существование; она вела на поводу всех и вся, даже самого министра; она душила талантливых людей, осмеливавшихся действовать самостоятельно или указывать ей на ее глупость. Только что был опубликован список пенсионеров, и Рабурден обнаружил в нем фамилию одного канцелярского служителя, которому было назначено содержание выше, чем какому-нибудь израненному в сражениях старику полковнику. В этом факте перед нами вся история бюрократии как на ладони. Еще одну язву, вызванную современными нравами и способствовавшую внутреннему разложению чиновничества, Рабурден видел в том, что в Париже среди чиновников нет подлинной субординации, что между начальником какого-нибудь важного отдела и последним экспедитором существует совершенное равенство. Среди рядовых чиновников есть и поэты и коммерсанты, и за пределами канцелярии каждый главенствует на каком-нибудь поприще. Чиновники отзываются друг о друге безо всякого уважения. Образование, расточаемое без толку среди масс, не приводит ли нынче к тому, что сын министерского швейцара вершит судьбы заслуженного лица или крупного собственника, у которого отец его некогда был дворником? Поступивший вчера новичок может спихнуть старого служаку; какой-нибудь сверхштатный шалопай с набитым червонцами кошельком, отправляясь в тильбюри на прогулку в Лоншан, обдает грязью своего начальника и говорит своей хорошенькой спутнице, показывая кончиком хлыста на плетущегося пешком бедного отца семейства: «Вон идет мой патрон!» Либералы называли такое положение вещей прогрессом, Рабурден же видел, что самую сердцевину власти разъедает анархия. Ведь он достаточно наблюдал бесчисленные интриги — точно в серале между евнухами, женщинами и глупыми султанами, — мелочные свары, достойные монахинь, затаенные обиды, бессмысленное глумление, дипломатические хитрости, которыми можно было бы испугать даже посла (и все это ради наградных или прибавки к жалованью), бури в стакане воды, дикарские подвохи по отношению к самому министру. Вместе с тем он видел, как люди действительно полезные, труженики, становились жертвами этих паразитов; как люди, преданные своему отечеству, резко выделявшиеся в толпе бездарностей, терпели поражение от гнусных происков.

Все шло к тому, чтобы высшие должности распределялись влиятельными депутатами, а не королевской властью, чтобы чиновники рано или поздно сделались только колесиками огромной государственной машины, и весь вопрос сводился к тому, чтобы они были более или менее смазаны. Это роковое убеждение, уже сложившееся у многих порядочных людей, ослабляло действие немалого числа честных докладных записок о тайных язвах страны, обезоруживало немало смельчаков, растлевало самых неподкупных, утомленных постоянными несправедливостями, подточенных постоянными огорчениями, и порождало в них преступную беспечность. Один-единственный приказчик братьев Ротшильдов ведет же корреспонденцию со всей Англией, — значит, достаточно было бы одного чиновника, чтобы сноситься со всеми префектами; но там, где один человек учится, как добиваться успеха, другой бесплодно растрачивает время, жизнь и здоровье. Отсюда и все зло.

Правда, государству как будто еще не угрожает гибель только оттого, что талантливый чиновник выходит в отставку и его заменяет ничтожество. К несчастью наций, ни один человек не кажется им необходимым для их существования. Но когда мельчает все, нации перестают существовать. Каждый может в этом наглядно убедиться, отправившись в Венецию, Мадрид, Амстердам, Стокгольм или Рим, где некогда блистало великое могущество, ныне рухнувшее, потому что в него просочилась подлость и залила даже вершины. В час борьбы все оказалось немощным, и после первой же атаки государство пало. И если мы преклоняемся перед удачливым болваном и равнодушны при падении даровитого деятеля — то это результат нашего плачевного воспитания и наших нравов, доводящих умного человека до мрачной иронии, а гения — до отчаяния. Но какая трудная задача — реабилитировать чиновничество именно в ту минуту, когда либералы вопили в своих газетах и внушали рабочим производственных мастерских, что платить чиновникам жалованье — значит беспрестанно обворовывать казну; когда они изображали статьи бюджета в виде пиявок и ежегодно выступали с запросами, на что же идет миллиард налогов! Рабурден считал, что отношения между чиновником и бюджетом те же, как между игроком и игрой: все, что она ему дает, он ей возвращает. Крупный оклад требует и большого труда; а платить человеку лишь тысячу франков в год за то, чтобы он отдавал все свое время службе, — разве это не значит порождать воровство и нищету? Содержание каторжника обходится государству почти столько же, а работает он меньше. Но чтобы человек получал от государства двенадцать тысяч в год и за это посвятил всего себя своей стране, такой договор выгоден для обеих сторон и может привлечь даровитых людей!

Эти размышления привели Рабурдена к мысли о коренном изменении всего состава служащих. Следовало сократить их число, удвоить или утроить оклады и отменить пенсии; брать на службу людей молодых, как делали Наполеон, Людовик XIV, Ришелье и Хименес, но держать их долго, привлекая высокими окладами и почестями; таковы были основные пункты той реформы, которую Рабурден считал полезной и для государства и для чиновников. Трудно изложить во всех подробностях, шаг за шагом, этот план, охватывавший весь бюджет и учитывавший бесконечно малые величины административного аппарата с целью их внутреннего объединения. Однако, может быть, перечня главных реформ будет достаточно и для тех, кто знает наше административное строение, и для тех, кому оно неизвестно. Как ни шатка позиция историка, излагающего некий проект, который на первый взгляд напоминает проекты наших доморощенных политиков, все же его следует воспроизвести хотя бы в общих чертах, чтобы показать человека через его дело. Если опустить рассказ о его трудах — вы уже не поверите на слово автору, утверждающему, что и правитель канцелярии может быть одарен талантом или способностью дерзать.

Рабурден делил высшую административную власть на три министерства. Он исходил из мысли, что, если некогда встречались умы, достаточно сильные, чтобы охватить внешние и внутренние дела государства, то и в нынешней Франции не будет недостатка в таких деятелях, как Мазарини[[13]](#footnote-13), Сюжер[[14]](#footnote-14), Сюлли[[15]](#footnote-15), Шуазель[[16]](#footnote-16), Кольбер[[17]](#footnote-17), способных управлять министерствами более обширными, чем нынешние. Да и с точки зрения практической — трое скорее договорятся, чем семеро[[18]](#footnote-18). Кроме того, не так легко ошибиться, выбирая их. Наконец, королевская власть, может быть, избегнет постоянных министерских шатаний, не дающих ни следовать какому-либо плану в области внешней политики, ни проводить какие-либо внутренние улучшения. В Австрии, объединяющей много национальностей, чьи разнообразные интересы должны быть согласованы и направляемы одним государем, бремя государственных дел несли в те времена всего два человека, и они отнюдь не изнемогали под ним. Разве Франция беднее, чем Австрия, политическими талантами? Довольно глупая игра в так называемые конституционные учреждения приняла слишком большие размеры и привела к тому, что для удовлетворения разросшихся притязаний буржуазии потребовалось несколько министров.

Рабурдену представилось вполне естественным прежде всего соединить морское министерство с военным. Он считал, что флот является частью военных сил, так же как артиллерия, кавалерия, пехота, интендантство. Не бессмысленно ли создавать для адмиралов и маршалов отдельные управления, если у них общая цель — оборона отечества, нападение на врага, защита государственных владений? В министерстве внутренних дел следовало объединить торговлю, полицию, финансы, иначе оно не оправдало бы своего назначения. В ведении министерства иностранных дел должны были находиться: суд, дворцовое ведомство и все, что по министерству внутренних дел относилось к литературе и искусствам. Право покровительства в разных областях Ксавье Рабурден предоставлял только государю. Министерство внутренних дел сохраняло за собой и председательство в Совете. Каждое из трех упомянутых министерств должно было иметь не больше двухсот чиновников в своем центральном управлении, при котором они, по проекту Рабурдена, должны были получать и казенные квартиры — так было встарь, во времена монархии. Он клал в среднем на каждого чиновника двенадцать тысяч франков, что составило бы лишь семь миллионов франков на содержание всех штатов, поглощавших в его время свыше двадцати миллионов франков: ведь сведя таким образом все министерства к трем главным, он упразднял целые административные системы, становившиеся ненужными, и сокращал огромные расходы на их содержание в Париже. Он доказывал, что округом могут управлять десять человек, а для префектуры нужно от силы двенадцать; это предполагает наличие лишь пяти тысяч чиновников во всей Франции (не считая юстиции и армии), а в то время одних министерских чиновников было больше. Но на секретарей суда возлагались и дела по залогу недвижимостей, а на прокурорский надзор — ведение учета крупных земельных владений. Рабурден стремился объединить в одном и том же центре управления однородные виды деятельности. Таким образом, залогом недвижимостей, наследствами и учетом должны были ведать одни и те же учреждения, и для этого достаточно было трех сверхштатных чиновников в каждой судебной палате и трех в Королевском суде. Последовательное применение этого принципа привело Рабурдена к реформе финансов. Он слил все виды налогов в один, решив, что облагать налогом следует не собственность, а все потребление в целом; он считал, что в мирное время облагать налогом можно только потребление, налог же на землю нужно приберечь на случай войны: лишь тогда государство вправе требовать жертв от земли — ибо оно защищает ее; но взимать с нее слишком много в мирное время он считал крупной политической ошибкой, ибо с наступлением серьезных кризисов страна уже ничего не может дать государству; также и заем должен проводиться в дни мира, — тогда он котируется по номинальной цене, а не с потерей пятидесяти процентов, как в трудные времена; в случае же войны следует вводить земельную контрибуцию.

— Нашествие 1814 и 1815 годов, — говорил Рабурден друзьям, — вызвало к жизни и заставило оценить но достоинству одно нововведение, которого не могли осуществить ни Лоу, ни Наполеон, а именно — кредит.

К сожалению, в ту эпоху, когда Ксавье начал свою работу, то есть в 1820 году, истинные принципы этого превосходного механизма были, как он полагал, еще недостаточно оценены. Он считал нужным обложить потребление всеми видами прямых налогов и упразднял все уловки косвенного налогообложения: объект обложения должен быть один и лишь распадаться на разные статьи. Таким образом, Рабурден разрушал стеснительные барьеры в жизни городов и увеличивал их доходы, упрощая существующие способы взимания налогов, обходящиеся государству в нынешнее время слишком дорого. Когда речь идет о финансах, то облегчить тяжесть налога — значит не уменьшить его, а правильнее распределить; облегчить его тяжесть — значит увеличить число сделок, предоставив для них больший простор; каждый индивид платит меньше, государство же получает больше. Эта реформа, которая может показаться грандиозной, опиралась на весьма простой механизм: Рабурден рассматривал личный налог и налог на движимость как верные показатели общего потребления. Во Франции о личном состоянии человека вполне можно судить по его квартире, по количеству слуг, лошадям и роскошным выездам, — и все это поддается обложению. Дома и то, что в них находится, изменяются мало и исчезают медленно.

Указав способ составить роспись налогов на движимость более правильную, чем существовавшая до тех пор, он разложил суммы, которые поступали в казначейство в виде так называемых косвенных налогов, на всех плательщиков. Ведь налог взимается с предметов или людей в более или менее замаскированной форме. Но эта маскировка годилась тогда, когда деньги надо было выжимать, — теперь же тот класс, который несет основное бремя налогов, отлично знает, для чего государство их берет и посредством какого механизма ему возвращает, поэтому такая маскировка просто смешна. В самом деле, бюджет нельзя представлять себе в виде несгораемого шкафа, он скорее подобен лейке: чем больше она зачерпывает и выливает воды, тем больше земля процветает. Поэтому, если допустить, что во Франции насчитывается шесть миллионов зажиточных налогоплательщиков (Рабурден настаивал на этом числе, включая сюда и богатых плательщиков), то не лучше ли требовать с них прямо и открыто *налога на вино*, который будет возмущать их не больше, чем налог на двери и окна[[19]](#footnote-19), — и получать сто миллионов дохода, вместо того чтобы бесцельно раздражать их, взимая по мелочам налоги с имущества. При таком преобразовании налога каждый стал бы в действительности платить меньше, а государство получало бы больше, и потребители пользовались бы рядом предметов, которые резко снизились бы в цене, так как уже не подвергались бы бесконечным обложениям. Рабурден сохранял налог и на обработку виноградников, чтобы защитить виноделие от перепроизводства. Для учета потребления бедных налогоплательщиков он предполагал брать с торговцев плату за их патенты сообразно с численностью населения в данной местности. Таким образом, при налогах трех видов — на вино, на право обработки виноградников и на патенты — казна получала бы громадные суммы без накладных расходов и не притесняя жителей, до этого обремененных налогами, часть которых притом растрачивалась на содержание самих чиновников. И налог ложился бы на плечи богатых, вместо того чтобы угнетать бедняков. Вот еще пример возможного обложения: пусть государство взимает с каждого налогоплательщика по одному-два франка за соль, и оно получит десять — двенадцать миллионов; существующий налог на соль отменяется; бедняки радуются, земледельцы облегченно вздыхают, государство получает то же самое, и ни один плательщик не в обиде: каждый из них, будь то промышленник или землевладелец, не мог бы тотчас не признать выгоды такого распределения налогов, видя, как благодаря ему улучшается жизнь в глухих деревнях и развивается торговля. И, наконец, для государства было бы немаловажно, если бы из года в год все возрастало число зажиточных плательщиков. От упразднения административного аппарата, взимающего косвенные налоги, — механизма, который стоит очень дорого и является как бы государством в государстве, — чрезвычайно выиграли бы и казна и частные лица, хотя бы благодаря экономии расходов по сбору. На табак и порох был бы наложен акциз, и торговля ими находилась бы под контролем. Система этого акциза, разработанная не Рабурденом, а другими лицами при возобновлении закона о монополии на табак[[20]](#footnote-20), оказалась очень убедительной, но закон этот так и не прошел бы в палате, если бы министерство не заключило с ней сделку. Это был тогда не столько вопрос финансовый, сколько вопрос общегосударственный.

После проведения реформы Рабурдена государству уже не должны были принадлежать ни леса, ни копи, ни право эксплуатации. Ибо государство, владеющее какими-то угодьями, представлялось Рабурдену административной нелепостью: извлекать доходы оно не умеет и притом лишается налогов — поэтому теряет вдвойне. Та же нелепость наблюдается и в государственной промышленности: фабрики, принадлежащие государству, покупают сырье по более дорогой цене, чем фабрики, принадлежащие частным лицам, медленнее обрабатывают его, и вместе с тем это сокращает налоговые поступления от частной промышленности, урезывая ее снабжение. Разве это называется управлять страной, если власть сама занимается промышленным производством, вместо того чтобы содействовать развитию промышленности, и владеет собственностью, вместо того чтобы поощрять всевозможные виды владения? В системе Рабурдена государство уже не требовало ни одного денежного залога. Оно допускало только ипотеки. И вот почему: если государство хранит залоговые суммы, оно этим задерживает денежные обращения; если оно помещает залоги под более высокие проценты, чем дает само, — это низкое воровство; если оно на таких операциях теряет — это глупо; а кроме того, если оно в один прекрасный день сосредоточит в своих руках всю массу залогов, то может в некоторых случаях прийти к страшному банкротству.

Земельный налог не уничтожался окончательно. Рабурден частично сохранял его, как опорную точку на случай войны; но продукты сельского хозяйства освобождались от обложения, а отечественная промышленность благодаря дешевизне сырья могла бороться с заграничными товарами без обманчивой помощи таможенных пошлин. Люди богатые должны были бесплатно управлять округами, и, при некоторых условиях, их награждали бы за это званием пэра. Таким образом, все должностные лица, весь состав канцелярий, от высших до низших чинов, могли быть уверены в том, что их труды ждет достойная награда. Любому чиновнику предстояло пользоваться огромным уважением, подобающим ему и по объему его работы и по размерам оклада; каждому предлагалось самому заботиться о своем будущем, и злокачественные опухоли пенсий уже не должны были разъедать тело Франции. В результате, как высчитал Рабурден, государственные расходы не превысят семисот миллионов, а доходы будут равняться одному миллиарду двумстам миллионам. Он предназначал пятьсот миллионов ежегодно на погашение государственного долга, — что было бы, надо полагать, более целесообразно, чем нынешнее мизерное погашение, бессмысленность которого давно доказана. Ведь государство, кроме всего прочего, стремилось еще быть рантье, так же как оно упорствовало в своем желании владеть землями и фабриками. А на то, чтобы провести все эти реформы без потрясений и избежать Варфоломеевской ночи для чиновников, Рабурден требовал двадцать лет.

Таковы были мысли, которые этот человек вынашивал с того самого дня, когда предназначенное ему место было вдруг отдано г-ну де ла Биллардиеру, человеку бездарному. Составление плана преобразований, на первый взгляд столь обширных, а на деле столь простых, — плана, упразднявшего столько командных пунктов и столько мелких должностей, в равной мере ненужных, потребовало от Рабурдена постоянных подсчетов, точных статистических данных, неопровержимых доказательств.

Рабурден долго изучал бюджет в его двуликости: с одной стороны — способы и возможности его пополнения, с другой — расходы. Поэтому немало ночей просидел над проектом его автор, о чем супруга и не подозревала. Но задумать подобный план, чтобы возвести новое здание на развалинах административной власти, — это только половина дела: предстояло еще отыскать министра, способного его оценить. Таким образом, успех Рабурдена зависел прежде всего от успокоения в государственной политике, которая была еще далеко не устойчива. Только когда триста депутатов отважились образовать сплоченное и постоянное правительственное большинство, он решил, что наконец правительство сидит крепко. На этой основе к моменту, когда Рабурден закончил свой труд, успела сложиться и устойчивая исполнительная власть. В те годы роскошь мирного времени, которым страна была обязана Бурбонам, заставляла забыть о роскоши военных дней, когда Франция представляла собой как бы огромный лагерь, блистательный в своем расточительном великолепии оттого, что он был лагерем победителей. После испанской кампании правительство, казалось, вступило на тот мирный путь, на котором только и возможно осуществлять благие преобразования, и уже прошло три месяца, как беспрепятственно началось новое царствование — ибо либералы левой приветствовали Карла X с тем же энтузиазмом, что и правые круги. Все это могло обмануть даже самых прозорливых. И Рабурден решил, что подходящий момент настал. Разве проведение в жизнь реформы, сулящей столь великие результаты, не является для исполнительной власти гарантией ее прочности? Вот почему этот человек и утром, когда шагал в министерство, и вечером, возвращаясь в половине пятого домой, был поглощен своими мыслями больше, чем когда-либо.

С другой стороны, г-жа Рабурден, придя в отчаяние от своей неудавшейся жизни и утомленная тайными усилиями, с помощью которых ей удавалось раздобывать себе хоть какие-то наряды, никогда еще не выказывала себя до такой степени обиженной и озлобленной; но как жена, привязанная к своему мужу, она считала недостойным женщины, стоящей выше прочих, те постыдные шашни, с помощью которых супруги иных чиновников восполняли недостаточность мужниных окладов. Именно эта причина заставила ее совершенно порвать с г-жой Кольвиль, связанной в те времена с Франсуа Келлером и затмевавшей своими вечерами приемы на улице Дюфо. Г-жа Рабурден приняла сосредоточенность политического мыслителя и озабоченность неподкупного труженика за унылую апатию чиновника, подавленного канцелярской скукой, побежденного самой отвратительной нуждой — убогим существованием, при котором только не умираешь с голода, — и изнывала от сознания, что вышла замуж за человека, лишенного всякой энергии. Примерно тогда она и возымела великое намерение своими руками создать Рабурдену успех и, скрыв тайные пружины своих махинаций, любой ценой протолкнуть мужа вперед. Она внесла в это решение ту независимость мысли, которая ей была присуща, и поставила себе целью подняться выше других женщин, пренебрегая их ничтожными предрассудками и не стесняясь теми преградами, какие им ставит общество. В своей ярости она хотела побить глупцов их же оружием и, если нужно, рискнуть собой. Словом, она взирала на жизнь как бы с вершины.

Случай ей благоприятствовал. Г-н де ла Биллардиер, подтачиваемый неизлечимой болезнью, должен был вот-вот умереть. Если его должность перейдет к Рабурдену, думала она, то таланты Ксавье — а Селестина признавала за ним таланты администратора — будут, несомненно, оценены и он наконец получит некогда обещанное ему место докладчика государственного совета; она уже видела его королевским комиссаром, защищающим законопроекты в палате; а она стала бы помогать ему! Если надо, она сделалась бы его секретарем, она просиживала бы ночи напролет за работой! И все это — чтобы ездить в Булонский лес в прелестной коляске, чтобы ни в чем не уступать Дельфине де Нусинген, чтобы поднять свой салон на высоту салона г-жи Кольвиль, быть в числе приглашенных на рауты в министерстве, покорять публику; чтобы ее имя — г-жа Рабурден де... (она еще не знала названия своего поместья) — звучало так же внушительно, как имя г-жи Фирмиани, г-жи д'Эспар, г-жи д'Эглемон, г-жи де Карильяно, — словом, чтобы прежде всего скрасить ужасную фамилию — Рабурден.

Эти тайные планы вызвали в ее домашней жизни кое-какие перемены. Г-жа Рабурден начала с того, что решительно вступила на путь долгов. Снова был нанят лакей, и она одела его в скромную ливрею коричневого сукна с красными кантами. Она обновила часть меблировки, сменила в комнатах обои, украсила квартиру цветами, которые постоянно меняла, уставила ее безделушками, что стало тогда входить в моду; затем эта женщина, раньше скромная в расходах на себя, вдруг без колебаний решила, что ее туалеты должны соответствовать тому положению, на которое она притязала; и, в расчете на него, некоторые магазины стали отпускать в кредит необходимые ей боевые доспехи. Чтобы сделать модными свои среды, она регулярно давала обед по пятницам, рассчитывая, что те же гости будут приходить и по средам, когда можно ограничиться одним чаем. Она умело выбирала людей, приглашая к себе влиятельных депутатов и всех, кто мог прямо или косвенно служить ее интересам. И ей в конце концов удалось создать вполне приличный круг знакомств. У г-жи Рабурден бывало очень весело — по крайней мере так говорили, — а этого в Париже достаточно, чтобы привлечь внимание. Рабурден был настолько поглощен завершением своего большого и важного труда, что и не заметил, как в его домашней жизни появилась роскошь.

Таким образом, и муж и жена атаковали ту же крепость, действуя параллельно и тайком друг от друга.

В те времена в министерстве процветал на должности секретаря министра некий г-н Клеман Шарден де Люпо, одна из тех личностей, которых поток политических событий выбрасывает на поверхность и удерживает там в течение нескольких лет, а затем, в грозу, опять уносит, и вы находите этого человека уже бог знает на каком далеком побережье, — он похож тогда на корабль, потерпевший крушение, но сохранивший черты былого величия. И путник спрашивает себя, не служил ли некогда этот корабль для доставки драгоценных грузов, не был ли он свидетелем важных событий, не участвовал ли в какой-нибудь схватке, не украшался ли бархатными складками престола, не перевозил ли останки государя?.. В этот период Клеман де Люпо («Люпо» поглотил «Шардена») достигал вершины своего успеха. В жизни людей, как самых прославленных, так и самых безвестных, у животного, как и у секретаря министра, существуют зенит и надир, бывает время, когда и мех всего великолепнее и счастье сияет полным блеском. Согласно номенклатуре, созданной баснописцами, де Люпо принадлежал к роду Бертранов и занят был только отысканием Ратонов[[21]](#footnote-21); а так как он является одним из главных актеров этой драмы, то заслуживает тщательного описания — тем более что Июльская революция упразднила его пост, в высшей степени полезный для конституционных министров.

Обычно моралисты расточают свой пыл на обличение вопиющих злодеяний. Для них существуют только те преступления, которые рассматриваются судом присяжных или исправительной полицией, — тайные социальные язвы от них ускользают; умение разглядеть проныру, торжествующего под защитой закона, — это выше (или ниже) их способностей, у них нет ни лупы, ни подзорной трубы, им нужны здоровенные, добротные ужасы, иначе они ничего не увидят. Вечно занятые хищниками, они забывают о рептилиях и, к счастью для авторов комедий, целиком предоставляют им изображать во всех оттенках характер таких людей, как Шарден де Люпо. Эгоистичный и тщеславный, увертливый и надменный, распутник и чревоугодник, обремененный долгами и поэтому жадный до денег; умеющий молчать как могила, откуда никто не встанет, чтобы опровергнуть надпись, предназначенную для прохожих, упорный и бесстрашный, когда он чего-нибудь добивается, любезный и остроумный в истинном смысле этого слова, при случае — насмешник, но одаренный большим тактом, способный вас скомпрометировать не только презрительным толчком, но и дружеской улыбкой, не отступающий перед самыми большими лужами и грациозно перепархивающий через них, дерзкий вольтерьянец и в то же время усердный посетитель мессы в церкви св. Фомы Аквинского, когда там собирается высшее общество, — секретарь министра был подобен всем ничтожествам, составляющим ядро политической жизни. Зная науки только с чужих слов, он брал на себя роль слушателя, и трудно было найти более внимательного. А чтобы не вызывать подозрений, он становился льстивым до тошноты, вкрадчивым, как запах духов, и ласковым, как женщина. Ему должно было скоро исполниться сорок лет. В молодости судьба долго испытывала его терпение, приводя де Люпо в отчаяние, ибо он чувствовал, что для политической карьеры необходимо депутатство.

Как он вышел в люди? — спросите вы. Да очень простым способом. Будучи своего рода Бонно[[22]](#footnote-22) в области политики, де Люпо брал на себя щекотливые поручения, которые нельзя было доверить ни тому, кто себя уважает, ни тому, кто себя не уважает: их доверяют людям серьезным и вместе с тем сомнительным, которых можно потом узнавать или не узнавать. Де Люпо всегда был чем-нибудь скомпрометирован и продвигался вперед столько же благодаря победам, сколько и благодаря поражениям. Он понял, что во времена Реставрации, в годы, когда постоянно приходилось примирять между собой людей и обстоятельства, события уже совершившиеся с теми, которые еще собирались тучами на горизонте, — власть будет нуждаться в домоправительнице. Лишь только в доме появляется старуха, знающая, как застилать постели, куда выметать сор, куда бросать грязное белье и откуда вынимать чистое, где хранить столовое серебро, как уговорить кредитора, каких людей следует принять, а каких выгнать вон, — пусть даже эта старуха порочна, грязна, кривонога и беззуба, пусть она увлекается лотереей и ежедневно тащит из дому по тридцать су на покупку билета, хозяева все-таки будут привязаны к ней, они будут при ней советоваться в обстоятельствах самых критических, ибо она всегда тут, вовремя напомнит о забытых возможностях выпутаться из беды и пронюхает тайны, вовремя подсунет банку с румянами и шаль; ее бранят, спускают с лестницы, а на другой день, когда хозяева проснутся, она как ни в чем не бывало подаст им превосходный бульон. Сколь ни велик государственный деятель, он всегда нуждается в подобной домоправительнице, перед которой может позволить себе быть слабым, нерешительным, мелочно спорить с собственной судьбой, вопрошать себя самого, отвечать себе и подбадривать себя перед сражением.

Не напоминает ли подобная домоправительница мягкое дерево, из которого, при трения о жесткое, дикари высекают огонь? Сколько гениев загорались именно таким образом. При Наполеоне такой домоправительницей был Бертье[[23]](#footnote-23), а при Ришелье — отец Жозеф[[24]](#footnote-24).

Де Люпо был всеобщей домоправительницей. Он оставался другом павших министров, готовясь к роли посредника между ними и восходящими светилами, так, чтобы еще благоухала его последняя лесть и дышала фимиамом первая любезность. Кроме того, он отлично разбирался в тысяче мелочей, о которых государственному мужу некогда подумать: он понимал, что такое необходимость, он умел повиноваться; сам подтрунивая над своей низостью, он ее облагораживал, чтобы набить ей цену, и стремился оказать именно такую услугу, которая не забывается. Так, когда пришлось переходить через ров, отделявший Империю от Реставрации, и каждый искал для этого дощечку, когда шавки Империи разрывались от преданного лая, де Люпо выехал за границу, предварительно заняв крупные суммы у ростовщиков. Поставив все на карту, он скупил наиболее скандальные векселя Людовика XVIII и таким образом первый ликвидировал около трех миллионов долга из двадцати процентов, ибо он не терял времени и извлек для себя пользу из событий 1814 и 1815 годов. Барыши загребли господа Гобсек, Вербруст и Жигонне, которые были маклерами этого предприятия; де Люпо им так и обещал. Сам он рисковал не какой-то одной ставкой, он шел на весь банк, отлично зная, что Людовик XVIII не из тех, кто забывает подобные услуги. В результате де Люпо был назначен докладчиком государственного совета и награжден орденом Святого Людовика, а также офицерским крестом Почетного легиона. Взобравшись наверх, этот ловкий человек стал искать способа, чтобы удержаться на достигнутой ступеньке; ведь в той крепости, куда он проник, генералы не склонны потворствовать дармоедам. Поэтому, в дополнение к роли домоправительницы и сводни, де Люпо взял на себя еще роль бесплатного консультанта по секретным болезням власти. Поняв, насколько деятели Реставрации ничтожны в сравнении с управляющими ими событиями и как обманчиво их мнимое превосходство, он стал взимать дань с этих посредственных умов, открывая и продавая им в самый разгар кризисов те лозунги, которые люди талантливые подслушивают у будущего. Не думайте, чтобы он был способен угадывать подобные лозунги сам: в таком случае де Люпо был бы гением, а он был всего лишь умным человеком. Нет! Этот Бертран бывал всюду, прислушивался к чужим мнениям, зондировал людскую совесть и перехватывал ее тайные голоса. Он собирал сведения, точно поистине неутомимая политическая пчела. Однако де Люпо, этот ходячий лексикон Бейля[[25]](#footnote-25), вел себя отнюдь не так, как знаменитый словарь, он не приводил все точки зрения, без отбора: у него был верный нюх, и он сразу, как кухонная муха, набрасывался на самое жирное мясо. Поэтому он прослыл человеком необходимым, правой рукой государственных деятелей. Уверенность в этом пустила повсюду столь глубокие корни, что честолюбцы, достигнув цели, старались скомпрометировать де Люпо, чтобы помешать ему подняться еще выше, а за отсутствие общественного веса вознаграждали его своим тайным доверием. Чувствуя всеобщую поддержку, этот ловец чужих мыслей требовал задатка. Получая жалованье от генерального штаба национальной гвардии, где у него была синекура, оплачиваемая городом Парижем, он состоял еще комиссаром правительства при «Анонимном обществе», а также инспектором дворцового ведомства. Две его официальные должности, оплачиваемые из бюджета, были: место секретаря министра и место докладчика государственного совета. В последнее время он поставил себе целью сделаться командором ордена Почетного легиона, камер-юнкером, графом и депутатом.

Чтобы стать депутатом, надо было платить тысячу франков налога, а жалкий домишко де Люпо едва приносил пятьсот франков в год. Где же взять денег, чтобы вместо дома построить замок, окружить его значительными земельными владениями и во время своих наездов туда пускать пыль в глаза всей округе? Хотя де Люпо обедал каждый день в гостях, хотя вот уже девять лет как имел казенную квартиру и держал лошадей за счет министерства, в тот период его жизни, когда начинается наше повествование, за ним, после всех расчетов, оставалось еще на тридцать тысяч долгов, уплаты которых никто, впрочем, пока не требовал. Но только брак мог спасти честолюбца из трясины этих долгов; однако выгодный брак зависел от его служебного продвижения, а продвижение — от звания депутата. Стремясь вырваться из этого порочного круга, он видел только два выхода: или оказать кому-нибудь огромную, незабываемую услугу, или состряпать какое-нибудь исключительно выгодное дельце. Но, увы! Заговоры были не в моде, и Бурбоны, видимо, взяли верх надо всеми партиями. Кроме того, за истекшие несколько лет правительство столько раз подвергалось критике в результате глупейших нападок левой, которая старалась сделать невозможным во Франции всякое правительство вообще, что предпринимать политические аферы было уже невозможно. Последние имели место в Испании — и сколько же о них кричали! Для де Люпо трудности еще возросли оттого, что он поверил в дружеские чувства своего министра и имел неосторожность признаться ему в своем желании попасть на министерские скамьи. Министры догадались, откуда у него это желание: де Люпо хотел упрочить свое шаткое положение и впредь от них не зависеть. Лягавый пес взбунтовался против охотников. Видя это, министры то били его плеткой, то ласкали; они создали ему соперников, — однако де Люпо повел себя, как опытная куртизанка с начинающей: он ловко расставил соперникам капканы, они попались, и он живо с ними расправился. Чем более он чувствовал себя под угрозой, тем сильнее ему хотелось раздобыть несменяемую должность; однако играть нужно было крайне осторожно, ибо можно было сразу все потерять. Росчерк пера — и полетят его эполеты полковника гражданской службы, его инспекторство, его синекура в «Анонимном обществе», обе его штатные должности со всеми их преимуществами: в целом — шесть мест, которые ему удалось сохранить под обстрелом закона о совместительстве. Он не раз грозил своему министру, как угрожает женщина любовнику, и заявлял, что женится на богатой вдове; и тогда министр начинал ублажать своего дорогого де Люпо. Во время одного из таких примирений ему, наконец, совершенно официально посулили место в Академии надписей и литературы при первой же вакансии, но этого, говорил он, ему могло хватить на одну понюшку.

Клеман Шарден де Люпо находился в крайне выгодном положении: он напоминал дерево, посаженное в благоприятную почву. Он мог дать волю своим порокам и фантазиям, своим добродетелям и своим недостаткам.

Его труды сводились к следующему: ежедневно из пяти-шести домов, куда он бывал приглашен к обеду, он должен был выбрать тот, где лучше всего кормят. Каждый день он приходил на утренний прием к министру — посмешить своего начальника и его жену, приласкать детей и поиграть с ними. Затем час-другой работал, то есть, развалившись в удобнейшем кресле, просматривал газеты, диктовал письма; или, когда министра не было дома, принимал посетителей, объяснял чиновникам в общих чертах их задачу, выслушивал или давал пустые обещания; глядя через очки, небрежно пробегал прошения и делал пометки на полях, означавшие: «Мне наплевать, решайте, как хотите!» Все чиновники знали, что только если де Люпо лично заинтересован кем-либо или чем-либо, он в дело вмешивается сам. Секретарь разрешал старшим чиновникам непринужденно болтать о разных щекотливых вопросах и прислушивался к их пересудам. Время от времени он ездил во дворец, чтобы получить очередной лозунг. И наконец, когда бывали заседания, дожидался приезда министра из палаты, чтобы узнать, не следует ли придумать и осуществить какие-нибудь маневры. Затем министерский сибарит переодевался, обедал и от восьми часов вечера до трех часов ночи посещал десять — пятнадцать салонов. В Опере он беседовал с журналистами, так как был с ними на короткой ноге; между ними и де Люпо происходил непрерывный обмен мелкими услугами, он выкладывал им свои сомнительные новости и жадно слушал их сплетни; он удерживал их от нападения на того или другого министра по тому или другому поводу, уверяя, что это слишком огорчит жену министра или любовницу.

— Заявите, что новый законопроект никуда не годится, и, если можете, приведите доказательства, но не вздумайте писать, что Мариетта плохо танцевала. Браните нас сколько угодно за привязанность к нашим ближним в юбках, но не выдавайте наших холостых проказ. Черт возьми! Всем надо перебеситься, а что ждет нас впереди — неизвестно, уж такие пришли времена. Вот вы, друг мой, сейчас подсаливаете статьи в «Конститюсьонеле», а можете сделаться министром!

В отплату он оказывал услуги издателям, устранял препятствия для постановки какой-нибудь пьесы, кстати выхлопатывал денежные награды, угощал, кого нужно, хорошим обедом, обещал содействовать окончанию какого-нибудь дела. Впрочем, он искренне любил литературу и покровительствовал искусствам: у него было собрание автографов, великолепные альбомы, полученные бесплатно эскизы и картины. Он делал много добра художникам уже тем, что не вредил им и поддерживал их в тех случаях, когда мог без особых затрат потешить их самолюбие. Поэтому все эти художники, актеры, журналисты любили его. Во-первых, они страдали теми же пороками и той же ленью, что и их покровитель, а потом и он и они так ловко вышучивали всех и вся между двумя встречами с танцовщицами! Как же тут не подружиться! Не будь де Люпо секретарем министра, он был бы журналистом. И за пятнадцать лет борьбы, пока колотушка эпиграммы не пробила брешь, через которую прорвалось возмущение, де Люпо не получил даже царапины.

Видя этого человека в министерском саду играющим в шары с детьми его превосходительства, чиновничья мелкота тщетно ломала себе голову, стараясь разгадать тайну его влияния и характер его деятельности, а канцелярские политиканы из всех министерств считали его опаснейшим Мефистофелем, преклонялись перед ним и возвращали ему с процентами ту лесть, которую он расточал в высших сферах. Польза, приносимая секретарем министра, непостижимая, как загадочный иероглиф, для людей маленьких, была ясна, как дважды два четыре, для заинтересованных лиц. В его задачу входило отбирать советы и идеи, делать устные доклады, — и этот принц Ваграмский[[26]](#footnote-26) в миниатюре при министерском Наполеоне знал все тайны парламентской политики, подогревал колеблющихся, вносил, а то и разносил предложения, изрекал вслух те «да» и «нет», на которые не отваживался министр. Готовый принимать на себя первые удары и первые взрывы отчаяния или гнева, он скорбел и радовался вместе с министром, являясь одним из тайных звеньев, связующих интересы многих с дворцом, и, умея хранить секреты, как духовник, он, казалось, знал все и ничего не знал; помимо этого, он говорил о министре то, что самому министру было бы трудно сказать о себе. И наконец с этим политическим Гефестионом[[27]](#footnote-27) министр позволял себе быть самим собой: снять парик и вынуть искусственную челюсть, отложить тревоги и забыться, надеть ночные туфли, совлечь покровы со своих мошенничеств и разуть свою совесть. Однако положение де Люпо было не из легких: он льстил своему министру и давал ему советы, вынужденный прикрывать лесть советом и совет — лестью. Почти у всех политических деятелей, занимающихся подобным ремеслом, довольно желчный цвет лица, а постоянная привычка утвердительно кивать головой, соглашаясь с тем, что тебе говорят, или делая вид, будто соглашаешься, придает их чертам какое-то странное выражение. Ведь такие люди одобряют решительно все, что бы ни сказали в их присутствии, и речь их уснащена всевозможными «но», «однако», «все же», «я бы на вашем месте» (им особенно часто приходится говорить «на вашем месте») — словом, всеми оговорками, которые служат переходом к возражениям.

По внешности Клеман де Люпо представлял собой как бы остатки красивого мужчины: рост — пять футов четыре дюйма, полнота еще терпимая, лицо красное от излишеств и потасканное, напудренные волосы, причесанные а ля Тит Андроник, небольшие очки в тонкой оправе; видимо, он был когда-то белокур, судя по рукам, белым и пухлым, какие бывают у состарившихся блондинок, с тупыми пальцами и короткими ногтями — рукам сатрапа. Нога была не лишена изящества. После пяти часов де Люпо появлялся всюду в неизменном наряде: шелковые ажурные чулки, башмаки, черные панталоны, кашемировый жилет с золотой цепочкой от часов, синий фрак с резными пуговицами и орденскими ленточками; его батистовый носовой платок не был надушен. По утрам же он носил сапоги со скрипом, серые панталоны и коротенький сюртучишко. И тут он гораздо больше напоминал продувного стряпчего, чем министра. Когда он случайно снимал очки, его глаза беспомощно моргали, и это делало его более некрасивым, чем он был на самом деле. Для людей проницательных и честных, которым дышится легко только в атмосфере правдивости, де Люпо был невыносим: в его слащавых манерах так и сквозила лживость, его любезные заверения и милые шутки, всегда новые для дураков, были слишком затасканы. Каждый, кто обладал проницательностью, видел, что это — подгнившая доска и что на нее ни в коем случае надеяться не следует. Как только прекрасная г-жа Рабурден снизошла до заботы о служебной карьере своего мужа, она тут же разгадала, что за человек Клеман де Люпо, и принялась изучать его, желая узнать, сохранилось ли в этой гнилушке хоть несколько крепких древесных волокон, чтобы по ней можно было ловко перебежать от канцелярии к отделению, а от восьми тысяч франков — к двенадцати; и выдающаяся женщина решила, что ей удастся провести этого развращенного политикана. Таким образом, г-н де Люпо оказался отчасти виновником тех чрезвычайных издержек в доме Рабурденов, от которых, раз начав, Селестина уже не могла отказаться.

На улице Дюфо, застроенной во времена Империи, стояло несколько домов с красивыми фасадами и удобными квартирами. Помещение, занимаемое Рабурденами, было чрезвычайно удачно расположено — преимущество, немало способствующее облагораживанию домашней жизни. Поместительная и премиленькая прихожая, окнами во двор, вела в большую гостиную, выходившую на улицу. Направо от гостиной были кабинет и спальня самого Рабурдена, за ними — столовая, имевшая выход в прихожую; налево — спальня г-жи Рабурден, ее туалетная и комнатка дочери. В дни приемов двери в кабинет хозяина и в спальню хозяйки стояли открытыми. Просторные комнаты давали Рабурденам возможность принимать у себя избранное общество, и их вечера не имели того оттенка комизма, которым отличаются вечера в иных мещанских домах, где приходится ради больших приемов прибегать к перестановкам и нарушать распорядок повседневной жизни. Гостиную заново обили желтым шелком с коричневым рисунком; спальню г-жи Рабурден обтянули «настоящими персидскими» тканями и обставили мебелью в стиле рококо. В кабинет Рабурдена перекочевала обивка гостиной, тщательно вычищенная, а на стенах появились прекрасные полотна, оставшиеся после Лепренса. Столовую дочь оценщика убрала коврами, купленными по случаю ее отцом, — чудесными турецкими коврами, обрамленными старым черным деревом, которому сейчас нет цены. Обстановку этой комнаты довершали восхитительные буфеты Буль[[28]](#footnote-28), также приобретенные покойным, а на самом видном месте поблескивали медными инкрустациями своей черепаховой облицовки те часы на цоколе, которые вошли в моду, когда пробудился интерес к шедеврам XVII века, и, заметим кстати, появились впервые именно у г-жи Рабурден.

Цветы наполняли своим благоуханием эти комнаты, убранные с таким вкусом и полные красивых вещей; каждая мелочь здесь являлась произведением искусства, была умело выделена и гармонировала с окружающими предметами; а среди всего этого г-жа Рабурден, одетая с той оригинальной простотой, какая присуща только художественным натурам, принимала гостей, держась как женщина, настолько привыкшая к красоте и роскоши, что она их даже не замечает, и предоставляла блеску своего ума довершать впечатление, производимое прекрасным ансамблем. Как только рококо вошло в моду, о Селестине заговорили, — этим она была обязана отцу.

Хотя де Люпо и привык ко всем видам роскоши, большой и малой, поддельной и настоящей, но, очутившись у г-жи Рабурден, он все же изумился; парижский Асмодей[[29]](#footnote-29) был словно заворожен, а почему — нам пояснит сравнение. Представьте себе путешественника, утомившегося тысячей живописнейших пейзажей Италии, Бразилии, Индии; но вот он возвращается на родину и по пути вдруг видит перед собой прелестное маленькое озеро, подобное хотя бы озерцу Орта у подножия Монте-Розы, — зеленый остров среди тихих вод, миловидный и простой, наивный и все же нарядный, одинокий и все же не заброшенный: его украшают грациозные купы деревьев, стройные статуи... Берега озера пустынны, но возделаны; все грандиозное и его тревоги остались позади... Здесь же все соразмерно человеку. Огромный мир, некогда открывшийся путешественнику, снова предстает пред ним в малом виде, скромный и чистый; и его отдохнувшая душа зовет его остаться здесь, ибо какое-то певучее и поэтическое очарование овевает его своей гармонией, будит в нем все живые помыслы. Это и монастырь и жизнь!

За несколько дней до того прекрасная г-жа Фирмиани, одна из самых прелестных женщин Сен-Жерменского предместья, очень любившая г-жу Рабурден и принимавшая ее у себя, спросила де Люпо (который и приглашен был нарочно затем, чтобы услышать эту фразу): «Почему вы не бываете у госпожи Рабурден? — И, указав при этом на Селестину, хозяйка продолжала: — Она дает прелестные вечера, а особенно обеды... они вкуснее, чем у меня». Обольстительной г-же Рабурден удалось выманить у него обещание, что он посетит ее, причем, беседуя с де Люпо, она впервые подняла на него глаза. Он отправился-таки на улицу Дюфо, — разве этим не все сказано? Как замечает Фигаро, женщина хитрит только на один лад, но зато действует без промаха. Обедая впервые у скромного правителя канцелярии, де Люпо решил повторять иногда эти посещения. И вот, благодаря сдержанному и скромному кокетству очаровательной женщины, которую ее соперница, г-жа Кольвиль, прозвала Селименой[[30]](#footnote-30) с улицы Дюфо, он целый месяц там обедал каждую пятницу и, уже повинуясь собственному влечению, приходил по средам выпить чашку чаю. А г-жа Рабурден, после весьма умелой и тонкой разведки, уже несколько дней, как, наконец, решила, что ею все-таки найдено на прогнившей министерской доске то место, куда в случае надобности можно будет поставить ножку. И ничуть не сомневалась в успехе. Ее радость способны понять только семьи чиновников, где за три-четыре года вперед подсчитываются достатки, ожидающие их после желанного назначения, мечту о котором они так нежно ласкают и лелеют. Наконец-то удастся избавиться от всех этих мук, от молений, обращенных к министерским божествам, от визитов к нужным людям! Да, благодаря своей решительности г-жа Рабурден уже слышала, как бьет тот час, который должен принести ей двадцать тысяч в год вместо восьми.

«И вела я себя хорошо, — размышляла она при этом. — Правда, я несколько поиздержалась; но что поделаешь, мы живем в такое время, когда никто не станет разыскивать скрытые добродетели; если же быть на виду, оставаться в обществе, поддерживать отношения с людьми и завязывать новые, то можно все-таки преуспеть. В конце концов, министры и их друзья интересуются только теми, кого они видят, а Рабурден совершенно не знает света. Если бы я не окрутила этих трех депутатов, они, может быть, сами польстились бы на место де ла Биллардиера; а так как они бывают у меня, то им совестно соперничать с нами, и они готовы нас поддержать. Пусть я немного и пококетничала, но, к счастью, можно было ограничиться самыми невинными пустяками, которые нравятся мужчинам».

В день, когда неожиданно началась настоящая борьба за место Биллардиера, после обеда у министра, перед одним из тех вечеров, которым министры придают официальный характер, де Люпо стоял у камина, подле хозяйки дома. Отпивая маленькими глотками кофе, он снова отозвался о г-же Рабурден как об одной из семи-восьми самых выдающихся женщин парижского света. Не впервые он упоминал ее имя: он действовал им, как капрал Трим — своей шапкой.

— Не повторяйте этого слишком часто, мой друг, вы ей только повредите, — заметила с усмешкой жена министра.

Но какой женщине приятно, когда в ее присутствии превозносят другую? Каждая непременно постарается вставить слово и прибавит к похвале каплю уксуса.

— Бедняга де ла Биллардиер при смерти, — сказал его превосходительство, — и место должно перейти к Рабурдену, ведь это один из наших опытнейших чиновников; наши предшественники были к нему несправедливы, хотя один из них и получил полицейскую префектуру лишь благодаря некоему лицу, взявшему с него обещание содействовать Рабурдену. Право же, мой друг, вы еще достаточно молоды, чтобы вас любили ради вас самих...

— Если место де ла Биллардиера достанется Рабурдену, значит, мне можно верить, когда я говорю о превосходстве его жены, — отозвался де Люпо, почувствовав иронию в словах министра, — но если графине угодно убедиться самой...

— ...то я должна пригласить ее к себе на первый же бал, не правда ли? И ваша выдающаяся женщина появится здесь среди особ, которые только затем и ездят ко мне, чтобы над нами насмехаться; и они услышат, как лакей доложит: «Госпожа Рабурден»?

— А разве на приемах у министра иностранных дел не докладывают: «Госпожа Фирмиани»?

— Ну, ведь она же урожденная Кадиньян!.. — с живостью возразил новоиспеченный граф, метнув грозный взгляд на своего секретаря, ибо ни он, ни его супруга не были дворянского происхождения.

Многие из присутствующих решили, что разговор идет о важных делах, и просители не осмеливались подойти. Когда де Люпо ушел, новоиспеченная графиня сказала мужу:

— Кажется, де Люпо влюблен.

— Тогда это первый раз в его жизни, — ответил супруг, пожав плечами и словно желая сказать, что де Люпо такими пустяками не занимается.

Тут министр увидел входящего депутата центра и покинул жену, чтобы обласкать его и привлечь на свою сторону этот еще не определившийся голос. Однако депутат, на которого обрушилась нежданная беда, хотел заручиться протекцией на будущее и пришел сообщить по секрету, что вынужден на днях сложить свои полномочия. Таким образом, министерство, получив предупреждение, могло начать обстрел раньше, чем оппозиция.

Министр, вернее де Люпо, пригласил в тот день к обеду одного из бессменных служащих министерства — вы найдете их в любом ведомстве. Этот чиновник, чувствовавший себя здесь довольно неловко, все же старался придать себе достойный вид и точно окаменел на месте, вытянувшись и плотно сдвинув ноги, как египетская мумия.

Стоя возле камина, он ждал подходящей минуты, чтобы поблагодарить секретаря министра, и уже придумал соответствующую любезность, когда де Люпо внезапно удалился. Чиновник этот был не кто иной, как министерский кассир — единственный человек, не боявшийся смены министров.

В ту пору бюджет, составляемый палатой, еще не был столь скаредной и убогой стряпней, какой он является в наше печальное время; тогда в нем гнусно не урезывалось министерское жалованье, государство не экономило, выражаясь кухонным языком, «на объедках» и каждому министру, вступавшему на свой пост, предоставляло, так сказать, *подъемные*. Ведь, увы, стать министром и перестать им быть — стоит денег! Если человек делается министром, это влечет за собой всевозможные расходы, иные из них неприлично даже и подсчитывать! Подъемные же составляли кругленькую сумму в двадцать пять тысяч франков. Приказ публиковался в «Монитере», и пока чиновники — и важные и мелкота, — сидя перед печкой или камином и сотрясаемые опасной бурей перемещений, гадали в тревоге за свои места: а что этот придумает, увеличит ли он число чиновников, выгонит ли двух, чтобы посадить на их место трех? — невозмутимый кассир, отсчитав двадцать пять новеньких банковых билетов, скалывал их булавкой, и на его лице, елейном, как у соборного привратника, запечатлевалось выражение почтительной радости. Он поднимался по внутренней лестнице в апартаменты министра и внушал его людям, не делающим различия между деньгами и тем, кому они доверены, между содержимым и содержащим, между идеей и формой, чтобы они тотчас доложили о нем, как только его превосходительство проснется. Кассир обычно заставал министерскую чету на заре восторгов, когда государственный муж еще бывает благодушен и щедр. В ответ на вопрос министра: «Что вам угодно?» — кассир извлекал из кармана пачку радужных кредиток и, вручая их, ответствовал, что поспешил-де принести его превосходительству причитающиеся подъемные, а затем, обращаясь к его супруге, разъяснял, что так уж принято, а она, изумленная и обрадованная, немедленно завладевала частью этой суммы, а то и всей целиком. Вопрос о сохранении за кассиром его места решался, так сказать, семейным образом. Кассир делал обходный маневр и как бы вскользь подпускал министру несколько фраз вроде следующих: если их превосходительство соблаговолят сохранить за ним его должность, если они останутся довольны этой чисто механической работой, если... и т. д. Но так как человек, приносящий вам двадцать пять тысяч франков, не может не быть хорошим чиновником, то кассир обычно уходил от министра, получив обещание, что останется на своем посту, с которого он наблюдал уже четверть века, как министры приходят, уходят и отходят в вечность. Затем, угождая супруге министра, он приносил тринадцать тысяч министерского жалованья в те минуты, когда они были ей всего нужнее, то упреждая срок, то запаздывая, согласно ее приказаниям, и благодаря всем этим маневрам, по старинному монастырскому выражению, *сберегал себе голос в капитуле*.

Кассир Сайяр служил бухгалтером в казначействе, когда там велась двойная бухгалтерия; с ее упразднением он был переведен в министерство. Это был тучный и грузный человек, очень сильный по части счетных книг и очень слабый во всем остальном, круглый как нуль, простой как «здравствуйте»; размеренной слоновьей поступью шествовал он на службу и такой же поступью возвращался на Королевскую площадь, где проживал в нижнем этаже собственного дома. Попутчиком ему служил обычно г-н Изидор Бодуайе, правитель канцелярии в отделении г-на ла Биллардиера и сослуживец Рабурдена, женатый на единственной дочери кассира Елизавете и, разумеется, поселившийся в верхней квартире того же дома. Никто в министерстве не сомневался, что папаша Сайяр глуп, но никто не знал, до чего он глуп. Эта глупость была настолько непроходима, что ее невозможно было исследовать до дна, в ней не рождалось никакого отзвука, она все поглощала без возврата. Некий Бисиу (об этом чиновнике речь впереди) нарисовал карикатуру на кассира — голова в парике, посаженная на яйцо, под ним — коротенькие ножки и подпись: «Рожденный, чтобы платить и получать, никогда не ошибаясь в счете. Немного меньше удачи — и быть бы ему артельщиком в банке; немного больше честолюбия — и быть бы ему уволенным».

Министр смотрел на своего кассира, как смотрят на карниз или лепной орнамент, даже не представляя себе, что орнамент может услышать его или разгадать его тайную мысль.

— Я желал бы обделать это дело с префектом в полной тайне, тем более что ведь у де Люпо есть кое-какие претензии, — говорил министр депутату, слагающему свои полномочия, — его домишко в вашем округе, а мы его избрания не желаем...

— Он слишком молод, и у него нет ценза[[31]](#footnote-31), — отвечал депутат.

— Да, но ведь известно, как разрешили вопрос о возрасте в отношении Казимира Перье[[32]](#footnote-32). Что касается годового дохода, то у де Люпо есть кой-какая собственность, — правда, она ничего не стоит, однако законом не возбраняется расширить свою недвижимость и кое-что прикупить. Комиссии обычно смотрят на все это сквозь пальцы, когда дело касается депутатов центра, а нам трудно будет противиться открыто, если этого субъекта захотят избрать.

— Но где же он возьмет деньги, чтобы прикупить недвижимость?

— А каким образом Манюэль[[33]](#footnote-33) оказался владельцем дома в Париже? — воскликнул министр.

«Орнамент» слушал, и притом поневоле. Хотя этот оживленный диалог и велся шепотом, однако, по какому-то еще малоисследованному капризу акустики, достигал до ушей кассира. И, знаете ли вы, какое чувство овладело толстяком, когда он услышал эти политические секреты? Невыразимый ужас! Сайяр принадлежал к той породе наивных людей, которые приходят в отчаяние от одного опасения, что кто-нибудь заподозрит, будто они подслушивают то, чего им слышать не следует, или нарочно входят туда, куда их не зовут, и они, вопреки своей скромности, прослывут любопытными и дерзкими.

Поэтому кассир, неслышно скользя по ковру, поспешил отступить, и, когда министр его наконец заметил, он оказался в дальнем конце комнаты. Сайяр, преданный министерский служака, был нем, как могила, и неспособен на малейшую болтливость. Если бы министр знал, что кассир слышал его тайну, ему достаточно было бы сказать: ни гу-гу!

Сайяр воспользовался тем, что царедворцы все прибывали, подозвал фиакр, который он нанимал в своем квартале по часам в дни разорительных визитов, и вернулся к себе на Королевскую площадь.

В то время как папаша Сайяр разъезжал по улицам Парижа, его зять и его дорогая Елизавета занимались добродетельным бостоном в обществе своего духовника, аббата Годрона, нескольких соседей и некоего Мартена Фалейкса, владельца литейной мастерской в Сент-Антуанском предместье, которому именно Сайяр и ссудил необходимый капитал, чтобы тот мог открыть это выгодное предприятие.

Фалейкс, честный овернец, явившись в Париж с плавильным чаном за спиной, тут же поступил к Брезакам, известным спекулянтам, приобретавшим на слом старинные замки. Затем двадцатисемилетний Мартен Фалейкс, жаждущий, как и все, благосостояния, имел счастье вступить в компанию с г-ном Сайяром, давшим ему средства для эксплуатации некоего изобретения в литейном деле (получившего патент и золотую медаль на выставке 1825 года). Г-жа Бодуайе, единственной дочери которой, по выражению папаши Сайяра, уже «перевалило за двенадцать», остановила свой выбор на Фалейксе: это был коренастый, смуглый, чернявый юноша, энергичный, очень честный, — и она занялась его воспитанием. Согласно представлениям г-жи Бодуайе, воспитание это состояло в том, чтобы научить славного овернца играть в бостон, правильно держать карты и не позволять другим в них заглядывать; чтобы перед тем, как являться к ней, бриться и тщательно мыть руки простым мылом, не божиться, говорить на ее французском языке, носить сапоги вместо башмаков, коленкоровые рубашки вместо грубых холщовых, не прилизывать волосы. И вот уже неделя, как Елизавете удалось уговорить Фалейкса вытащить из ушей огромные плоские кольца, напоминавшие серсо.

— Вы слишком многого хотите, госпожа Бодуайе, — сказал он, видя, как она счастлива, что добилась от него этой жертвы, — совсем надо мной власть забрали: заставляете зубы чистить, а они от этого только расшатываются; скоро вы потребуете, чтобы я чистил ногти да завивал волосы, а в нашем деле это не принято, у нас щеголей не любят.

Елизавета Бодуайе, урожденная Сайяр, была одной из тех женщин, которые не поддаются кисти художника по причине своей крайней заурядности; вместе с тем они заслуживают описания, так как это типичные представительницы парижской мелкой буржуазии, стоящей на социальной лестнице выше ремесленников и ниже крупной буржуазии; их добродетели не лучше пороков, в их недостатках нет и тени привлекательности, однако их нравы, хотя и проникнуты мещанством, все же не лишены своеобразия. Елизавета выглядела до того хилой, что просто тоска брала смотреть на нее. Ростом она была чуть повыше четырех футов и притом настолько худа, что ширина ее талии едва ли превышала пол-локтя. Мелкие черты, как бы стянутые к носу, придавали ее лицу какое-то сходство с мордочкой ласки. Хотя ей стукнуло уже тридцать, она все еще производила впечатление шестнадцати-семнадцатилетней девицы. Ее голубые, как фаянс, глаза с тяжелыми веками, словно идущими от самых бровей, не отличались блеском. Все в ней было незначительно: и белесые волосы, и плоский тусклый лоб, и серый, почти свинцовый цвет кожи. Нижняя часть лица, скорее треугольная, чем овальная, завершала эту физиономию, банальную даже в своей неправильности. Кисло-сладкие интонации ее голоска не лишены были, впрочем, приятности. Словом, Елизавета была типичной мещаночкой, которая вечером, в постели, дает мужу практические советы; ее добродетелям грош цена, за ее честолюбием не кроется никаких более широких замыслов, оно плод домашнего эгоизма; живи она в деревне, она стремилась бы округлить свои владения, а будучи женой чиновника, желала, чтобы муж получил повышение по службе. Описать жизнь ее родителей, ее детство — значит сказать о ней все.

Господин Сайяр женился на дочери купца, торговавшего мебелью под навесом Центрального рынка. Крайняя скудость их средств вынуждала родителей Елизаветы к непрерывным лишениям. Сайяры, как их звали в округе, после тридцатитрехлетнего супружества и двадцатидевятилетнего сидения г-на Сайяра в конторах, все же сколотили капитал, состоявший из шестидесяти тысяч франков, доверенных Фалейксу, стоимости дома на Королевской площади, приобретенного в 1804 году за сорок тысяч, и тридцати шести тысяч франков, которые они давали за дочерью. В их капитал вошли и пятьдесят тысяч, доставшиеся им по наследству от вдовы Бидо, матери г-жи Сайяр. Жалованье Сайяра не превышало четырех с половиной тысяч, ибо его должность представляла собой настоящий служебный тупик и никого не прельщала. Поэтому девяносто тысяч франков были скоплены Сайярами по грошам, путем поистине скаредной экономии, и помещены чрезвычайно глупо. Действительно, Сайяры не знали иного способа пускать свои деньги в оборот, как относить их небольшими суммами — по пять тысяч франков — нотариусу Сорбье, предшественнику Кардо, и помещать их из пяти процентов под первую закладную, с распространением права взыскания на жену, если заемщик женат.

В 1804 году г-жа Сайяр получила место в конторе по продаже гербовой бумаги, и они вынуждены были взять, наконец, служанку. В то время их дом, стоивший более ста тысяч, приносил им восемь тысяч ежегодно. С шестидесяти тысяч, данных Фалейксу, они получали семь процентов, а также половину его прибыли. Таким образом, Сайяры имели теперь не менее семнадцати тысяч франков дохода. Честолюбивые мечты кассира не шли дальше получения креста при отставке.

В молодости Елизавета была вынуждена работать не покладая рук на семью, нравы которой были весьма суровы, а взгляды примитивны. Там бесконечно обсуждалась покупка новой шляпы для Сайяра или высчитывалось, сколько лет проносилась какая-нибудь часть одежды, а зонтики для лучшей сохранности подвешивались ручкой вниз с помощью особых медных колец. С 1804 года дом ни разу не ремонтировался. Сайяры сохранили первый этаж в точности таким, каким он перешел к ним от прежнего владельца; позолота простенков стерлась, живопись над дверями едва виднелась сквозь густой слой пыли, наложенный на нее временем. В этой большой прекрасной квартире с каминами, украшенными мраморной скульптурой и плафонами, достойными Версаля, стояла мебель вдовы Бидо: потрескавшиеся, обитые штофом ореховые кресла, комоды розового дерева, столики с медными решетками и расколотыми досками белого мрамора, чудесный секретер Буль, которому мода еще не вернула его настоящей ценности, всякий хлам, купленный по случаю лавочницей с Центрального рынка; картины, приобретенные за красоту рамок; сборная посуда — великолепные японские тарелки наряду с самым разнокалиберным фарфором; разрозненное серебро, старинный хрусталь, камчатные скатерти, кровать в виде усыпальницы, украшенная перьями и драпировками из восточных тканей.

Госпожа Сайяр обычно восседала среди всех этих реликвий в современном кресле красного дерева, поставив ноги на прогоревшую грелку, подле камина с грудой пепла, но без огня; на камине стояли часы, старинные бронзовые статуэтки, канделябры с украшениями в виде цветов, но без свечей, ибо хозяйка довольствовалась переносным медным подсвечником, из которого торчала одна большая сальная свеча, разукрашенная подтеками. На лице г-жи Сайяр, изрытом морщинами, отражались упрямство и жестокость, узость воззрений, тупая честность, откровенная жадность, бездушное благочестие и спокойствие совести, не знающей сомнений; такие типы женщин видишь на иных картинах фламандских мастеров, и они обычно прекрасно воспроизведены: это жены бургомистров, — но только они одеты в великолепные платья из бархата или других роскошных тканей, а у г-жи Сайяр таких нарядов не было, она носила ту старинную одежду, которую в Турени и Пикардии зовут «Коттой», а по всей Франции — «котильоном», платье, собранное в складки сзади и на боках, причем несколько юбок надеваются одна на другую. Ее талия была стянута казакином — мода уже совсем другой эпохи! Она носила старинный чепчик бабочкой и башмаки на высоком каблуке. Хотя ее возраст — ей уже исполнилось пятьдесят семь лет — и ее упорные труды ради блага семьи давали ей полное право отдохнуть, она неустанно вязала чулки мужу, себе и дяде, как вяжут женщины в деревнях — на ходу, беседуя, прогуливаясь по саду, идя в кухню, чтобы посмотреть, все ли там в порядке.

Скупость Сайяров, вначале порожденная нуждой, постепенно вошла у них в привычку. Возвратившись домой после службы, кассир совлекал с себя сюртук и собственноручно работал в большом саду, который отделялся от двора решеткой и был оставлен им в свое личное пользование. В течение многих лет Елизавета по утрам ходила с матерью на рынок, и они вдвоем делали всю работу по дому. Мать превосходно готовила утку с репой; зато, по отзывам папаши Сайяра, никто не умел лучше Елизаветы тушить остатки бараньей ноги в луковом соусе. «С таким соусом родного дядюшку проглотишь и не заметишь!» — говаривал Сайяр. Едва Елизавета научилась держать в руках иглу, как мать заставила ее чинить все белье семьи и одежду отца. Она была постоянно занята по хозяйству, как служанка, и никогда не выходила из дому одна. Хотя они жили в двух шагах от бульвара Тампль, где находились цирк Франкони, театры Гетэ, Амбигю-комик, а немного подалее — театр Порт-Сен-Мартен, Елизавета ни разу не видела, как *представляют*. Когда ей захотелось узнать, что же это такое, г-н Бодуайе — разумеется, с благословения отца Годрона, — расщедрившись и желая показать ей лучший из спектаклей, повел ее в Оперу, где давали тогда «Китайского землепашца». Однако Елизавета нашла, что *представляют* страх как скучно, и не пожелала больше ходить в театр. По воскресеньям, промаршировав четыре раза от Королевской площади до церкви св. Павла и обратно, ибо мать заставляла ее неукоснительно исполнять религиозные обязанности, она шла с родителями в Турецкую кофейню, и они усаживались на стулья между решеткой и стеной дома. Сайяры спешили прийти первыми, чтобы захватить места получше и развлекаться созерцанием гуляющих. В те времена сад Турецкой кофейни был местом встреч для модников и модниц из Марэ, Сент-Антуанского предместья и окрестных улиц. Елизавета не носила иных платьев, кроме ситцевых летом и мериносовых зимой, причем шила их сама; мать выдавала ей всего двадцать пять франков в месяц на личные расходы; однако отец, который очень ее любил, несколько облегчал этот суровый режим, время от времени поднося дочери подарки. Она никогда не читала тех книг, которые аббат Годрон, викарий церкви св. Павла, и семейный совет считали нечестивыми. Подобное воспитание принесло свои плоды. Так как ей все же надо было вкладывать свои душевные силы в какую-нибудь страсть, то Елизавета стала жадной к наживе. Хотя у нее был и здравый смысл и проницательность, но догматы религии и невежество замкнули все ее способности в некий железный круг, и она могла применять их только к самым пошлым сторонам жизни; а так как у нее не было возможности разбрасываться, она сосредоточивала все свои силы на том деле, которым в данное время была занята. Ее природный ум, скованный ханжеством, мог проявлять себя только в вопросах совести, а совесть — дело тонкое, стремление к выгоде всегда найдет в ней лазейку. Подобно тем святым, в которых религия не подавила честолюбия, она была способна требовать от своего ближнего предосудительных поступков, чтобы воспользоваться их плодами, и могла быть неумолимой и корыстной при достижении своих целей. Если бы ей нанесли оскорбление, она способна была бы следить за своими противниками с коварным упорством кошки и наслаждаться рассчитанной и беспощадной местью, свалив все на господа бога. До замужества Елизаветы почти единственным гостем Сайяров был аббат Годрон, овернский священник, которого после восстановления католической церкви назначили викарием у св. Павла. Помимо этого духовного лица, бывшего другом еще покойной г-жи Бидо, у них бывал дядя г-жи Сайяр по отцу, шестидесятидевятилетний старик, некогда торговавший бумагой, но закрывший свою торговлю во II год Республики; он приходил к ним только по воскресеньям, так как в этот день нельзя было заниматься делами.

У этого старикашки было зеленоватое лицо с огромным, багровым, как у пьяницы, носом и ястребиными глазками; он носил треуголку, из-под которой торчали, развеваясь по ветру, седые волосы, короткие панталоны с застежками, спускавшиеся ниже колен, бумажные узорчатые чулки, связанные племянницей, которую он неизменно называл «маленькая Сайяр», грубые башмаки с серебряными пряжками и сюртук, ставший пегим от старости. Он чрезвычайно напоминал одного из тех деревенских ключарей-пономарей-звонарей-могильщиков-певчих, которых мы склонны принимать за выдумку карикатуристов, пока не увидим их собственными глазами. Он и сейчас еще пешком приходил к Сайярам обедать и пешком возвращался на улицу Гренетá, где проживал в квартирке на четвертом этаже. Он занимался учетом коммерческих ценностей в квартале Сен-Мартен, где его прозвали Жигонне, иначе Дрыгун, за судорожное вздергивание ноги при ходьбе. Г-н Бидо начал заниматься учетом со II года, вместе с неким голландцем, господином Вербрустом, приятелем Гобсека.

Позднее Сайяр познакомился в церкви св. Павла с четой Трансонов; Трансон был крупным коммерсантом и торговал посудой на улице Ледигьер; супруги воспылали симпатией к Елизавете и, желая содействовать ее замужеству, ввели к Сайярам молодого человека по имени Изидор Бодуайе. Знакомство г-на и г-жи Бодуайе с Сайярами упрочилось, ибо его одобрил и Жигонне, который издавна пользовался в делах услугами некоего Митраля, судебного пристава, брата г-жи Бодуайе, помышлявшего теперь о том, чтобы удалиться на покой, в свой хорошенький домик в Лиль-Адане. Супруги Бодуайе, родители Изидора, честные сыромятники с улицы Сансье, торгуя по старинке, за много лет сколотили кое-какой капиталец. Женив единственного сына, которому они дали пятьдесят тысяч франков, старики решили доживать свой век в деревне и выбрали Лиль-Адан; они склонили к этому и Митраля; однако им приходилось частенько наезжать в Париж, где они оставили за собой квартирку в доме на улице Сансье, отданном Изидору. Выделив сына, Бодуайе все же имели в год тысячу экю.

Митраль носил растрепанный парик, придававший ему что-то зловещее, лицо у него было серое, как воды Сены, зеленые глаза сверкали; он был похож на холодную и скользкую колодезную веревку, и от него пахло мышами; происхождения и размеров своего состояния он никому не открывал, но, видимо, занимался в своем уголке той же деятельностью, что и Жигонне в квартале Сен-Мартен.

Хотя круг этой семьи расширился, однако ни ее нравы, ни ее взгляды не изменились: все так же неукоснительно праздновались именины отца, матери, зятя, дочери, внучки, дни рождений, свадеб, пасха, рождество, новый год, крещение.

К этим датам производилась генеральная уборка и чистка всей квартиры, благодаря чему сладость семейных празднеств сочеталась с пользой. Затем торжественно, не считая обязательных букетов, совершалось подношение полезных подарков, как-то: пары шелковых чулок или меховой шапки Сайяру, золотых пряжек Изидору или серебряного блюда Елизавете — постепенно им подбирали целый обеденный сервиз, — шелку на юбки г-же Сайяр, который она так и хранила в сундуке. Перед тем как поднести подарок, виновника торжества усаживали в кресло и довольно долго приставали к нему с вопросом: «Угадай, что мы тебе подарим?» В заключение семейного торжества подавался роскошный обед, тянувшийся пять часов, на котором присутствовали: аббат Годрон, Фалейкс, Рабурден, г-н Годар, бывший помощник г-на Бодуайе, г-н Батай, капитан той же роты, в которой служили тесть и зять. Г-н Кардо, желанный гость на всех званых обедах, поступал, однако, как Рабурден, — он принимал из шести приглашений одно. За десертом пели песни, восторженно обнимались и желали друг другу всех возможных благ; подарки выставлялись на всеобщий суд, и хозяева требовали, чтобы каждый гость непременно высказал свое мнение. В тот день, когда Сайяру была поднесена меховая шапка, он, ко всеобщему удовольствию, просидел в ней весь десерт. Потом приходили разные знакомые, и начинались танцы. До поздней ночи отплясывали гости под пиликанье одной только скрипки; впрочем, вот уже шесть лет, как г-н Годар, большой искусник по части музыки, весьма способствовал веселью, присоединяя к скрипке свой визгливый флажолет. Галерку составляли кухарка и горничная г-жи Бодуайе, старуха Катерина, служанка г-жи Сайяр, привратник или его жена — они смотрели на танцы, стоя в дверях. Слуги получали три франка на вино и кофе. Гости смотрели на Сайяра и Бодуайе как на существа высшего порядка: и тесть и зять были чиновниками, состояли на государственной службе, выбились в люди благодаря своим незаурядным дарованиям; они-де работают с самим министром, это люди недюжинные — словом, политические деятели; однако Бодуайе считался особенно талантливым, его пост правителя канцелярии связан был с деятельностью более значительной, с трудами более замысловатыми, чем у какого-то кассира.

Кроме того, хотя Изидор и был сыном сыромятника с улицы Сансье, но у него хватило способностей, чтобы получить образование, и смелости, чтобы отказаться от работы в заведении отца и поступить на службу, где он и добился выдающегося положения. За свою необщительность он почитался глубоким мыслителем, — его могли, говорили Трансоны, со временем выбрать депутатом от восьмого округа. Слыша все эти разглагольствования, Жигонне еще больше поджимал губы и обменивался взглядом со своей внучатной племянницей Елизаветой.

Изидору было тридцать семь лет; он был рослый и толстый, вечно потел, а головой и сложением напоминал допотопное чудовище; эта огромная голова с каштановыми, коротко остриженными волосами отделялась от шеи жирной складкой в виде валика, образовавшего как бы второй воротник. Плечи у него были как у Геркулеса, руки — достойные Домициана, а живот столь объемистый, что, как сказал бы Брийа-Саварен[[34]](#footnote-34), только благодаря воздержанию ему удавалось сохранять величие. Лицом он чрезвычайно напоминал императора Александра[[35]](#footnote-35). В его маленьких глазах, в плоском носе со вздернутым кончиком, в очертаниях холодно сжатых губ, в срезанном подбородке сказывался татарский тип. Лоб у него был низкий и узкий. Вопреки своему флегматическому темпераменту благочестивый Изидор предавался слишком рьяно супружеской любви, и даже годы не умерили его пыла. Невзирая на сходство с красивым русским императором и грозным Домицианом, Изидор был просто-напросто бюрократом; правитель канцелярии отнюдь не блестящий, но привыкший к трудовой рутине, он скрывал свое полное ничтожество под столь толстым покровом, что самый острый скальпель был бы здесь бессилен. Его ревностные занятия науками, при которых он выказывал воловье терпение и воловье благоразумие, его квадратная голова обманули родителей, возомнивших, что он человек необыкновенный. Педантичный и мелочный, въедливый и придирчивый, гроза подчиненных, которым он постоянно делал замечания, Изидор беспощадно пилил их за каждую запятую, строго выполнял все правила и установления и приходил на службу с такой неуклонной точностью, что любой его чиновник почитал своим долгом быть на месте раньше его. Бодуайе носил васильковый фрак с желтыми пуговицами, верблюжьего цвета жилет, серые панталоны и цветной галстук. Ноги у него были огромные и дурно обутые. На часовой цепочке висела целая гроздь старых брелоков, среди которых он в 1824 году носил американские игральные кости, бывшие в моде в VII году.

В этой семье, спаянной общностью религиозных воззрений, суровостью нравов и единственной мыслью о стяжательстве, ставшем как бы компасом ее жизненного плавания, Елизавета, когда ей хотелось высказать свои думы, была вынуждена обращаться к самой себе, ибо она чувствовала, что никто здесь не способен ее понять. Хотя факты заставляли ее относиться к мужу критически, эта ханжа изо всех сил старалась поддерживать в людях благоприятное мнение о нем; она выказывала ему глубочайшее уважение — ведь он был отцом ее дочери и ее мужем, воплощением земной власти, как говорил викарий церкви св. Павла. И она сочла бы, что совершает смертный грех, если бы одним движением, взглядом или словом обнаружила перед посторонним человеком свое истинное мнение об этом дураке Бодуайе; Елизавета беспрекословно подчинялась даже его прихотям. Но весь шум жизни достигал до нее, она прислушивалась к этим отголоскам, вникала в них, удерживала в своей памяти, сопоставляла их и судила о людях и событиях столь здраво, что к тому времени, с которого начинается наше повествование, сделалась как бы тайным оракулом двух чиновников, которые, незаметно для себя, настолько утратили самостоятельность, что уже ничего не могли предпринять, не посоветовавшись с нею. Папаша Сайяр простодушно восклицал: «Ну до чего же она хитра, наша Елизавета!» Однако Бодуайе, слишком глупый, чтобы не чваниться той дутой славой, которой он пользовался в Сент-Антуанском предместье, упорно отрицал, что его супруга умна, хотя не мог шагу ступить без нее. Елизавета почуяла, что ее дед Бидо, прозванный Жигонне, богат и располагает огромными суммами. Умудренная жадностью, она сумела раскусить де Люпо и знала его лучше, чем его знал министр. Поняв, что ее муж — болван, она не раз говорила себе, что ее судьба могла бы сложиться совсем иначе, однако, хотя и подозревала, что есть кое-что приятнее, чем ее жизнь с Изидором, все же не решалась это новое испробовать. До сих пор ее нежность находила себе выход только в любви к дочери, которую она всячески старалась уберечь от горестей, испытанных в детстве ею самой, — и этим отдавала, как ей казалось, достаточную дань миру чувств. Только ради дочери уговорила она своего отца согласиться на столь чудовищно смелый шаг — войти в содружество с Фалейксом. Фалейкс был представлен Сайярам стариком Бидо, который давал ему деньги под товары. Фалейкс считал, что его «старый земляк» слишком его прижимает, и простодушно пожаловался при Сайярах на Жигонне, бравшего с него, овернца, целых восемнадцать процентов! Старуха Сайяр осмелилась упрекнуть своего дядюшку.

— Я потому с него и беру только восемнадцать процентов, что он мой земляк, — ответил Жигонне.

Фалейксу было двадцать восемь лет; сделав упомянутое изобретение, он сообщил о нем Сайяру, причем душа его при этом *была как на ладони* (выражение из словаря Сайяров); казалось, молодому человеку предназначена великая удача. Елизавета тут же решила не спеша заняться им и самой образовать характер будущего зятя, назначив для этого примерно семилетний срок. Мартен Фалейкс относился к г-же Бодуайе с безграничным почтением и признавал за ней исключительный ум. Имей он со временем миллионы, он должен был все же навеки принадлежать этому дому, где обрел семью. Даже маленькая Бодуайе уже была обучена с милой улыбкой подавать ему стакан и брать у него шляпу.

Когда г-н Сайяр вернулся из министерства, бостон был в полном разгаре. Елизавета наставляла Фалейкса. Г-жа Сайяр вязала, сидя в углу у камина, и подсказывала ходы викарию от св. Павла. Г-н Бодуайе, недвижный, точно пень, силился путем сложных расчетов выяснить, у кого какие карты; против него сидел Митраль, приехавший на рождественские праздники из Лиль-Адана. Никто не встал, чтобы поздороваться с кассиром, а тот в течение нескольких минут ходил по гостиной, и его толстое лицо морщилось от каких-то непривычных мыслей.

— Он всегда такой, когда пообедает у министра; к счастью, это бывает только два раза в год, — сказала г-жа Сайяр, — иначе они совсем бы его уморили. Сайяр не создан для государственных дел... Послушай, — обратилась она к мужу, — ты, надеюсь, не намерен остаться здесь в шелковых панталонах и во фраке эльбефского сукна? Пойди-ка, мамочка, сними все это, не таскай зря.

— У твоего отца что-то есть на душе, — сказал Бодуайе жене, когда кассир ушел к себе в комнату и стал переодеваться в темноте.

— Может быть, умер господин де ла Биллардиер, — спокойно заметила Елизавета, — ведь отец хочет, чтобы ты занял его место, вот он и озабочен.

— Если я могу вам чем-нибудь быть полезен, — сказал, сделав полупоклон, викарий от св. Павла, — прошу вас, располагайте мной. Я имею честь быть известным супруге дофина. Мы живем в такие времена, когда должности необходимо отдавать людям преданным, с непоколебимыми религиозными убеждениями.

— Как? — удивился Фалейкс. — Неужели люди, достойные повышения на государственной службе, все-таки нуждаются в покровителях? Значит, я правильно поступил, став литейщиком; покупатели умеют разыскивать вещи, которые сделаны хорошо...

— Сударь! — ответствовал Бодуайе. — Правительство есть правительство, прошу вас здесь никогда его не критиковать.

— В самом деле, — заметил викарий, — вы рассуждаете прямо как «Конститюсьонель».

— «Конститюсьонель» именно так и говорит, — подтвердил Бодуайе, никогда не читавший этой газеты.

Кассир обычно уверял, что его зять по своим талантам настолько же выше Рабурдена, насколько господь бог выше пономаря; и толстяк в простоте душевной надеялся на повышение Изидора и мечтал об этом, как мечтают о повышениях все чиновники, — желание неудержимое, нелепое, стихийное. Сайяр жаждал успеха, жаждал получить крест Почетного легиона, не входя ни в какие сделки с совестью, просто за свою добродетель. По его убеждению, человек, который имел терпение двадцать пять лет проторчать в присутствии, за решеткой кассы, который, так сказать, пожертвовал своей жизнью отечеству, конечно, достоин ордена. Желая помочь зятю, он не нашел ничего лучшего, как замолвить за него словечко супруге его превосходительства, вручая ей месячное жалованье.

— Послушай, Сайяр, что это ты точно с похорон? Хоть поговори с нами! — крикнула ему жена, когда он вернулся.

Он сделал знак дочери, как бы подчеркивая, что не хочет о важных делах говорить при посторонних, и решительно отвернулся. Когда г-н Митраль и викарий ушли, Сайяр отодвинул стол, опустился в кресло и принял ту позу, которую принимал обычно перед тем, как повторить сплетню, услышанную им в канцелярии; все это сильно напоминало три удара в дверь, раздающиеся в роковую минуту на сцене Французской комедии. Прежде всего он потребовал от жены, дочери и зятя глубокой тайны, ибо сколь невинной ни была бы сплетня, служебные успехи, по его мнению, зависели прежде всего от умения молчать; затем он рассказал о загадочном отозвании депутата, о вполне законном желании секретаря министра занять его место и об отношении к этому министерства, тайно противившегося замыслам человека, который был его наиболее надежной опорой и усерднейшим слугой; упомянул о сложностях, возникавших для де Люпо из-за возраста и ценза. Последовала целая лавина всяческих догадок и бесконечных рассуждений, причем чиновники преподносили друг другу глупость за глупостью. Елизавета же задала всего три вопроса:

— Если господин де Люпо окажется за нас, то наверняка ли назначат господина Бодуайе?

— Еще бы, черт побери! — воскликнул кассир.

«В 1814 году мой двоюродный дед Бидо и господин Гобсек оказали де Люпо услугу...» — размышляла она.

— Интересно, есть ли у него и теперь долги? — спросила Елизавета.

— Долги... и... и..? — Кассир растянул последнюю букву и даже присвистнул. — Конечно, есть. Было уже наложено запрещение на его жалованье, но потом снято по приказу свыше, ввиду возможного депутатства.

— А где находится имение де Люпо?

— Где, черт побери? Да там же, где жили твой дед, твой двоюродный дед Бидо и Фалейкс, недалеко от округа того самого депутата, которого собираются отозвать.

Когда ее муж-великан улегся, Елизавета склонилась над ним и, хотя он называл ее предсказания «бреднями», заявила:

— Знаешь, мой друг, может быть, ты и получишь место господина де ла Биллардиера.

— Ну вот, опять твои фантазии, — рассердился муж. — Предоставь господину Годрону переговорить с супругой дофина и, пожалуйста, не вмешивайся в служебные дела.

В одиннадцать часов вечера, когда на Королевской площади уже царила тишина, г-н де Люпо вышел из здания Оперы и отправился на улицу Дюфо. Это была одна из наиболее блестящих сред г-жи Рабурден. Несколько завсегдатаев ее дома приехали после театра и еще увеличили число гостей, образовавших различные группы, среди которых обращал на себя внимание ряд знаменитостей: поэт Каналис, художник Шиннер, доктор Бьяншон, Люсьен де Рюбампре, Октав де Кан, граф де Гранвиль, виконт де Фонтэн, водевилист дю Брюэль, журналист Андош Фино, Дервиль — один из умнейших юристов, депутат барон дю Шатле, банкир дю Тийе и молодые щеголи вроде Поля де Манервиля или виконта де Портандюэра.

Когда вошел секретарь министра, Селестина разливала чай. В этот вечер туалет и прическа были очень ей к лицу: платье черного бархата безо всякой отделки, черный газовый шарф, приглаженные волосы, заплетенные в косу и уложенные на голове в виде короны, локоны, ниспадающие на плечи по английской моде. Женщина эта особенно выделялась среди других какой-то чисто итальянской артистичностью и непринужденностью, какой-то способностью решительно все понимать и радушной любезностью, предупреждавшей малейшее желание гостей. Природа наделила ее гибким станом, чтобы быстро обертываться при любом вопросе, и черными, по-восточному удлиненными глазами, чуть раскосыми, как у китаянок, позволяющими смотреть не только вперед, но и по сторонам; она так научилась владеть своим вкрадчивым, мягким голосом, что в ее устах каждое слово, даже самое случайное, звучало ласкающим очарованием; у нее были такие ножки, какие увидишь только на портретах, где художники, изображая обувь своих моделей, лгут сколько им угодно, ибо это единственная лесть, которая не противна анатомии. Ее цвет лица, несколько желтоватый днем, как обычно у брюнеток, приобретал особый оттенок, когда зажигались огни, от которых блестели ее волосы и черные глаза. Наконец, ее тонкая, но рельефная фигура напоминала художникам средневековую Венеру, открытую Жаном Гужоном[[36]](#footnote-36), знаменитым ваятелем Дианы де Пуатье[[37]](#footnote-37).

Де Люпо остановился в дверях гостиной и прислонился плечом к косяку. Этот соглядатай чужих мыслей не мог отказать себе в удовольствии пошпионить и за чувствами хозяйки, ибо г-жа Рабурден интересовала его неизмеримо больше, чем все женщины, с которыми он до сих пор имел дело. Де Люпо приближался к тому возрасту, когда мужчина начинает предъявлять к женщинам огромные требования. Первые седины влекут за собой последние увлечения и притом — наиболее страстные; их источник — уходящая сила и наступающая слабость. Сорок лет — это возраст безумств, тот возраст, когда мужчина хочет любить, но главное — быть любимым, ибо его чувство уже не живет собой, как в юные годы, когда можно быть счастливым, любя кого попало, словно Керубино. В сорок лет желаешь иметь все, так как боишься не получить ничего, а в двадцать пять имеешь столько, что не знаешь, чего и желать. В двадцать пять нам даны такие силы, что можно безнаказанно тратить их, а в сорок — за силу принимают злоупотребления ею. Мысли, овладевшие в эту минуту де Люпо, были, вероятно, весьма меланхолического свойства. Нервы стареющего красавца вдруг ослабели, и любезная улыбка, которая обычно не сходила с его лица, служа как бы маской, внезапно погасла. Из-под маски выступила подлинная суть этого человека, и она была отвратительна. Рабурден увидел это и удивился: «Что с ним? или попал в немилость?» А секретарь министра попросту вспомнил, как его некогда слишком скоро бросила хорошенькая г-жа Кольвиль, которая добивалась в точности того же, что и Селестина. Рабурден подстерег этого политического проходимца в то время, когда тот смотрел на г-жу Рабурден, и муж запомнил его взгляд. Ксавье был достаточно проницателен, он знал де Люпо насквозь и глубоко презирал его; но, как бывает у слишком занятых людей, эти чувства внешне никак не выказывались. Увлечение любой работой приводит к тому же, что и самая искусная скрытность, — отношение Рабурдена оставалось для де Люпо тайной за семью печатями. А Рабурден с трудом терпел у себя в доме этого политического пройдоху, но не хотел перечить жене. К тому же правитель канцелярии беседовал с молодым сверхштатным чиновником, которому предстояло сыграть роль в интриге, подготовлявшейся в связи с неизбежной смертью де ла Биллардиера; поэтому он окинул весьма рассеянным взором Селестину и де Люпо.

Здесь, быть может, уместно будет пояснить столько же для иностранцев, сколько и для наших собственных потомков, что такое парижский сверхштатный чиновник.

Сверхштатный чиновник — это в административном управлении все равно, что певчий в церкви, кантонист в полку, хористка в театре: существо наивное, простодушное, ослепленное иллюзиями. Но без иллюзий что стало бы с нами? Они дают нам силу терпеть ради искусства голод и холод и жадно поглощать начала всяких наук, вселяют веру в них. Иллюзия — это чрезмерная вера! Итак, сверхштатный верит в административную власть! Он не допускает мысли, что она холодна, жестока, свирепа, — словом, не видит, какова она в действительности. Есть только два вида сверхштатных: богатые и бедные. Сверхштатный бедняк богат надеждами и нуждается в должности, сверхштатный богач беден умом и ни в чем не нуждается. Богатая семья не настолько глупа, чтобы сделать умного человека чиновником. Если сверхштатный богат, его пристраивают к кому-нибудь из старших чиновников или под крылышко самого директора, чтобы они посвятили молодого человека в то, что Бильбоке[[38]](#footnote-38), этот глубокомысленный философ, назвал высокой комедией административной власти; ему смягчают тяготы стажа, пока не назначат на какое-либо штатное место. Богатого канцеляристы никогда не боятся: они знают, что он метит только на высшие должности. В те времена было немало семейств, которые задавали себе вопрос: «Что нам делать с нашими детьми?» Армия не сулила особых возможностей; другие специальности — инженерное, морское, горное дело, генеральный штаб, профессура — были недоступны вследствие строгости предъявляемых требований или из-за конкурентов, тогда как коловратное движение, делающее из чиновников префектов, супрефектов, податных инспекторов, управляющих окладными сборами и всякие другие фигуры из волшебного фонаря, не ограничивается никакими правилами, не требует никакого стажа. Сюда-то и ринулись сверхштатные молодые повесы — обладатели кабриолетов, щегольских сюртуков и усиков, предерзкие, как все выскочки. Журналисты усердно обличали этих молодых людей за то, что каждый из них неизменно оказывался кузеном, племянником, дальним родственником какого-нибудь министра, депутата, влиятельного пэра; однако сослуживцы такого сверхштатного чиновника искали его покровительства. Но сверхштатный бедняк, настоящий, подлинный сверхштатный — это почти всегда сын вдовы-чиновницы, которая живет впроголодь на убогую пенсию, старается изо всех сил вытянуть сына хотя бы в экспедиторы и, наконец, умирает, оставив его на пути к великой цели, рисующейся ему в виде места письмоводителя, делопроизводителя или — кто знает! — даже помощника правителя канцелярии.

Обреченный вечно жить на окраинах, где квартиры дешевле, сверхштатный бедняк выходит из дому рано, и для него существует только один *восточный вопрос* [[39]](#footnote-39) — нет ли на небе туч? Добраться пешком, не запачкав обуви, сберечь одежду, высчитать, много ли времени потеряешь, если слишком сильный ливень заставит тебя где-нибудь укрыться, — сколько забот! Тротуары на улицах, мостовая на бульварах и набережных — для него благодеяние. Если вы, по прихоти судьбы, окажетесь в восьмом часу утра на парижской улице, — зимой, в жестокий холод, в дождь или в любое ненастье — и увидите идущего вам навстречу робкого и бледного молодого человека без сигары в зубах, обратите внимание на его карманы! Вы наверняка заметите в одном из них очертания булки, которую ему дала мать, чтобы он мог протерпеть без опасности для своего желудка те девять часов, которые пройдут между его завтраком и обедом.

Впрочем, простодушие сверхштатного чиновника недолговечно.

Молодой человек при свете парижских огней очень скоро постигает то неизмеримое расстояние, которое отделяет ноль от единицы, проблематические наградные от постоянного жалованья и его самого от помощника правителя канцелярии и которое не мог бы исчислить никакой Архимед, Ньютон, Паскаль, Лейбниц, Кеплер или Лаплас. И сверхштатный скоро убеждается, что сделать карьеру невозможно, он слышит разговоры чиновников о назначениях, происходящих через голову тех, кто имеет на них все права, узнает и скрытые причины этих несправедливостей; он разгадывает интриги, которые замышляются в недрах канцелярий, ухищрения, с помощью которых начальники некогда добились своих мест: один женился на оступившейся молодой особе; другой — на побочной дочери министра; третий взял на себя тайные обязательства; четвертый, одаренный недюжинными способностями, чуть не подорвал свое здоровье, трудясь, точно каторжный, точно крот, — а ведь не всякий способен на такие подвиги! В канцеляриях обычно бывает известна вся подноготная: этот — бездарность, зато жена у него умница, она протолкнула его и вытолкнула в депутаты, и если он не обнаруживает способностей на службе, зато успешно ведет интриги в палате. А у того другом дома состоит видный государственный деятель, а вон тот является пайщиком газеты, в которой пишет влиятельный журналист... И вот, охваченный отвращением, сверхштатный бедняк подает в отставку. Три четверти сверхштатных бросают службу, так и не добившись штатной должности; остаются только упрямцы или дураки, говорящие себе: «Я здесь уже три года, и в конце концов мне все-таки должны дать место!» — или молодые люди, чувствующие в себе особое призвание к административной деятельности. В канцелярии сверхштатный — все равно, что послушник в каком-нибудь монастыре, он подвергается испытанию. И это испытание крайне сурово. Таким путем государство узнает тех, кто в силах терпеть голод, жажду и нищету, не падая духом, трудиться, не чувствуя отвращения, тех, кто по своему характеру способен выносить тяжелую жизнь канцеляриста, — вернее, не жизнь, а мучительное прозябание. И лишь с этой точки зрения институт сверхштатных можно считать не гнусной спекуляцией правительства ради получения даровых работников, а благодетельным установлением.

Молодой человек, с которым беседовал Рабурден, был сверхштатным из разряда бедняков; его звали Себастьен де ла Рош, и он пришел в Марэ с улицы дю Руа-Доре на цыпочках, чтобы ни одна капля грязи не попала на его сапоги. Он называл свою мать «маменька» и не смел поднять глаз на г-жу Рабурден, дом которой представлялся ему чуть ли не Лувром. Он старался поменьше показывать руки в перчатках, вычищенных резинкой. Его бедная мать сунула ему в карман сто су на случай, если уж никак невозможно будет избежать игры в карты, и посоветовала ничего не есть, не садиться и поменьше делать движений, не то, избави бог, он еще опрокинет какую-нибудь лампу или уронит с этажерки хорошенькую безделушку. Одет он был во все черное. Его белое лицо и красивые зеленоватые глаза, в которых вспыхивали золотистые отблески, отлично сочетались с пышными белокурыми волосами теплого тона. Бедный мальчик изредка поглядывал украдкой на г-жу Рабурден и восклицал про себя: «Что за красавица!», а вернувшись домой, он, конечно, будет грезить об этой волшебнице до той минуты, пока сон не сомкнет ему веки. Рабурден подметил в Себастьене подлинное призвание к административной деятельности, и так как относился к институту сверхштатных с должной серьезностью, то живо заинтересовался скромным юношей. Он к тому же угадал нужду, царившую в доме бедной вдовы, вся пенсия которой составляла семьсот франков, причем на сына, лишь недавно окончившего лицей, было, конечно, немало потрачено сбережений. Поэтому Рабурден отечески относился к Себастьену, не раз с трудом добивался для него наградных, а порою даже выдавал их из собственных средств, когда спор между ним и раздающими милости слишком обострялся. Он забрасывал Себастьена поручениями, старался формировать его характер; заставлял его исполнять в канцелярии работу дю Брюэля, сочинителя театральных пьес, известного среди драматургов и упоминавшегося на афишах под именем Кюрси, — дю Брюэль уделял молодому человеку сто экю из своего жалованья. Рабурден был, в представлении вдовы де ла Рош и ее сына, великим человеком, одновременно тираном и ангелом; на него одного возлагали они все свои надежды. Себастьен только и думал о том времени, когда он сделается чиновником. Да! Тот день, когда сверхштатный впервые расписывается в платежной ведомости, — это счастливый день! Все они долго не выпускают из рук деньги, полученные ими за первый месяц службы, и не отдают их матери целиком! Венера всегда благосклонна к этим первым дарам министерской кассы. Все надежды могли осуществиться для Себастьена только при помощи г-на Рабурдена, его единственного покровителя; поэтому преданность юноши своему начальнику была безгранична. Себастьен обедал два раза в месяц на улице Дюфо, но лишь когда не было посторонних, причем Рабурден приводил его с собою; а на балы г-жа Рабурден приглашала его обычно, только если не хватало кавалеров. Сердце бедного молодого человека начинало усиленно биться, когда он видел, как в половине пятого надменного де Люпо уносит министерская карета, — сам же он, Себастьен, скромно стоит на крыльце министерства, раскрывая зонтик, чтобы пешком плестись домой. А секретарь министра, от которого зависела его судьба, одно слово которого могло дать ему место в тысячу двести франков в год (да, да, тысячу двести франков — предел его мечтаний, тогда они с матерью могли бы зажить счастливо!), секретарь министра даже не знал его в лицо! Г-ну де Люпо было едва ли известно, что на свете существует некий Себастьен де ла Рош. Но если сын де ла Биллардиера, сверхштатный богач из канцелярии Бодуайе, также оказывался на крыльце, де Люпо неизменно здоровался с ним дружеским кивком. Ведь г-н Бенжамен де ла Биллардиер был родственником самого министра.

В данную минуту Рабурден разносил бедняжку Себастьена, единственное существо, бывшее в курсе его огромного труда. Дело в том, что молодой человек без конца переписывал знаменитый проект — объемом в сто пятьдесят листов бумаги большого формата Тельер, помимо множества таблиц, всевозможных резюме и расчетов, с дополнительными разъяснениями на обычной бумаге, заголовками, написанными с наклоном вправо, и подзаголовками, выведенными почерком рондо. Двадцатилетний юноша был в таком восторге от своего, хотя бы и механического, участия в столь гениальном исследовании, что мог переписывать целую таблицу из-за одной помарки и тщательно выводил каждую букву, служившую составной частью этого великого плана. И вот Себастьен, желая поскорее закончить переписку, имел неосторожность взять с собой в канцелярию черновик той части проекта, которую опасней всего было разглашать. Это был полный перечень штатных чиновников всех центральных министерских управлений, находящихся в Париже, с данными о финансовом положении чиновников в настоящем и будущем, об их заработках и других доходах помимо службы.

В Париже, чтобы свести концы с концами, каждый чиновник, не наделенный, подобно Рабурдену, патриотическим честолюбием или особыми дарованиями, добавляет к своему жалованью еще какой-либо доход. Иные, как г-н Сайяр, делаются пайщиками торговой фирмы и по вечерам ведут книги своего компаньона. Иные женятся на белошвейках, на хозяйках табачных лавок, управительницах лотерейных бюро или библиотек. Иные, как муж г-жи Кольвиль, соперницы Селестины, играют в театральном оркестре, иные, подобно дю Брюэлю, мастерят водевили, комические оперы, мелодрамы или занимаются постановкой спектаклей. Как пример можно привести г-на Севрена[[40]](#footnote-40), Пиксерекура[[41]](#footnote-41), Планара[[42]](#footnote-42) и т. д. В свое время Пиго-Лебрен[[43]](#footnote-43), Пиис[[44]](#footnote-44), Дювике[[45]](#footnote-45) также состояли на службе. Первый издатель Скриба был чиновником казначейства.

Помимо, этих сведений, Рабурден в своем докладе подвергал подробному рассмотрению духовные способности и физические данные, по которым можно распознать людей, обладающих живым умом, усердием и здоровьем — тремя качествами, необходимыми для тех, на кого должно быть возложено бремя государственных дел и кому надлежит все делать хорошо и быстро.

Однако достойный труд Рабурдена — плод десятилетнего опыта и плод продолжительного изучения людей и дел, возможного благодаря его связям с главными руководителями различных министерств, — этот достойный труд мог легко навести того, кто не понял бы истинных целей автора, на мысль о шпионстве и сыске. Попадись кому-нибудь на глаза хоть одна страница — и Рабурдену грозила бы гибель.

В Себастьене, преклонявшемся перед своим начальником и еще не знавшем, на какие низости способна бюрократия, очарование наивности сочеталось со всеми ее недостатками. Хотя начальник уже побранил его за то, что он унес с собой работу, юноша имел мужество признаться полностью в своей вине: он оставил черновик и копию в канцелярии, в папке, и хотя их-то никто не мог найти, все же он чувствовал серьезность своего проступка, и по его щекам скатилось несколько слезинок.

— Бросьте, сударь, — ласково сказал Рабурден, — будьте впредь осторожнее, а горевать незачем. Отправляйтесь завтра пораньше в канцелярию, вот вам ключ от одного из ящиков моего стола, у этого ящика замок с секретом, вы отопрете его, составив слово «небо», и спрячьте туда черновик и копию.

Этот знак доверия ободрил милого юношу, его слезы высохли; начальник предложил ему выпить чашку чаю с пирожным.

— Мама запрещает мне пить чай, ведь я слабогрудый.

— Ну что ж, дитя мое, — заявила великолепная г-жа Рабурден, желавшая показать пред всеми, как она добра, — вот сэндвичи и сливки, сядьте здесь, рядом со мною.

Она усадила Себастьена за стол, и сердце мальчика отчаянно забилось, когда платье этой богини коснулось его фрака. В эту минуту прекрасная г-жа Рабурден увидела де Люпо, улыбнулась ему и, не дожидаясь, чтобы он подошел к ней, сама устремилась к нему навстречу.

— Что это вы тут стоите, как будто дуетесь на меня? — спросила она.

— Я не дуюсь, — отозвался он, — но я привез вам приятную новость и вместе с тем не могу отделаться от мысли, что вы будете ко мне теперь еще суровее. Я уже предвижу, что через полгода стану для вас почти чужим. Да, вы слишком умны, а я слишком опытен... или, если хотите, испорчен, чтобы нам удалось обмануть друг друга. Вы своей цели достигли, стоило вам это всего нескольких улыбок и ласковых слов...

— Обмануть друг друга? Что вы хотите сказать? — воскликнула она, прикинувшись обиженной.

— Ну да, ведь господину де ла Биллардиеру сегодня вечером еще хуже, чем вчера; и, судя по тому, что мне сказал министр, ваш муж будет назначен начальником отделения.

Он описал ей, как он выразился, «сцену у министра», рассказал о ревности графини, о том, как она отнеслась к его предложению пригласить супругов Рабурденов.

— Господин де Люпо, — с достоинством ответила г-жа Рабурден, — позвольте мне заметить вам, что мой муж дольше всех служит правителем канцелярии и он среди чиновников самый способный, что старик де ла Биллардиер был назначен через голову мужа и это вызвало всеобщее негодование, что, наконец, господин Рабурден уже целый год замещает начальника отделения и у нас нет ни конкурента, ни соперника.

— Это верно.

— Ну вот, — сказала она, улыбаясь и показывая свои восхитительные зубки. — Так неужели мою дружбу к вам можно осквернить хоть какой-нибудь мыслью о корысти? Разве вы считаете меня способной на это?

Де Люпо сделал жест, выражающий восхищение и отрицание.

— Ах, — продолжала она, — сердце женщины останется тайной для самых проницательных мужчин! Да, мне доставляло огромное удовольствие видеть вас здесь, и это удовольствие не было вполне бескорыстным.

— Ну, видите!

— Перед вами открыто безграничное светлое будущее, — зашептала она ему на ухо, — вы станете депутатом, потом министром! — (Что за наслаждение для честолюбца, когда ему щекочут слух подобные слова, произносимые милым голосом милой женщины!) — О, я знаю вас лучше, чем вы сами, и Рабурден окажется вам чрезвычайно полезным: когда вы станете депутатом, он будет за вас работать. Как вы мечтаете быть министром, так я хочу, чтобы Рабурден получил место в государственном совете и пост начальника главного управления. И вот я решила соединить двух людей, которые никогда не будут вредить друг другу, но могут весьма друг другу содействовать. Разве не в этом роль женщины? Став друзьями, вы оба зашагаете быстрее вперед, а вам уже настало время выдвинуться! Ну вот, я сожгла свои корабли! — добавила она, улыбнувшись. — Видите, я с вами откровеннее, чем вы со мной.

— Вы не хотите меня выслушать, — продолжал он печально, несмотря на то, что втайне был очень польщен словами г-жи Рабурден. — Зачем мне все эти будущие посты, если вы меня отстранили от себя?

— Прежде чем выслушать вас, — отозвалась она с присущей ей чисто парижской живостью, — я должна быть уверена, что мы поймем друг друга.

И, отойдя от старого фата, она направилась к г-же де Шессель, провинциальной графине, которая всем своим видом показывала, что собирается уезжать.

«Необыкновенная женщина! — подумал де Люпо. — Я с ней просто не узнаю себя!»

И в самом деле, этот развратник, который еще шесть лет тому назад содержал хористку, который, пользуясь своим положением, устраивал себе целый гарем из хорошеньких жен своих подчиненных и привык вращаться в обществе журналистов и актрис, в течение всего вечера был обаятельно мил с Селестиной и уехал последним.

«Ну, наконец-то место за нами! — говорила себе Селестина раздеваясь. — Двенадцать тысяч франков в год, да наградные, да доходы с нашей фермы в Граже, все это составит тысяч двадцать пять. Конечно, это еще не богатство, но уже и не бедность».

Селестина заснула, размышляя о своих долгах и высчитывая, что если выплачивать в год по шесть тысяч франков, то в три года можно все покрыть. Ей и в голову не могло прийти, что какая-то вульгарная мещаночка, крикливая и жадная, понятия не имевшая о том, что такое салон, ханжа, не видевшая ничего, кроме предместья Марэ, без покровителей и связей, готовится выхватить у нее из-под носа это вожделенное место, на котором г-жа Рабурден уже видела своего мужа. Да и знай она, что ее соперница — г-жа Бодуайе, она просто пренебрегла бы ею, ибо даже не подозревала, какую силу имеет ничтожество, как могущественна личинка короеда, способная разрушить высокий вяз, постепенно вгрызаясь в его ствол.

Если можно было пользоваться в литературе микроскопом какого-нибудь Левенгука, Мальпиги[[46]](#footnote-46) или Распайля[[47]](#footnote-47), как это пытался сделать берлинец Гофман[[48]](#footnote-48), если можно было рассматривать в увеличенном виде и тех жучков-древоточцев, из-за которых Голландия некогда очутилась на волосок от гибели, ибо они подтачивали ее плотины, то почему бы не показать и весьма с ними сходные фигуры таких господ, как Жигонне, Митраль, Бодуайе, Сайяр, Годрон, Фалейкс, Трансон, Годар и компания, — почему бы не показать и этих жучков-древоточцев, имевших, как-никак, великую силу в тридцатом году нашего века. Пора, наконец, нам описать и тех жучков, которыми кишмя кишели канцелярии, где зарождались главные сцены данного повествования.

В Париже почти все канцелярии похожи одна на другую. В какое бы министерство вы ни вошли, чтобы ходатайствовать о снятии пустячной вины или о предоставлении ничтожной льготы, вас всюду встретят одни и те же сумрачные коридоры, едва освещенные переходы и двери с непонятными надписями, подобные дверям театральных лож, с овальным, похожим на глаз, окошечком, через которое можно увидеть невообразимые сцены, достойные Калло[[49]](#footnote-49). И когда вы, наконец, отыщете нужную вам канцелярию, вы очутитесь сначала в первой комнате, где сидит канцелярский служитель, затем во второй, где обретаются писцы, чиновничья мелкота; справа или слева будет расположен кабинет помощника правителя канцелярии; и, наконец, еще дальше или выше — кабинет самого правителя. Что же касается высочайшей персоны, именовавшейся во времена Империи начальником отделения, при Реставрации — подчас директором, а ныне — вновь начальником отделения, то он обитает выше или ниже своих двух-трех канцелярий, а иногда — за кабинетом одного из своих правителей. Обычно его апартаменты чрезвычайно поместительны, что является особым преимуществом при сравнении с теми своеобразными ячейками, из которых почти всегда состоит улей, именуемый министерством или главным управлением, если хоть одно такое управление еще сохранилось. В настоящее время эти управления, существовавшие когда-то обособленно, вошли в состав министерств. При этом слиянии их директора утратили весь свой былой блеск — у них уже не стало ни особняков, ни многочисленной челяди, ни салонов, ни собственного маленького двора. Кто узнал бы ныне в человеке, бредущем пешком в казначейство и взбирающемся там на третий этаж, бывшего директора лесного управления или управления косвенных налогов, некогда занимавшего роскошный особняк на улице Сент-Авуа или Сент-Огюстен, советника, нередко даже члена государственного совета и пэра Франции? (Господа Пакье и Моле[[50]](#footnote-50), как и многие другие, удовлетворились в свое время местами директоров управления, после того как были министрами, и руководствовались, таким образом, на практике остроумным замечанием герцога д'Антена в беседе с Людовиком XIV: «Ваше величество, когда Иисус Христос умирал в пятницу, он отлично знал, что снова появится в воскресенье».) Если бы такой директор был вознагражден за утрату роскоши бóльшей широтою власти, с этим еще можно было бы примириться, но в наши дни ему едва удается добиться места докладчика государственного совета с годовым окладом в какие-нибудь двадцать тысяч в год, а как символ былой власти ему оставили судебного пристава в коротких панталонах, шелковых чулках и французском платье, если только и приставов сейчас не отменили.

В состав канцелярии входят: канцелярский служитель, несколько сверхштатных чиновников-писцов, которые из года в год бесплатно корпят над бумагами, экспедиторы, письмоводители, старшие чиновники или делопроизводители, правитель канцелярии и его помощник. Отделение обычно объединяет две-три канцелярии, а иногда и больше. Названия должностей старших чиновников меняются в зависимости от нужд самой канцелярии: одного из старших чиновников может заменять контролер, счетовод и т. п.

Пол в комнате, где сидит канцелярский служитель, так же как и в коридоре, выложен плитками, а стены оклеены убогими обоями; в ней есть печка, большой черный стол с чернильницей и перьями, иногда небольшой бак с водой и скамьи, на которых часами сидят просители, опустив ноги на холодный пол; лишь у канцелярского служителя, восседающего в удобном кресле, ноги покоятся на соломенном коврике! Комната, где помещаются чиновники, обычно довольно просторна и более или менее светла, но и в ней пол редко бывает паркетный. Паркет и камин — это исключительное достояние одних лишь правителей канцелярий и начальников отделений, так же как и шкафы, конторки и столы красного дерева, кресла, обитые красным или зеленым сафьяном, диваны, шелковые занавески и другие предметы административной роскоши. В комнате чиновников стоит печка, труба которой по большей части бывает выведена в заделанный камин, если он имеется. Обои — гладкие, без рисунка, зеленые или коричневые. Простые столы выкрашены черной краской. Изобретательность чиновников видна в том, как они умеют устроиться. Зябкий ставит себе под ноги нечто вроде деревянного пюпитра, у сангвиника — всего лишь плетеная скамеечка; флегматик, опасающийся сквозняков, открытых дверей и всего, что вызывает изменения температуры, загораживается ширмочками из папок. В канцелярии обычно есть шкаф, где чиновники хранят рабочую одежду, холщовые нарукавники, козырьки для глаз, картузы, греческие ермолки и другие принадлежности своего ремесла. На камине почти всегда стоят графины с водой и стаканы, валяются объедки завтрака. Если помещение темное, в нем горят лампы. Дверь в кабинет помощника обычно стоит открытой, чтобы ему удобно было неусыпно наблюдать за своими подчиненными, не позволяя им слишком много разглагольствовать, а порой самому беспрепятственно при особо знаменательных обстоятельствах войти к ним поговорить.

Человек наблюдательный может судить о важности учреждения по тому, как обставлена канцелярия. Так, занавески бывают белые, цветные, из бумажной ткани или шелковые; стулья — вишневого или красного дерева, с соломенными, сафьяновыми или матерчатыми сиденьями; обои большей или меньшей свежести. Но какому бы учреждению вся эта казенная мебель ни принадлежала, едва она оказывается вне стен того или иного министерства — что за странное зрелище являют собой все эти предметы, перевидавшие столько хозяев и правительств, бывшие свидетелями стольких катастроф! Поэтому из всех переездов нет более фантастически нелепых, чем переезды канцелярий. Никогда Гофман, этот певец невозможного, не измышлял зрелища более причудливого! Трудно вообразить, что только не громоздится тогда на подводах! Из недр зияющих папок клубами вылетает пыль и влечется за ними следом вдоль улиц. Задрав кверху четыре ноги, лежат столы; изъеденные молью кресла и всякие невероятные предметы, с помощью которых во Франции вершит свои дела административная власть, строят ужасающие рожи. Все это напоминает не то театральный реквизит, не то трапеции уличного гимнаста. Как на древних обелисках, мы открываем здесь следы человеческого интеллекта и полустертые надписи, волнующие наше воображение, подобно всему, что мы хоть и видим, но не в силах понять. И, наконец, эти вещи так ветхи, так потерты, так засалены, что самая грязная кухонная посуда приятнее для глаз, чем утварь административной кухни.

Может быть, достаточно описать отделение, которым управлял г-н де ла Биллардиер, чтобы иноземцы, а также люди, живущие в провинции, получили верное представление о жизни и нравах канцелярий вообще, ибо эти основные черты, вероятно, присущи всем административным учреждениям Европы.

Прежде всего попытайтесь нарисовать себе человека, о котором в календаре сказано следующее:

*Начальник отделения.*

«Господин барон Фламе де ла Биллардиер (Атаназ-Жан-Франсуа-Мишель), некогда старший прево в департаменте Коррезы, несменяемый камер-юнкер, докладчик государственного совета по чрезвычайным делам, председатель Большой избирательной коллегии департамента Дордони, награжденный офицерским крестом ордена Почетного легиона, кавалер ордена св. Людовика и иностранных орденов — Христа, Изабеллы, св. Владимира и проч.; член Жерской академии и многих других ученых обществ, вице-президент общества «Благие письмена», член общества св. Иосифа и Тюремного попечительства, один из мэров города Парижа и проч. и проч.».

Этот персонаж, потребовавший для своего описания столько места и типографской краски, занимал в данную минуту весьма небольшое пространство всего в пять футов шесть дюймов длиной и дюйма три шириной — он лежал на кровати, в стеганом колпаке, стянутом огненно-красными лентами, а подле него находились: знаменитый хирург лейб-медик Деплен, молодой врач Бьяншон и, в виде подкрепления, еще две старухи родственницы. Всюду были наставлены пузырьки и склянки с лекарствами, разбросано белье, инструменты и прочие предметы, сопутствующие смерти, которую подстерегал кюре от св. Роха, убеждавший больного подумать о спасении своей души. Сын де ла Биллардиера Бенжамен каждое утро спрашивал обоих врачей:

— Как вы полагаете, я буду иметь счастье сохранить отца?

В это утро наследник несколько изменил вопрос и слова «счастье сохранить» заменил словами «несчастье потерять»...

Надо сказать, что отделение де ла Биллардиера находилось в великолепном особняке посреди министерского океана, на долготе в семьдесят одну ступеньку и на той же широте, что и мансарды, к северо-востоку от двора, в глубине которого некогда были конюшни, а теперь помещалось отделение Клержо. Между канцеляриями имелась площадка, а двери комнат с табличками выходили в широкий коридор с неоткрывающимися оконцами. Кабинеты и прихожие отделений Рабурдена и Бодуайе были внизу, на третьем этаже. За кабинетом Рабурдена следовала прихожая, приемная и два кабинета де ла Биллардиера. Второй этаж, разделенный надвое антресолями, занимала квартира и канцелярия г-на Эрнеста де ла Бриера — личности загадочной и могущественной, которой мы посвятим несколько слов, ибо подобное отступление необходимо. Все время, пока существовало министерство, этот человек состоял бессменным личным секретарем министра. Потайная дверь вела из его квартиры к министру, в рабочий кабинет, помимо которого в министерских апартаментах имелся еще другой кабинет, для приемов, чтобы его превосходительство мог работать без свидетелей со своим секретарем или же совещаться с сильными мира сего без секретаря. Личный секретарь для министра — то же, чем был де Люпо для всего министерства. И молодого ла Бриера отделяло от де Люпо такое же расстояние, какое отделяет адъютанта от начальника штаба. Юноша, обучающийся искусству быть министром, и исчезает из поля зрения и появляется снова одновременно со своим покровителем. Если министр теряет свой пост, но сохраняет милость короля и упования на парламент, он уводит с собою и своего секретаря, чтобы затем вернуться вместе с ним; если же он теряет все, то отправляет его пастись на какое-нибудь административное пастбище, хотя бы в счетную палату, этот постоялый двор, где секретари обычно пережидают грозу. Секретаря нельзя назвать государственным деятелем, но он деятель политический, а иногда он — вся политика деятеля. Если представить себе те бесчисленные письма, которые он обязан вскрывать и прочитывать, уже не говоря о прочих делах, то разве не становится ясным, что в монархическом государстве его полезная деятельность должна весьма дорого оплачиваться? Жертва подобного рода стóит в Париже от десяти до двадцати тысяч франков в год; кроме того, молодой человек пользуется министерскими ложами, экипажами и пригласительными билетами. Русский император был бы очень рад иметь за пятьдесят тысяч франков ежегодно одного из этих дрессированных конституционных пудельков; они такие кроткие, такие кудрявые, такие ласковые и послушные; они так безупречно выдрессированы, так бдительны и... верны! Но личного секретаря можно найти, выходить, вырастить только в теплицах конституционных правительств. При неограниченной монархии существуют лишь придворные и холопы, тогда как при конституции вам прислуживают и льстят, вас ласкают люди свободные. Таким образом, во Франции министры счастливее, чем женщины и короли: у них есть человек, который их понимает. Может быть, надо пожалеть личных секретарей, ибо, как женщины и чистая бумага, они все терпят, и, подобно целомудренной женщине, они смеют обнаруживать скрытые в них возможности только втайне, только перед своим повелителем. Если они сделают это открыто — они погибли. Итак, личный секретарь — это друг, дарованный министру правительством. Однако вернемся к канцеляриям.

В отделении ла Биллардиера мирно уживались три канцелярских служителя: один числился при обеих канцеляриях, другой — при обоих правителях и третий — при самом начальнике; они получали квартиру, отопление и обмундирование от казны и носили всем известную ливрею: синюю с красными кантами в будни, а в торжественные дни — с широкими сине-бело-красными нашивками. Служитель же ла Биллардиера был одет в мундир судебного пристава. Желая потешить самолюбие родственника министра, де Люпо смотрел сквозь пальцы на эту вольность, которая к тому же придавала и самой канцелярии более аристократический тон. Являясь истинными столпами министерства и знатоками бюрократических нравов и обычаев, служители эти, при казенном обмундировании, дровах и квартире не ведавшие никаких нужд, богатые благодаря отсутствию потребностей, знали всю подноготную чиновников, ибо единственным доступным для них развлечением было наблюдать за ними, изучать их привычки и пристрастия; поэтому им было отлично известно, кому из чиновников можно дать денег в долг — и в пределах какой суммы. Впрочем, служители исполняли поручения с полнейшим соблюдением тайны: относили вещи в ломбард, брали их из заклада, покупали закладные квитанции, ссужали деньги без процентов; однако чиновники никогда не занимали у них даже ничтожной суммы без соответствующей мзды, а так как это были займы очень незначительные, то получалось нечто вроде «краткосрочного помещения денег». Эти слуги без господ получали девятьсот франков в год, что составляло с наградными и подарками около тысячи двухсот франков, да еще выручали примерно столько же с чиновников, держа стол для тех, кто завтракал на службе. В некоторых министерствах завтраки готовил швейцар. Место швейцара при министерстве финансов некогда давало толстяку Тюилье, сын которого служил в канцелярии ла Биллардиера, до четырех тысяч франков. Иногда просители, добиваясь, чтобы их поскорее приняли, совали в руку служителя монету в сто су, которая принималась с редкостным хладнокровием. Те, кто поступил уже давно, надевали казенную ливрею только в министерстве, а выходя в город, сменяли ее на обычное платье.

Самый богатый из трех канцелярских служителей всячески эксплуатировал чиновников. Шестидесяти лет от роду, коренастый, дородный, седые волосы ежиком, апоплексическая шея, грубое, прыщеватое лицо, серые глаза, рот, как печь, — таков был Антуан, старейший служитель министерства.

Антуан выписал из Эшеля в Савойе двух племянников — Лорана и Габриэля — и устроил обоих служителями, одного при правителях канцелярии, другого при начальнике отделения. Неладно скроенные, да крепко сшитые, как и дядюшка, племянники были уже в возрасте тридцати — сорока лет. С виду они походили на комиссионеров и по вечерам работали в одном из королевских театров, где проверяли контрамарки, — должность, полученная ими по протекции де ла Биллардиера. Оба савойца были женаты, и их жены занимались чисткой кружев, а также штопкой кашемировых шалей и слыли в этом деле большими мастерицами. Дядя-холостяк поселился вместе с племянниками и их семьями и жил лучше, чем иной делопроизводитель. Лоран и Габриэль не прослужили еще и десяти лет, а потому не испытывали презрения к казенной ливрее и выходили в ней на улицу, гордые, как бывают горды драматурги, когда их пьесы делают полные сборы. Дядюшка, которому они служили с неистовой преданностью и которого почитали за человека чрезвычайно тонкого и проницательного, постепенно посвящал их в тайны ремесла. В восьмом часу утра все трое приходили отпирать канцелярии, производили уборку, прочитывали газеты или, как заядлые политики, обсуждали дела своего отделения со служителями других канцелярий и обменивались новостями.

Подобно современным слугам, которые знают до тонкости жизнь и обстоятельства своих господ, они чувствовали себя в своем министерстве, как пауки посреди паутины, и ощущали в нем малейшие колебания.

В четверг утром, на другой день после приема у министра и вечера у Рабурдена, в ту минуту, когда дядюшка при помощи обоих племянников брил себе бороду в прихожей отделения на третьем этаже, неожиданно явился один из чиновников.

— Пришел господин Дюток! — сказал Антуан. — Я узнаю его шаги, он крадется, как вор; этот человек точно на коньках скользит! Вдруг окажется у тебя за спиной, словно из-под земли вырос. Вчера он последним ушел из канцелярии отделения, а этого с ним не бывало и трех раз за все время, что он у нас служит!

Дютоку минуло тридцать восемь лет; у него было длинное желчное лицо, седые, всегда коротко остриженные, курчавые волосы; низкий лоб с густыми сросшимися бровями, поджатые губы, кривой нос, бледно-зеленые глаза, упорно избегающие взгляда ближних, высокий рост; одно плечо несколько выше другого; он носил коричневый фрак, черный жилет, фуляровый шейный платок, желтоватые панталоны, черные шерстяные чулки и башмаки с растрепанными бантами. Вот каков был г-н Дюток, делопроизводитель канцелярии Рабурдена. Бездарный и ленивый, он ненавидел своего начальника, что было вполне естественно: Рабурден не обладал никакими пороками, на которых Дюток мог бы играть, никакой низкой чертой, угождая которой Дюток мог бы втереться к нему в доверие. Рабурден был слишком благороден, чтобы вредить своему подчиненному, и вместе с тем слишком проницателен, чтобы на его счет обманываться. Поэтому делопроизводитель держался только благодаря великодушию своего начальника и не мог надеяться ни на какие служебные успехи, пока отделением управлял этот человек. Дюток и сам чувствовал, что более ответственная должность ему не по плечу, но он слишком хорошо изучил нравы канцелярий и знал, что неспособность отнюдь не является препятствием для блестящей карьеры; получи он более высокую должность — ему пришлось бы только найти себе среди всех этих письмоводителей второго Рабурдена, как сделал ла Биллардиер, который был явно неспособен, прямо-таки бездарен. Злоба в сочетании со своекорыстием стóит порой большого ума; будучи и очень злым и очень корыстным, Дюток постарался упрочить свое положение, сделавшись постоянным сыщиком при канцелярии.

С 1816 года он напустил на себя чрезвычайное благочестие, ибо почуял, какими милостями будут вскоре осыпаны люди, которых в те времена глупцы туманно называли иезуитами. Дюток принадлежал к Конгрегации[[51]](#footnote-51), хотя и не был посвящен во все ее тайны; он бродил по канцеляриям, позволял себе вольные шутки, чтобы испытывать людей и затем составлять донесения для де Люпо, которого держал в курсе мельчайших событий. А тот частенько поражал министра тонким знанием личной жизни каждого чиновника. Будучи, в подлинном смысле слова, сводником, и притом политическим сводником, каким был и де Люпо, он домогался чести выполнять тайные поручения секретаря министра; а де Люпо терпел эту гнусную личность в надежде, что негодяй может еще пригодиться — хотя бы на то, чтобы с помощью постыдного брака покрыть грех или самого де Люпо, или какой-нибудь важной особы. Они отлично понимали друг друга. Дюток и сам надеялся на любовную победу такого сорта и потому оставался холостым.

Делопроизводитель занял место г-на Пуаре-старшего, который, выйдя в отставку в 1814 году, поселился на покое в меблированных комнатах с пансионом как раз в то время, когда в канцеляриях были проведены большие реформы. Дюток проживал на улице Сен-Луи-Сент-Оноре, близ Пале-Руаяля, на шестом этаже доходного дома. Его страстью было коллекционирование старинных гравюр, и он жаждал иметь всего Рембрандта, всего Шарле, Сильвестра, Одрана, Калло, Альбрехта Дюрера и других. Подобно большинству людей, которые собирают коллекции или сами ведут свое хозяйство, он воображал, что умеет все купить очень дешево. Столовался он на улице Бон, вечера проводил в Пале-Руаяле, а иногда в театре благодаря дю Брюэлю, который давал ему свой авторский билет.

Несколько слов о дю Брюэле. Хотя все за него делал Себастьен, который, как вы знаете, получал от него скудное вознаграждение, дю Брюэль все же являлся на службу, но только чтобы самому почувствовать себя помощником правителя канцелярии, дать это почувствовать другим и получить жалованье. Он писал рецензии о маленьких театрах в правительственной газете, печатал также статьи по заказам министра — словом, занимал положение известное, определенное и неуязвимое. Однако дю Брюэль не пренебрегал ни одной из тех маленьких дипломатических хитростей, которыми можно снискать всеобщее расположение. Он добывал г-же Рабурден ложу на все премьеры, заезжал за ней в карете и отвозил домой — внимание, которое она очень ценила. И Рабурден, крайне снисходительный и нетребовательный к подчиненным, разрешал ему бывать на репетициях, являться на службу, когда он хотел, и заниматься своими водевилями. Герцогу де Шолье было известно, что дю Брюэль пишет роман, который намерен посвятить ему. Дю Брюэль одевался, как одеваются авторы водевилей: по утрам носил панталоны со штрипками, мягкие туфли, жилет а-ля реформ, оливковый сюртук и черный галстук; а вечером облекался в изящный костюм, так как хотел прослыть джентльменом. Он квартировал — и не без оснований — в одном доме с актрисой Флориной, для которой сочинял роли. А Флорина в те времена жила у Туллии, танцовщицы, более примечательной своей красотой, чем талантом. Это соседство позволяло дю Брюэлю встречаться с герцогом де Реторе, старшим сыном герцога де Шолье, королевского фаворита. После одиннадцатой пьесы, написанной дю Брюэлем на злобу дня, герцог де Шолье выхлопотал драматургу орден Почетного легиона. Дю Брюэль, или, если хотите, Кюрси, работал сейчас над пятиактной пьесой для Французской комедии. Себастьен очень любил дю Брюэля, он иногда получал от него билеты в партер и по его указанию аплодировал с юношеской доверчивостью в тех местах, за которые автор опасался. Себастьен искренне почитал его великим драматургом. На другой день после первого представления водевиля, написанного, как водится, тремя соавторами и в некоторых местах освистанного, дю Брюэль заявил Себастьену:

— Публика сразу узнала места, которые сочиняли те двое!

— А почему вы не пишете один? — простодушно спросил Себастьен.

Существовали весьма веские причины для того, чтобы дю Брюэль не работал один. Ведь он являлся только третьей частью автора. Дело в том, что драматург, как, вероятно, известно немногим, состоит из: «человека с идеями», который должен сочинять сюжет и строить, так сказать, костяк водевиля или сценарий; затем «труженика», обрабатывающего этот сценарий; и «человека-памяти», который должен перекладывать куплеты на музыку, аранжировать хоровые партии и ансамбли, подбирать и напевать мелодии. «Человек-память» заботится также о сборах, то есть наблюдает за составлением афиши и не отходит от директора, пока тот не назначит на завтра постановку одной из пьес данного товарищества. Дю Брюэль, как настоящий «работяга», читал в канцелярии новые книги и выписывал оттуда остроумные словечки, чтобы вставить их в диалоги. Соавторы Кюрси (псевдоним дю Брюэля) ценили его, зная, что он не подведет. «Человек с идеями» был уверен, что будет понят им и может сидеть сложа руки. Чиновники отделения любили водевилиста и ходили скопом смотреть его пьесы, чтобы оказать ему поддержку, ибо он вполне заслуживал звания «доброго малого». Кошелек его всегда был открыт, он охотно угощал товарищей пуншем и мороженым и давал взаймы до пятидесяти франков, никогда не требуя их обратно. Он жил экономно, умел выгодно поместить свои деньги; помимо загородного домика в Ольнэ и четырех с половиной тысяч жалованья, он располагал пенсией в тысячу двести франков и восьмьюстами франками из ста тысяч экю, выдаваемых по решению палаты в виде поощрения искусствам.

Прибавьте к этим разнообразным доходам девять тысяч франков, получаемых за трети, четверти и половины водевилей, написанных совместно с другими для трех театров, и вы поймете, почему он был такой толстый, круглый, жирный и напоминал всем своим обликом благополучного собственника. Что же касается нежных чувств, то, будучи тайным любовником танцовщицы Туллии, дю Брюэль воображал, как бывает обычно, что она предпочитает его своему официальному любовнику — блестящему герцогу де Реторе.

Дюток со страхом наблюдал за развитием того, что он называл связью де Люпо с г-жой Рабурден, и его глухая ненависть к Рабурдену еще возросла. Кроме того, будучи большим пронырой, он, конечно, догадался, что Рабурден, помимо своей официальной работы, поглощен еще каким-то серьезным трудом, о котором Дюток, к своей досаде, ровно ничего не знает, тогда как этот юнец Себастьен целиком или отчасти посвящен в эту тайну. Дюток постарался сойтись с Годаром, помощником Бодуайе и коллегой дю Брюэля, и преуспел в своем намерении; подружиться с Годаром помогло ему преклонение перед Бодуайе, которое он всячески подчеркивал; едва ли оно было искренним, но, восхваляя Бодуайе, он многозначительно умалчивал о Рабурдене — так утоляют свою ненависть мелкие душонки.

Жозеф Годар приходился Митралю родственником по материнской линии и на основании этого, хотя и довольно отдаленного, родства с семейством Бодуайе стал домогаться руки мадемуазель Бодуайе; совершенно ясно, что в его глазах Бодуайе был прямо гением. Он также питал глубочайшее уважение к Елизавете и г-же Сайяр, еще не замечая, что г-жа Бодуайе готовит для своей дочери Фалейкса. Время от времени Годар подносил мадемуазель Бодуайе маленькие подарки — искусственные цветы, конфеты на новый год, красивые бонбоньерки в день ее рождения. Это был двадцатишестилетний молодой человек, работящий, но ограниченный, чинный, как барышня, бесцветный и вялый; он испытывал какой-то ужас перед сигарами, кофейнями и верховой ездой, ложился ровно в десять, вставал в семь и был не лишен приятных для общества талантов — он умел играть контрдансы на флажолете, чем заслужил особое благоволение Сайяров и Бодуайе; в национальной гвардии он стал флейтистом, чтобы не проводить ночей в кордегардии, и с особым усердием занимался естественной историей. Годар собирал коллекции минералов и раковин, кроме того, набивал чучела птиц, и его комната служила складом для всяких курьезов, купленных по дешевке; там были камни с пейзажами, модели дворцов, вырезанные из коры пробкового дуба, окаменелости из ключа Сент-Аллир в Клермоне (Овернь) и т. п. Он собирал флаконы от духов, чтобы хранить в них образцы барита, сульфатов, солей, магнезии, кораллов и пр.; по стенам висели в рамках картоны с наколотыми бабочками, китайские зонтики и высушенные рыбьи кожи. Жил он у сестры, цветочницы, на улице Ришелье. Хотя маменьки, имевшие дочек на выданье, и восхищались этим молодым человеком, работницы его сестры презирали примерного юношу, особенно продавщица, которая долго питала надежду его окрутить.

Жозеф Годар был среднего роста, худой и щуплый, с реденькой бородкой и обведенными тенью глазами; по словам Бисиу, при виде его мухи мерли от скуки; он мало заботился о своей внешности, платье плохо сидело на нем, широкие панталоны висели мешком, он носил круглый год белые чулки, башмаки на шнурках и шляпу с узкими полями. В канцелярии Годар сидел в бамбуковом кресле с прорезным сиденьем, подложив под себя зеленый сафьяновый круг, — он жаловался на плохое пищеварение.

У молодого человека была страсть к летним воскресным поездкам в Монморанси, к пикникам и обедам на траве, а также к молочным кушаньям на бульваре Монпарнас. За последние полгода Дюток нет-нет да и захаживал к мадемуазель Годар, надеясь обладить в этом доме какое-нибудь дельце, найти там какой-нибудь клад в образе женщины.

Итак, среди чиновников Бодуайе имел в лице Дютока и Годара двух ярых сторонников. Г-н Сайяр, неспособный понять, что такое Дюток, иногда навещал его в канцелярии. Молодой ла Биллардиер, назначенный сверхштатным чиновником к Бодуайе, также принадлежал к их партии. Люди умные очень смеялись этому союзу трех бездарностей. Бисиу прозвал Бодуайе, Годара и Дютока «препустой троицей», а молодого ла Биллардиера — «пасхальным барашком».

— Раненько вы нынче поднялись, — посмеиваясь, сказал Антуан Дютоку.

— А кстати, Антуан, — отозвался Дюток, — вы замечаете, что газеты иногда приходят гораздо раньше, чем вы их нам разносите?

— Да, вот хотя бы сегодня, — ничуть не смущаясь согласился Антуан. — Они, впрочем, каждый день приходят в разное время.

Восхищенные находчивостью дяди, племянники украдкой переглянулись, как будто хотели сказать: «Ну и ловок!»

— Хотя я получаю с каждого его завтрака два су, — пробурчал Антуан, слыша, что Дюток затворил за собою дверь, — но я бы даже от них отказался, только бы он убрался из нашего отделения.

— Ну, сегодня вы не первый, господин Себастьен! — говорил Антуан молодому человеку спустя четверть часа.

— А кто же пришел? — спросил, бледнея, бедный юноша.

— Господин Дюток, — отвечал Лоран.

Целомудренные натуры наделены больше, чем другие люди, необъяснимым даром ясновидения — причина этого, быть может, в нетронутости и цельности их нервной системы. Поэтому Себастьен угадал, что Рабурдена, перед которым он благоговел, Дюток ненавидит. И не успел Лоран произнести это имя, как юноша, охваченный ужасным предчувствием, воскликнул: — Я так и знал! — и стрелой вылетел в коридор.

— Ну, пойдет теперь катавасия у нас в канцеляриях, — проговорил Антуан, качая головой и облачаясь в свою ливрею. — Видно, господин барон действительно скоро преставится... Да, госпожа Грюже, его сиделка, говорила, что он, пожалуй, до вечера не дотянет. Вот засуетятся! Эй, вы, — обратился он к племянникам, — пойдите-ка поглядите, хорошо ли шумит огонь у вас в печах! Черт побери, сейчас все нагрянут!

— А верно, — сказал Лоран, — бедняжка Себастьен совсем голову потерял, когда услышал, что этот иезуит Дюток раньше его пришел!

— Я уж говорил ему, говорил... ведь не скрывать же правды от хорошего чиновника, а хорошим я называю такого, как этот мальчуган, который регулярно дает мне на новый год десять франков, — продолжал Антуан. — Вот я и говорю ему: «Чем больше вы будете стараться, тем больше с вас спросят и все-таки затрут!» Так нет! И слушать не хочет, торчит здесь до пяти часов — на час дольше, чем все. *(Пожимая плечами.)* Очень глупо! Так не делают карьеры!.. И вот видите, никто даже не подумает о том, что пора бы платить жалованье бедному малому, а из него вышел бы чиновник хоть куда. И это после двух-то лет! Просто смотреть больно, честное слово!

— Господин Рабурден любит господина Себастьена, — заметил Лоран.

— Да ведь господин Рабурден пока что не министр. И будет, когда рак свистнет, уж очень он... Ну, довольно! Как вспомню, что приходится таскать жалованье этим шутам гороховым, которые посиживают себе дома и делают, что им нравится, а этот маленький ла Рош тут надрывается, так и спрашиваю себя: неужели бог совсем забыл наши канцелярии? А что получаешь от этих молодчиков, от этих любимцев господина маршала и господина герцога? Одни «спасибо» — и все. *(Снисходительно кивая головой.)* «Благодарствуйте, милый Антуан»... Эх вы, лодыри, принимайтесь-ка за работу! А то не миновать нам революции! Да, при господине Робере Ленде[[52]](#footnote-52) таких бездельников не было! Ведь я поступил в это заведение еще при Робере Ленде. Вот при нем чиновник работал! Надо было видеть, как эти чернильные души скрипели перьями до полуночи, — все печки, бывало, уже поостынут, а они даже и не чуют; ну да ведь и гильотина тогда работала; а это не шутка, это покрепче, чем какой-то выговор, который им делают теперь за опоздание.

— Папаша Антуан, — сказал Габриэль, — вы нынче не прочь порассуждать, ну-ка скажите, что такое, по-вашему, чиновник?

— Это, — с важным видом отозвался Антуан, — человек, который марает бумагу, сидя в канцелярии. Впрочем, что я чепуху несу? Каково бы нам с вами было без чиновников? Поэтому идите-ка к своим печам и, смотрите, никогда не ругайте чиновников!.. Габриэль, слышишь, как печка воет в большой комнате? Чертова тяга... надо подвернуть вьюшку...

Антуан вышел на площадку лестницы, откуда было видно, как чиновники один за другим входят через ворота во двор; он знал всех министерских и давно привык различать их по одежде и походке.

Однако, прежде чем приступить к драме, следует набросать силуэты ее главных актеров из отделения ла Биллардиера; причем перед нами окажутся несколько таких разновидностей чиновничьей породы, которые оправдают не только наблюдения Рабурдена, но и название этого очерка, изображающего нравы Парижа. Смотрите, не ошибитесь: и по горестям и по странностям — чиновник чиновнику рознь, так же как дерево дереву рознь. В особенности же отличайте чиновников парижских от провинциальных. В провинции чиновнику живется хорошо; у него большая квартира, сад; в канцелярии он чувствует себя как дома; он пьет дешевое, но хорошее вино, ему не нужно есть филе из конины, ему доступна такая роскошь, как десерт. Вместо долгов — у него сбережения. Если неизвестно в точности, что он съедает за обедом, все же каждый вам скажет, что он не проедает своего жалованья. Если он холост, то, завидев его, маменьки любезно ему кивают; если он женат, то ездит с женой на балы к управляющему окладными сборами, к префекту, супрефекту, интенданту. Люди стараются выведать его характер; ему везет в любовных приключениях; он слывет человеком большого ума, при его переводе все будут жалеть о нем, весь город его знает, интересуется его женой, детьми. Он дает вечера; а если у него есть средства и его тесть — человек с деньгами, он может даже сделаться депутатом. Каждый шаг его жены известен — так умеют шпионить только в маленьких городках, — и если он несчастен в семейной жизни, то по крайней мере об этом осведомлен, тогда как в Париже чиновник может совершенно ничего не знать. Наконец, чиновник в провинции — это нечто, тогда как в Париже — он почти ничто.

Вслед за Себастьеном в присутствие пришел письмоводитель из канцелярии Рабурдена, почтенный отец семейства, некий г-н Фельон. Благодаря покровительству своего начальника он вносил только половину платы в коллеж Генриха IV, где учились его два мальчика, — льгота весьма справедливая, ибо у Фельона была еще дочь, бесплатно воспитывавшаяся в пансионе, где его жена давала уроки музыки и сам он преподавал по вечерам историю и географию. Это был человек сорока пяти лет, старший сержант одной из рот национальной гвардии, весьма сострадательный на словах, но неспособный раскошелиться ни на грош. Он проживал на улице Фобур-Сен-Жак, недалеко от приюта глухонемых, в доме с садом, причем *помещение* (если изъясняться в стиле самого Фельона) обходилось ему всего четыреста франков в год. Гордый своей должностью, довольный своей судьбой, он изо всех сил старался угодить начальству, был уверен, что приносит пользу отечеству, и хвалился своим пренебрежением к политическим спорам, считая, что власть есть власть!

Всякий раз, когда Рабурден просил его остаться еще на полчаса, чтобы закончить какую-нибудь работу, это доставляло Фельону истинное удовольствие, и он тогда говорил девицам ла Грав (ибо имел обыкновение обедать на улице Нотр-Дам-де-Шан, в пансионе, где его жена преподавала музыку): «Сударыни, дела потребовали, чтобы я задержался на службе. Когда принадлежишь правительству, то своему времени уже не хозяин». Он писал книги для пансионов молодых девиц, состоявшие из вопросов и ответов. Эти «маленькие трактаты о самом главном», как он их именовал, продавались в университетской книжной лавке под названием *«Исторического и географического катехизиса»*. Считая своим священным долгом дарить г-же Рабурден экземпляр каждого нового выпуска «Катехизиса», отпечатанный на веленевой бумаге и переплетенный в красный сафьян, он являлся к ней со своим подношением торжественный и разодетый: черные шелковые панталоны, шелковые чулки, башмаки с золотыми пряжками и т. п.

Фельон принимал вечером по четвергам, когда пансионерки укладывались спать; гостям подавалось пиво и пирожное. Затем играли в булиот, по пять су ставка. Невзирая на столь мизерную игру, в иные азартные четверги г-н Лодижуа, чиновник мэрии, ухитрялся спустить целых десять франков. Эту гостиную, оклеенную зелеными обоями с красным бордюром, украшали портреты короля, супруги брата короля и супруги дофина, а также две гравюры: «Мазепа» Opaca Берне и «Похороны бедняка» Виньерона, — картина эта, по мнению Фельона, выражала некую возвышенную идею, которая должна была утешать низшие классы общества и доказывать им, что у них есть друзья более преданные, чем люди, и что чувства этих друзей не умирают даже за гробом. В этом виден весь человек! Каждый год в день поминовения усопших он водил своих трех детей на Западное кладбище и показывал им двадцать метров земли, приобретенных в вечное пользование, где были погребены его отец и теща.

— Все мы здесь будем, — говаривал он детям, дабы приучить их к мысли о смерти.

Одним из самых больших удовольствий было для него изучать окрестности Парижа, и он даже купил себе их карту. Фельон досконально изучил Антони, Аркейль, Биевр, Фонтене-о-Роз, Онэ, столь прославившийся пребыванием нескольких знаменитых писателей, и надеялся со временем ознакомиться со всеми окрестностями к западу от Парижа. Своего старшего сына он предназначал для административной деятельности, а второго намеревался отдать в Политехническую школу. Он нередко говорил старшему: «Когда удостоишься чести служить правительству...» — но подозревал в мальчике влечение к точным наукам, которое старался подавить, решив бросить сына на произвол судьбы, если тот вздумает упорствовать. Фельон ни разу не осмелился просить Рабурдена оказать ему честь и отобедать у него, хотя счел бы этот день счастливейшим в своей жизни. Он уверял, что мог бы умереть спокойно и чувствовал бы себя счастливейшим из отцов, если бы хоть один из его сыновей пошел по стопам такого человека, как Рабурден. Он так расхвалил девицам ла Грав этого почтенного и достойного начальника, что они жаждали увидеть великого Рабурдена так же, как юноша мечтает увидеть Шатобриана. Как они были бы счастливы, говорили девицы, если бы им доверили воспитание его дочки! Когда карета министра подъезжала к министерству или отъезжала от него — сидел ли в ней кто-нибудь или не сидел, — Фельон почтительно снимал шляпу; он уверял, что все во Франции шло бы гораздо лучше, если бы каждый умел чтить власть даже в ее эмблемах. Случалось, что Рабурден вызывал его вниз, чтобы разъяснить какое-либо дело; Фельон напрягал все свои умственные способности и благоговейно внимал каждому слову своего начальника, как любитель музыки внимает какой-нибудь арии в Итальянской опере. В канцелярии он сидел безмолвно на своем месте, положив ноги на деревянную подставку, и, словно оцепенев, добросовестно изучал лежащие перед ним бумаги. Свою служебную корреспонденцию он вел в высоком, почти литургически строгом стиле, относился к каждой мелочи сугубо серьезно и подчеркивал проходившие через него распоряжения министра с помощью особо торжественных фраз. И все же этого человека, столь компетентного во всем, что касалось благопристойности, постигло несчастье на служебном поприще, и какое несчастье! Несмотря на всю тщательность, с какой он составлял бумаги, из-под его пера однажды вышла следующая фраза: «Вам надлежит явиться в известное место с необходимой бумагой». Обрадовавшись, что представляется случай посмеяться над этим невинным созданием, экспедиторы, ничего не сказав Фельону, отправились за советом к Рабурдену; а начальник, представив себе Фельона, не мог не расхохотаться и исправил его оплошность, написав на полях: «Вам надлежит явиться в означенное место с соответствующим документом». Фельон, которому показали исправленную фразу, долго ее изучал, обдумывал разницу между обоими выражениями, затем чистосердечно сознался, что ему понадобилось бы два часа, чтобы найти такой оборот, и воскликнул: — Господин Рабурден гениальный человек! — Однако он остался при убеждении, что коллеги не соблюли по отношению к нему всех форм приличия, поспешив обратиться к его начальнику; правда, он слишком уважал служебную иерархию, чтобы не признать их права на это, тем более что сам он в то время отсутствовал; но про себя Фельон решил, что он на их месте подождал бы — ведь дело не было срочным. После этого случая он несколько ночей не спал. И когда его хотели рассердить, то достаточно было, намекая на злополучную фразу, спросить его, когда он выходил из комнаты:

— А необходимая бумага при вас?

Тогда почтенный письмоводитель оборачивался, кидал на чиновников испепеляющий взгляд и ответствовал:

— Ваш вопрос совершенно неуместен, господа!

Однажды из-за этого разгорелась такая ссора, что Рабурден был вынужден вмешаться и запретил чиновникам напоминать о пресловутой фразе.

Господин Фельон был выше среднего роста, его лицо, бесцветное и рябое, напоминало своим выражением морду задумавшегося барана, губы были толстые, отвислые, глаза водянисто-голубые. Одевался он чисто и аккуратно, как и подобает преподавателю истории и географии, выступающему перед молодыми девицами; он носил отменное белье, плиссированное жабо, черный открытый казимировый жилет, из-под которого порой выглядывали помочи, вышитые руками его дочери, бриллиантовую запонку на сорочке, черный фрак и синие панталоны. Зимой он обычно надевал шинель орехового цвета с тройной пелериной и, выходя, прихватывал налитую свинцом дубинку — необходимость, вызванная опасным безлюдьем его улицы. Он бросил привычку нюхать табак и приводил это как разительный пример того, что можно научиться властвовать собой. По лестницам Фельон всходил неторопливо, опасаясь нажить астму, ибо у него была, по его выражению, слишком жирная грудь. Проходя мимо Антуана, он с достоинством кивал ему.

Сейчас же вслед за Фельоном в канцелярию пришел экспедитор Виме, являвший собой полную противоположность добродетельному Фельону. Виме, двадцатипятилетний молодой человек, получал полторы тысячи франков в год; он был хорошо сложен, статен, наружность имел изящную и романическую, волосы, глаза и брови — черные, как вороново крыло, ослепительные зубы, прелестные руки, а усы до того густые и тщательно расчесанные, что казалось, его главное занятие — это уход за ними. Виме обнаруживал необычайные способности и справлялся с работой быстрее всех.

— Этот молодой человек весьма даровит, — замечал Фельон, видя, как экспедитор, покончив с делами, сидит, закинув ногу за ногу, не зная, куда девать остаток служебного времени. — А пишет — прямо бисер! — говорил он дю Брюэлю.

На завтрак Виме съедал простую булку и выпивал стакан воды, обедал за двадцать су у Каткомба и жил в меблированных комнатах за двенадцать франков в месяц. Его счастьем, его единственной радостью было щегольское платье. Он тратил все свои деньги на ослепительные жилеты, на панталоны в обтяжку, в полуобтяжку, со складками и с вышивкой; на сапоги из тонкой кожи, ловко сидящие фраки, подчеркивающие изгиб талии, на восхитительные воротники, свежие перчатки, шляпы. Надев поверх перчатки перстень с большим щитком и вооружившись щегольской тростью, он старался всем своим видом и манерами походить на богатого юношу. Пообедав и держа двумя пальцами зубочистку, он отправлялся гулять по большой аллее Тюильри — ни дать ни взять миллионер, только что вставший из-за стола. В надежде, что в него влюбится какая-нибудь англичанка, или другая иностранка, или богатая вдова, он изучал искусство играть тростью и стрелять глазами «по-американски», как выражался Бисиу. Виме то и дело улыбался, чтобы показать свои чудесные зубы. Он обходился без носков, но каждый день завивал волосы у парикмахера. Следуя раз навсегда установленным принципам, он готов был ради шести тысяч франков дохода жениться на горбунье, ради восьми тысяч — на сорокапятилетней, а ради трех тысяч — на англичанке. Плененный его почерком и проникшись сочувствием к молодому человеку, Фельон стал уговаривать его заняться уроками чистописания, ибо эта почтенная профессия могла облегчить ему жизнь и даже сделать ее приятной; покровитель предлагал устроить ему уроки в пансионе девиц ла Грав. Однако Виме так твердо держался за свою идею, что никто не мог подорвать в нем веры в его счастливую звезду. Поэтому он продолжал голодать и все так же выставлял себя напоказ, как Шеве выставляет осетра, хотя уже три года безуспешно щеголял своими длиннейшими усами. Задолжав Антуану тридцать франков за свои завтраки, Виме, проходя мимо старика, всякий раз опускал глаза, чтобы не встретиться с ним взглядом; и все-таки около полудня просил его принести булку. Рабурден напрасно старался вложить хоть несколько мыслей в эту бедную голову, потом махнул рукой. Отец Виме был секретарем мирового судьи в Северном департаменте. Последнее время Адольф Виме перестал обедать у Каткомба и питался только хлебцами, желая накопить денег и приобрести себе шпоры и хлыст. Чиновники в насмешку над его матримониальными планами прозвали его *голубок Вильом* [[53]](#footnote-53). Однако к шуткам над этим Амадисом[[54]](#footnote-54), этим модником на пустой карман, их подстрекал только тот дух насмешки, которым порожден водевиль, ибо Виме был хорошим товарищем, а если и вредил кому-нибудь, то лишь себе. Самой популярной шуткой был спор на пари: носит он корсет или не носит? Сначала Виме попал в канцелярию Бодуайе, но потом добился, путем всяких уловок, перевода к Рабурдену, ибо Бодуайе был чрезвычайно строг относительно платежей *англичанам* — так чиновники называли своих кредиторов. День *англичан* — это день, когда доступ в канцелярии открыт для посетителей. Зная, что тут уж наверняка можно настигнуть должников, надоедливые кредиторы являются к ним сюда, требуя свои деньги и угрожая наложить арест на жалованье. В такие дни неумолимый Бодуайе заставлял чиновников оставаться на местах.

— Сами виноваты, — говорил он, — нечего было влезать в долги.

Он считал, что такая строгость необходима для общественного блага. Рабурден, наоборот, защищал своих подчиненных от кредиторов, которых выставлял за дверь, заявляя, что канцелярия существует не для личных дел, а для дел общественных. Когда Виме стал ходить по коридорам и лестницам, звеня шпорами, над ним потешались в обеих канцеляриях. Бисиу, состоявший при министерстве в роли мистификатора, носил по отделениям Клерже и ла Биллардиера листок бумаги с карикатурой на Виме: молодой франт сидит верхом на картонном коне, а внизу подпись, в которой предлагается устроить сбор пожертвований на покупку живой лошади; дальше, против фамилии Бодуайе, стояло: «Жертвует центнер сена из собственного довольствия»; затем каждый чиновник сочинил эпиграмму на соседа. Даже сам Виме, будучи действительно человеком незлобивым, принял участие в шуточной подписке под именем «мисс Ферфакс».

Так называемые «красавцы» в духе Виме служат, чтобы иметь кусок хлеба, а разбогатеть надеются с помощью своей наружности. Во время карнавала они, в поисках любовных приключений, не пропускают ни одного маскарада, хотя удача и тут нередко бежит от них. Отчаявшись, иной в конце концов женится на модистке или старухе; порою, впрочем, кто-нибудь из них женится и на молодой особе, обольщенной его красотою, — сначала тянется долгий роман и молодой человек засыпает ее дурацкими письмами, которые, однако, оказывают свое действие. Чиновники бывают настолько дерзки, что, увидев на Елисейских полях женщину, проезжающую мимо них в экипаже, раздобывают ее адрес, наудачу шлют ей пылкие признания и иногда достигают успеха, что, к сожалению, только поощряет эту гнусную спекуляцию.

Упомянутый Бисиу был довольно ловким рисовальщиком и высмеивал не только Дютока, но и Рабурдена, которого прозвал «добродетельная Рабурдина».

Своего бездарного начальника он именовал «Пустошь Бодуайе», а водевилиста — «дю Брюэль — Стрекозель». Бисиу был, несомненно, первым остряком не только своего отделения, но и всего министерства, однако это было обезьянье остроумие, без смысла и толку. Все же Бодуайе и Годар настолько нуждались в этом человеке, что, несмотря на его злой язык, покровительствовали ему, а он с легкостью выполнял их работу. Бисиу очень хотел бы сесть на место Годара или дю Брюэля, но его проделки мешали его повышению: то он пренебрегал службой, особенно если ему удавалось обделать какое-нибудь выгодное дельце, например, издать какие-нибудь портреты, воспроизведя первые попавшиеся физиономии и утверждая, что это и есть участники дела Фюальдеса[[55]](#footnote-55), или опубликовать дебаты на процессе Кастена[[56]](#footnote-56); то, охваченный жаждой выдвинуться, он вдруг рьяно принимался за работу, но вскоре бросал ее ради сочинения водевиля, который также оставался незаконченным. Эгоист, скряга и в то же время мот, — впрочем, он мотал деньги только ради собственных прихотей, — грубиян, задира и болтун, Бисиу творил зло ради самого зла: он охотнее всего нападал на слабых, ничего не уважал, для него не существовало ни Франции, ни бога, ни искусства, ни греков, ни турок, ни Полей убежищ[[57]](#footnote-57), ни монархии, и больше всего он издевался над тем, чего не понимал. Он первый пририсовал черную скуфью к голове Карла X на монетах в сто су. Он так зло передразнивал доктора Галля[[58]](#footnote-58) на его лекциях, что у самого чопорного дипломата от хохота галстук съехал бы набок. Любимая шутка беспощадного насмешника состояла в том, чтобы как можно жарче натопить печи: те, кто имел неосторожность сразу выйти из его бани на свежий воздух, схватывали насморк, а кроме того, ему доставляло удовольствие бесцельно жечь казенные дрова. Он умел мистифицировать людей так ловко и с такой изобретательностью, что всегда кто-нибудь да попадался на его удочку. Главный секрет его успеха заключался в том, что Бисиу умел угадывать тайные желания каждого; он находил дорогу ко всем воздушным замкам, ко всем мечтам, позволяющим так легко обмануть человека, оттого что он сам хочет быть обманутым; поэтому Бисиу мог заставить любого *позировать* ему в течение многих часов. Но этот знаток людей, способный на сложнейшие тактические маневры ради какой-нибудь пустой проказы, не имел силы над людьми, когда нужно было их заставить служить его обогащению или успеху. Он охотнее всего оскорблял молодого ла Биллардиера, который был для него пугалом, кошмаром и которого он вместе с тем неустанно ублажал, чтобы тем наглее его мистифицировать: Бисиу писал к нему письма от имени якобы влюбленных в него женщин, подписываясь «Графиня де М.» или «Маркиза де Б.», вызывал Бенжамена на свидание в маскарад и, дождавшись его под часами в фойе Оперы, выставлял молодого человека напоказ, а затем сводил с какой-нибудь гризеткой.

Бисиу был союзником Дютока (считая, что Дюток мастак по части интриг), разделял его ненависть к Рабурдену и горячо поддерживал его, когда тот восхвалял Бодуайе.

Жан-Жак Бисиу был внуком парижского бакалейщика. Его отец, умерший в чине полковника, оставил сына на попечение бабушки, которая была вторично замужем за своим старшим приказчиком Декуэном и умерла в 1822 году. Окончив коллеж и не имея никакой специальности, Бисиу попытался заняться живописью, но, невзирая на дружбу, связывавшую его с детства с Жозефом Бридо, вскоре бросил живопись, чтобы перейти на карикатуры, виньетки и рисунки к книгам, — спустя двадцать лет их стали называть иллюстрациями.

Благодаря покровительству герцогов де Мофриньезов и де Реторе, с которыми его свели танцовщицы, он в 1819 году получил место в канцелярии. Бисиу находился в самых приятельских отношениях с де Люпо и держался с ним в обществе на равной ноге, а с дю Брюэлем был на «ты»; его пример еще раз подтверждал наблюдения Рабурдена, считавшего, что если ряд чиновников стремится приобрести вес и значение не на служебном поприще, а за стенами своей канцелярии, то это неуклонно подтачивает и разрушает иерархический строй парижской административной власти.

Невысокого роста, но хорошо сложенный и стройный, он был примечателен тем, что несколько напоминал Наполеона; изящные черты, тонкие губы, прямой и плоский подбородок, русые бакенбарды, светлые волосы, голос пронзительный, взгляд сверкающий, двадцать семь лет от роду — вот каков был Бисиу. Этого человека, в котором равно кипели ум и страсти, губила яростная жажда всевозможных наслаждений, принуждавшая его вести беспутный образ жизни. Отважный охотник за гризетками, курильщик и шутник, незаменимый собутыльник на обедах и ужинах, он умел приспособиться к любому обществу и блистал за кулисами театра не меньше, чем на балах гризеток в танцевальном зале на Аллэ-де-Вэв; так же поражал остроумием за обедом, как и на пикнике, был так же оживлен и на улице в полночь, и утром, когда вы заставали его еще в постели; но наедине с собой он становился печален и угрюм, как, впрочем, большинство великих комиков. Вращаясь в среде актеров и актрис, писателей, художников и женщин, судьба которых подвержена превратностям, он не ведал нужды, бывал в театрах бесплатно, играл у Фраскати и частенько выигрывал. Словом, этот истинный художник, чье неровное дарование то вспыхивало, то погасало, жил, как бы качаясь на качелях и не заботясь о той минуте, когда веревка перетрется. Живость его ума, сверкающий водомет его мыслей влекли к нему людей, привыкших наслаждаться блеском интеллекта, но никто из приятелей истинно не любил его. Бисиу ни при каких обстоятельствах не мог удержаться от острого словца и, бывало, за обедом, к концу первой перемены, успевал прикончить обоих своих соседей. Несмотря на внешнюю веселость, в его речах нередко сквозило недовольство своим положением в обществе; он жаждал чего-то лучшего, однако таившийся в его душе роковой демон иронии не давал ему выказать ту серьезность, которая так импонирует дуракам. Чиновник снимал на улице Понтье на третьем этаже квартиру из трех комнат, где вечно царил холостяцкий беспорядок, — это был настоящий бивуак. Бисиу частенько поговаривал о своем желании покинуть Францию и попытать счастья в Америке. Ни одна ворожея не могла бы предсказать судьбу молодому человеку, все таланты которого были не довершены, который был неспособен к усидчивости, всегда опьянен удовольствиями и не желал думать о завтрашнем дне. Что касается до его платья, то он прежде всего старался не казаться смешным и, вероятно, был единственным человеком во всем министерстве, при виде которого нельзя было воскликнуть: «Сразу видно, что чиновник!» Он носил изящные сапоги, черные панталоны со штрипками, пестрый жилет и элегантный синий сюртук, галстук — вечный подарок гризеток, шляпу от Бандони и темные лайковые перчатки. Его манеры, смелые и простые, были не лишены грации. Когда однажды, после слишком большой дерзости, сказанной им по адресу барона де ла Биллардиера, де Люпо вызвал его к себе и пригрозил выгнать вон, Бисиу ограничился тем, что заметил: «Все равно опять возьмете из-за костюма». И де Люпо невольно рассмеялся. Наиболее удачная проделка Бисиу в канцелярии состояла в том, что он поднес Годару бабочку, якобы вывезенную из Китая, которую Годар до сих пор хранит в своей коллекции и всем показывает, так и не догадываясь, что она сделана из раскрашенной бумаги. Шутник, ради того чтобы посмеяться над своим начальником, имел терпение корпеть над этой бабочкой до тех пор, пока не создал настоящий шедевр.

Такому насмешнику, как Бисиу, черт всегда подсунет жертву. И этой жертвой в канцелярии Бодуайе был бедный экспедитор, юноша двадцати двух лет, получавший полторы тысячи франков в год; его звали Огюст-Жан-Франсуа Минар. Минар женился по любви на цветочнице, дочери швейцара, работавшей на дому для мадемуазель Годар; он увидел ее впервые в магазине на улице Ришелье. Чего только не придумывала до замужества Зели Лорэн, чтобы вырваться из окружавшей ее среды! Сначала она училась в консерватории, потом была танцовщицей, певицей, актрисой, не раз уже готовилась пойти, как и многие работницы, по опасной дорожке, но страх перед развратом и жестокой нищетой удержал ее от падения. У нее было множество всяких планов, и она все не могла решиться, какой ей выбрать, когда появился Минар и предложил ей законный брак. Зели зарабатывала пятьсот франков в год, Минар — полторы тысячи. Решив, что на две тысячи франков прожить можно, они поженились без контракта, стараясь, чтобы свадьба обошлась как можно дешевле. Минар и Зели поселились возле заставы Курсель, как два голубка, на четвертом этаже, в квартире, стоившей триста франков в год; окна были украшены белыми коленкоровыми занавесками, стены оклеены дешевыми клетчатыми обоями по пятнадцать су кусок; мебель была ореховая, плиточный пол блестел, кухонька сияла чистотой; первая комнатка служила Зели мастерской — она там делала цветы; затем следовала маленькая гостиная, в ней стояли деревянные стулья с волосяными сиденьями, круглый стол посредине, зеркало, часы с вращающимся хрустальным фонтанчиком и позолоченные канделябры в кисейных чехлах; проста была и спаленка, вся белая с голубым: кровать, комод и секретер красного дерева, полосатый коврик у кровати, шесть кресел и четыре стула; в углу — колыбель из вишневого дерева, где спали мальчик и девочка. Зели сама кормила грудью своих детей, готовила, занималась хозяйством и успевала еще делать цветы.

Было что-то трогательное в этой скромной, но счастливой трудовой жизни. Чувствуя, что Минар ее любит, Зели сама искренне привязалась к нему. Любовь рождает любовь, это — как в библии: бездна бездну призывает. Бедняк Минар вставал рано, когда жена его спала, и отправлялся покупать провизию. Идя на службу, он заносил в магазин готовые цветы, а на обратном пути прихватывал нужные жене материалы; в ожидании обеда он вырезал или штамповал листья, обматывал стебли, разводил краски. Минар был маленького роста, худой, щупленький, нервный, на голове у него курчавились рыжие волосы, глаза были желто-карие, а лицо необычайно белое, но осыпанное веснушками. В нем жило глубокое, непоказное мужество. Искусством каллиграфии он владел не хуже, чем Виме. В канцелярии сидел смирно, делал свое дело и держался замкнуто, как человек болезненный и углубленный в свои мысли. За чуть заметные брови и белые ресницы неумолимый Бисиу прозвал его *белым кроликом*. Минар, этот Рабурден меньшего калибра, жаждал создать для своей Зели лучшие условия жизни и неустанно искал среди океана роскоши и бесчисленных прихотей и потребностей парижской промышленности какую-нибудь идею, новшество или усовершенствование, на котором быстро можно было бы нажить состояние. Минар казался глупым оттого, что мысль его была постоянно занята: он переходил от «Двойной пасты султанш» к «Помаде для волос», от фосфорных плиток к портативному газу, от подметок на шарнирах для деревянных башмаков к гидростатическим лампам, охватывая, таким образом, бесконечно малые величины материальной цивилизации. Минар терпел насмешки Бисиу, как занятой человек терпит жужжание насекомого; они даже не раздражали его. Невзирая на весь свой ум, Бисиу не догадывался о том, как глубоко Минар его презирает. Минар же не хотел ссориться: зачем бесполезно тратить время? И в конце концов его мучитель отстал.

Минар всегда был одет очень скромно, ходил в тиковых панталонах до октября, носил башмаки и гетры, жилет из козьей шерсти, касторовый сюртук зимой и мериносовый летом, соломенную шляпу или, смотря по сезону, шелковую, за одиннадцать франков — он думал только о своей Зели и готов был голодать, лишь бы купить ей новое платье. Экспедитор завтракал утром с женой и на службе ничего не ел. Раз в месяц он водил Зели в театр, когда удавалось достать билеты через дю Брюэля или Бисиу, — ибо Бисиу способен был на все, даже на дружескую услугу. Тогда мать Зели покидала свою швейцарскую и приходила посидеть с детьми. В канцелярии Бодуайе Минар заменил Виме. На новый год чета Минаров самолично делала визиты. И, видя их, люди недоумевали, откуда жена бедного чиновника, получающего полторы тысячи франков в год, берет деньги на приличный черный костюм мужу; благодаря каким ухищрениям может она носить шляпы из итальянской соломки, муслиновые вышитые платья, шелковые манто, атласные башмачки, раздобывать эти прелестные косынки, китайский зонтик, приезжать в наемной карете — и все-таки оставаться добродетельной? А вот г-жа Кольвиль, например, и другие дамы, имеющие в год две тысячи четыреста, едва сводят концы с концами!..

В каждом отделении министерства найдутся два чиновника, которые до того дружат между собой, что их дружба вызывает насмешки — впрочем, в канцеляриях ведь надо всем смеются. Одной из таких жертв среди подчиненных Бодуайе был старший письмоводитель Кольвиль, который, если б не Реставрация, уж давно бы оказался помощником правителя канцелярии или даже правителем канцелярии. Жена его была в своем роде женщиной выдающейся, как и г-жа Рабурден. Кольвиль, сын первого скрипача Оперы, некогда влюбился в дочь знаменитой танцовщицы. Теперь Флавия Миноре, одна из тех ловких и очаровательных парижанок, которые умеют и мужу дать счастье и не потерять своей свободы, превратила его дом в место встреч наших лучших художников и ораторов палаты. Гости едва ли подозревали о том, какое скромное место занимает сам Кольвиль. Поведение Флавии, женщины, пожалуй, уж слишком плодовитой, давало столько пищи для сплетен, что г-жа Рабурден упорно отказывалась от ее приглашений. Тюилье, друг Кольвиля, занимал в канцелярии Рабурдена точно такое же место, как Кольвиль — в канцелярии Бодуайе, и его служебной карьере помешали те же причины. Достаточно было знать Кольвиля, чтобы знать Тюилье, и наоборот. Их близость возникла в канцелярии, и подружились они, вероятно, потому, что одновременно поступили на службу. Ходили слухи, что хорошенькая г-жа Кольвиль принимала ухаживания Тюилье, которому жена не подарила детей. Тюилье, так называемый «красавец Тюилье», некогда имевший большой успех у женщин, вел жизнь настолько же праздную, насколько Кольвиль вел жизнь трудовую. Кольвиль был первым кларнетистом в Комической опере, где играл по вечерам в оркестре, а утром он вел конторские книги; он тянулся изо всех сил, чтобы вырастить свое многочисленное потомство, хотя в покровителях у него не было недостатка. Его считали очень хитрым, тем более, что он скрывал свое честолюбие под напускным равнодушием. Так как Кольвиль казался довольным своей судьбой и, видимо, любил трудиться, все, даже начальники, готовы были поддержать его в мужественной борьбе за существование. В самое последнее время г-жа Кольвиль изменила свой образ жизни и, видимо, решила удариться в благочестие; и чиновники поговаривали о том, что она, должно быть, надеется найти в Конгрегации более надежную опору, чем в знаменитом ораторе Франсуа Келлере, одном из ее наиболее усердных обожателей, которому не удавалось, однако, при всем его влиянии, обеспечить Кольвилю желанное повышение по службе. Флавия понадеялась на де Люпо — и в этом была ее ошибка. Кольвиль увлекался составлением «гороскопов» великих людей по анаграммам их имен. Он месяцами просиживал над этими именами, разлагая их на буквы и слагая буквы на новый лад, чтобы обнаружить якобы заключенный в них сокровенный смысл. Из слов *«Корсиканец Наполеон»* Кольвиль извлек: *«О! Но риск! А плен? А конец?»* — Для Марии де Виньеро (племянница Ришелье) он подобрал фразу: *«Я в браке ни жена, ни дева!»* Для *«Gatharina de Medicis»* — *«Henrici mei casta dea»* [[59]](#footnote-59), *«Господин Женнест, аббат»* при дворе Людовика XIV, прославившийся своим толстым носом, который так смешил герцога Бургундского, дал Кольвилю повод к изречению: *«Ба, то сапог, не нос! Бдите же!»* Словом, анаграммы влекли к себе Кольвиля. Объявив их предметом особой науки, он уверял, что судьба каждого человека заключена в той фразе, которую можно составить, комбинируя буквы его имени, фамилии, звания и проч. Со времени вступления на престол Карла X Кольвиль был занят составлением его анаграммы.

Тюилье, имевший склонность к каламбуру, утверждал, что анаграмма — это каламбур, составленный из букв. Неразрывная дружба, связывавшая Кольвиля, человека истинно доброго, с Тюилье, этим образцом эгоиста, представляла собой неразрешимую загадку, и лишь некоторые из их сослуживцев видели к ней ключ в словах: «Тюилье богат, а Кольвиль обременен семейством». Действительно, ходили слухи, что Тюилье добавляет к своему жалованью доходы с учетных операций; его частенько вызывали из канцелярии всякие коммерсанты, и Тюилье выходил с ними на несколько минут во двор, но вел все эти переговоры от лица своей сестры, мадемуазель Тюилье. Дружба Тюилье и Кольвиля, освященная годами, основывалась на довольно естественных чувствах и обстоятельствах, о которых мы расскажем в другом месте (см. «Мелкие буржуа»), — здесь же эти разъяснения казались бы, как выражаются критики, «длиннотами». Впрочем, нелишне будет отметить, что если в канцеляриях г-жу Кольвиль знали слишком хорошо, то о г-же Тюилье почти ничего не было известно. Кольвиль, человек вечно занятой и обремененный детьми, был толст, жирен и жизнерадостен, а Тюилье, «красавец времен Империи», видимо не отягощенный особыми заботами и всегда праздный, — худощав, бледен и даже печален.

— Быть может, дружба рождается скорее из противоположности характеров, чем из их сходства, — говорил Рабурден, когда речь заходила об этих двух чиновниках.

Совершенно иные отношения, чем между этими сиамскими близнецами, существовали между Шазелем и Помье; они вечно друг с другом воевали; один курил табак, другой нюхал его, и они неутомимо спорили о том, какой способ употребления этого зелья следует признать лучшим. Оба страдали одним и тем же недостатком, делавшим их в равной мере несносными для товарищей по канцелярии: они то и дело пререкались относительно цен на всякие товары — на сладкий горошек и рыбу; на материи, зонтики, сюртуки, шляпы и перчатки, которые они видели у сослуживцев. Они наперебой расхваливали всякие новинки, хотя никогда их не покупали. Шазель коллекционировал проспекты книгопродавцев и объявления с литографиями и рисунками, но ни разу не подписался хотя бы на одно издание. Помье, такой же болтун, без конца разглагольствовал о том, что, будь он богат, он приобрел бы то-то и то-то. Однажды Помье, явившись к известному Дориа, принялся поздравлять его с тем, что тот, наконец, выпускает книги на атласной бумаге, в печатных обложках, и призывал его улучшать свои издания и впредь. При всем том у самого Помье не было ни одной книги!

Семейная жизнь Шазеля, который был под башмаком у свирепой жены, но старался казаться независимым, служила для Помье предметом постоянных насмешек; а Шазель, в свою очередь, издевался над холостяком Помье, голодавшим не меньше, чем Виме, над его поношенной одеждой и тщательно скрываемой нищетой.

И у Шазеля и у Помье уже стало расти брюшко: у Шазеля живот был круглый и тугой, он торчал вперед и, по словам Бисиу, нахально пролезал всюду первым; у Помье живот был рыхлый и колыхался из стороны в сторону; Бисиу раза четыре в год заставлял их производить обмер своих животов. И тому и другому было не больше тридцати — сорока лет. Оба в достаточной мере тупоумные, они, помимо службы, решительно ничего не делали и представляли собою законченный тип чиновников, одуревших от бумажного делопроизводства и канцелярщины. Шазель нередко клевал носом за работой, и перо, которое он так и не выпускал из рук, отмечало легкими брызгами его сонное дыхание. Помье приписывал эту сонливость слишком рьяному исполнению супружеских обязанностей. А Шазель утверждал, что Помье по четыре месяца в году пьет особый лечебный отвар, и предсказывал ему смерть от гризетки. Тогда Помье уверял, что Шазель отмечает в календаре те дни, когда супруга снисходит к его ухаживаниям. Эти два чиновника столь усердно перемывали грязное белье друг друга и так бранились из-за самых ничтожных подробностей своей интимной жизни, что сослуживцы стали в конце концов относиться к ним с заслуженным презрением. «Да разве я Шазель?» — вот слова, которыми обычно заканчивался надоевший спор.

Господин Пуаре-младший — его называли так в отличие от Пуаре-старшего, проживавшего на покое в пансионе Воке, куда хаживал обедать и его брат, мечтая там же окончить свои дни, — Пуаре-младший прослужил в канцелярии уже тридцать лет. Сама природа не столь постоянна в своих круговоротах, как был неизменен в своих привычках этот человечек. Он всегда клал свои вещи на то же место, опускал перо на ту же подставку, в тот же час садился за свой канцелярский стол, грелся у печки в те же минуты, ибо единственной его гордостью были часы, которые шли с непогрешимой точностью, что, впрочем, не мешало ему ежедневно их выверять по часам городской мэрии, мимо которой лежал его путь, так как он жил на улице Мартруа.

От шести до восьми часов утра он вел торговые книги в большом модном магазине на улице Сент-Антуан, а от шести до восьми часов вечера — в магазине Камюзо, на улице Бурдоне. Таким образом, он зарабатывал три тысячи франков, считая и канцелярское жалованье. Ему оставалось до пенсии всего несколько месяцев, поэтому он был глубоко равнодушен ко всяким служебным интригам. Для его старшего брата отставка оказалась роковой: он совершенно опустился; вероятно, это предстояло и младшему, когда ему уже не придется ходить в министерство, садиться на свой стул и выполнять свою работу экспедитора. Ему было поручено подбирать комплекты газеты, которую выписывала канцелярия, а также «Монитера», и он относился к этому делу с рвением фанатика. Если кто-нибудь из чиновников терял один из номеров или, унеся домой, забывал возвратить, Пуаре-младший просил разрешения отлучиться, немедленно отправлялся в редакцию газеты, требовал этот недостающий номер и возвращался, обвороженный любезностью кассира. Ему всегда, уверял он, приходится иметь дело с милейшим молодым человеком, и журналисты, мол, что ни говори, люди чрезвычайно любезные, но их не умеют ценить по заслугам.

Пуаре был невелик ростом, его обветренное лицо бороздили морщины, серая кожа была усеяна синеватыми угрями, нос вздернут, глаза казались угасшими, взгляд был тускл и холоден, рот провалился, и в нем торчало всего несколько гнилых зубов, поэтому Тюилье уверял, что к Пуаре уж никак не попадешь на зубок; огромные кисти его длинных и тощих рук не отличались белизной. Седые волосы, примятые шляпой, придавали Пуаре сходство со священником, что ему отнюдь не могло льстить, ибо он не выносил попов и духовенства, хотя и сам не в состоянии был бы объяснить свои религиозные воззрения. Эта антипатия, впрочем, не мешала ему быть горячим приверженцем любого правительства.

Пуаре не застегивал свой старый зеленоватый сюртук даже в самые сильные холода и неизменно носил черные панталоны и башмаки на шнурках. Покупки он делал, вот уж лет тридцать, все в тех же магазинах. Когда умер его портной, он отпросился на похороны и над могилой пожал руку сыну покойного, торжественно обещая одеваться у него. Он был другом всех своих поставщиков, выслушивал их сетования, расспрашивал об их делах и всегда платил наличными. Если ему приходилось писать одному из них, прося изменить что-либо в заказе, Пуаре был отменно вежлив, выводил «Милостивый государь» отдельной строкой, никогда не забывал указать дату и предварительно составлял черновик письма, который и сохранял в папке с надписью: «Моя переписка». Трудно было себе представить натуру более упорядоченную и жизнь более размеренную. С того времени как Пуаре поступил в министерство, он хранил все свои оплаченные счета, все квитанции, даже самые ничтожные, а также книги расходов, за каждый год — в особой обложке. Он обедал по абонементу всегда в одном и том же ресторане «Телок-Сосунок» — на площади Шатле, за тем же столиком, и официанты так и сохраняли для него это место.

Не задерживаясь и пяти минут сверх положенного времени в магазине шелковых тканей «Золотой кокон», он ровно в половине девятого появлялся в кофейне «Давид», самой знаменитой кофейне его квартала, и сидел там до одиннадцати; сюда он, как и в «Телок-Сосунок», приходил уже тридцать лет и в половине одиннадцатого неизменно выпивал здесь кружку баварского пива. Опершись руками на трость и уткнувшись в них подбородком, он слушал споры о политике, но никогда не принимал в них участия. Место Пуаре было рядом со стойкой, и он поверял буфетчице маленькие происшествия своей жизни, ибо это была единственная женщина, беседа с которой доставляла ему удовольствие. Иногда Пуаре играл в домино, единственную игру, доступную его пониманию. Если его партнеры не приходили, он засыпал, привалившись к деревянной обшивке стены, а перед ним на мраморном столике лежала надетая на палку газета. Он интересовался решительно всем, что происходило в Париже, и по воскресеньям ходил смотреть новые постройки. Он расспрашивал какого-нибудь инвалида, поставленного у входа, чтобы не пускать публику на строительный участок, огороженный дощатым забором, и беспокоился, когда происходили задержки — не хватало материалов или денег или же архитектор испытывал затруднения. «Я видел, — говорил Пуаре, — как Лувр восстал из развалин, я видел, как родилась площадь Шатле, Цветочная набережная, рынки!» Братья Пуаре, родом из Труа, были сыновьями мелкого чиновника, служившего по откупам; родители отправили их в Париж учиться делопроизводству. Мать снискала себе дурную славу беспутным поведением, и хотя они часто посылали ей деньги, она, к их прискорбию, умерла на больничной койке. Тогда оба не только поклялись никогда не жениться, но у них даже к детям появилась неприязнь; и когда те оказывались поблизости, братьям Пуаре становилось не по себе, они опасались их, как опасаются сумасшедших, и растерянно на них поглядывали. При Робере Ленде оба Пуаре были завалены работой. Администрация тогда не оценила их заслуг, но они были рады, что хоть живы остались, и только с глазу на глаз роптали на столь явную неблагодарность: ведь они делали максимум того, что можно было сделать.

Когда Рабурдену пришлось исправлять знаменитую фразу Фельона и чиновники стали издеваться над ее автором, Пуаре перед уходом отвел беднягу в уголок коридора и сказал ему: «Поверьте, сударь, я изо всех сил противился тому, что случилось». С самого своего приезда в Париж Пуаре ни разу не выезжал из города. Уже в это время он начал вести дневник, в который заносил все примечательные события своей жизни: от дю Брюэля он узнал, что дневник вел и лорд Байрон. Пуаре настолько восхитило это сходство, что он даже приобрел сочинения лорда Байрона в переводе Шастопалли, однако решительно ничего в них не понял. Когда он сидел в канцелярии, на его лице нередко появлялось меланхолическое выражение, казалось, он погружен в глубокие думы, на самом же деле он вовсе ни о чем не думал. Пуаре не был знаком ни с одним из жильцов своего дома и всегда держал в кармане ключ от своей квартиры. На новый год он самолично разносил свои визитные карточки всем чиновникам отделения, но никогда не делал визитов.

Однажды, в летнюю пору, Бисиу вздумалось намазать топленым свиным салом подкладку старой шляпы, которую *молодой* Пуаре (ему было тогда пятьдесят два года) ухитрился проносить девять лет. Бисиу никогда не видел на Пуаре другой шляпы, и она успела нестерпимо надоесть ему; она просто преследовала его во сне, мерещилась ему даже во время завтрака; и Бисиу наконец решил, в интересах своего пищеварения, избавить канцелярию от этой мерзкой шляпы. Пуаре-младший вышел из министерства в четвертом часу. Следуя по парижским улицам, где солнечные лучи, отражаясь от стен домов и мостовой, усиливали жару до чисто тропического зноя, Пуаре почувствовал, что с головы его что-то течет, хотя потливым никогда не был. *Придя к заключению, что в этом надлежит усмотреть болезнь или близость к оной*, он, воздержавшись от посещения «Телка-Сосунка», пошел прямо домой, где извлек из секретера свой дневник и в следующих словах описал это происшествие:

«Нынче, 3 июля 1823 года, обнаружив у себя необъяснимую испарину, быть может знаменующую собой начало потовой горячки, болезни, весьма распространенной в Шампани, я принял решение посоветоваться с доктором Одри. Симптомы заболевания появились у меня, когда я следовал по Школьной набережной».

Сидя дома без шляпы, он вдруг обнаружил, что влага, принятая им за испарину, не имеет никакого отношения к его особе. Он вытер лицо, осмотрел шляпу, однако ничего не обнаружил, а распороть подкладку не решился. В дневнике было добавлено следующее:

«Отнес шляпу к мастеру Турнану, шляпнику, проживающему на улице Сен-Мартен, ибо подозреваю другую причину упомянутой испарины, являющейся, таким образом, уже не испариной, но результатом присутствия на шляпе какого-то постороннего вещества, появившегося или обнаружившегося на ней в настоящее время».

Господин Турнан тут же указал своему клиенту на жирные пятна — от смазывания топленым салом, свиным или кабаньим.

На другой день Пуаре явился на службу в шляпе, одолженной ему Турнаном, пока будет готова новая; однако вечером, прежде чем лечь спать, он счел необходимым приписать в своем дневнике:

«Установлено, что на моей шляпе было сало свиньи или кабана».

Пуаре в течение двух недель ломал себе голову над столь необъяснимым происшествием, но так и не узнал, каким образом произошло это чудо. А в канцелярии чиновники утешали его рассказами о дожде из жаб, о том, что между корнями вяза была найдена голова Наполеона, и о других не менее загадочных явлениях летней природы. Виме сообщил, что однажды и ему на лицо потекли из-под шляпы струи какой-то черной жидкости — так что шляпники бесспорно сбывают дрянной товар. Поэтому Пуаре ходил несколько раз к Турнану, чтобы проследить самолично, как идет изготовление новой шляпы.

У Рабурдена был еще один чиновник, который держался храбрецом, проповедовал взгляды левого центра и возмущался тираном Бодуайе, притесняющим несчастных рабов, вынужденных корпеть в его канцелярии. Этот молодой человек, по фамилии Флeри, отважно подписывался на оппозиционную газету, носил широкополую серую шляпу, красивые синие панталоны с красным кантом, синий жилет с золотыми пуговицами и наглухо застегнутый сюртук, как у жандармского квартирмейстера. При всей непоколебимости своих принципов он продолжал ходить в канцелярию, но предрекал правительству печальную судьбу, если оно будет упорствовать в своем ханжестве. С тех пор как после смерти Наполеона законы против сторонников узурпатора потеряли силу, Флeри уже не скрывал своих симпатий к великому человеку. Бравый, смуглый красавец был при императоре капитаном линейных войск, а теперь работал по вечерам контролером в Олимпийском цирке. Бисиу никогда не позволял себе задирать его, ибо этот лихой вояка, к тому же отлично владевший пистолетом и рапирой, был, видимо, способен на дикие выходки. Будучи восторженным подписчиком «Побед и завоеваний»[[60]](#footnote-60), он отказался платить за последние выпуски, ссылаясь на то, что их число превосходит указанное проспектом, но возвращать их не возвращал. Рабурдена, который не допустил его увольнения, он прямо обожал, и однажды у Флeри даже вырвалась угроза, что, если с господином Рабурденом по чьей-нибудь милости случится беда, он убьет того человека. Дюток настолько боялся Флeри, что так и лебезил перед ним. Флeри, не выходивший из долгов, пускался на всякие проделки, чтобы не попасть в руки кредиторов. Будучи знатоком законов, он никогда не подписывал векселей и ухитрился сам наложить запрещение на свое жалованье от имени вымышленных лиц, благодаря чему получал его на руки почти целиком; свою обстановку он отвез к хористке из театра Порт-Сен-Мартен, с которой состоял в интимных отношениях. Он очень счастливо играл в экарте, всегда был душой общества, мог выпить залпом стакан шампанского, не замочив губ, и знал наизусть все песенки Беранже. Он признавал только трех великих людей: Наполеона, Боливара[[61]](#footnote-61) и Беранже. К Фуа, Лафиту[[62]](#footnote-62) и Казимиру Делавиню[[63]](#footnote-63) он относился только с уважением. Флeри, по происхождению южанину, предстояло — как вы, вероятно, догадываетесь — рано или поздно сделаться ответственным редактором большой либеральной газеты.

Деруа, самое загадочное лицо среди чиновников отделения, ни с кем не знался, был неразговорчив и настолько скрывал от всех свою жизнь, что чиновники даже не знали, кто его покровители, где он живет, на какие средства существует. Пытаясь объяснить эту замкнутость, иные предполагали, что он карбонарий, иные — что орлеанист, иные — что, может быть, шпион, иные — что просто человек себе на уме. А все объяснялось тем, что Деруа был сыном одного из членов Конвента, не голосовавшего, впрочем, за смерть короля. По натуре холодный и замкнутый, он знал цену людям и рассчитывал только на самого себя. Тайный республиканец, поклонник Поля-Луи Курье[[64]](#footnote-64), друг Мишеля Кретьена[[65]](#footnote-65), он надеялся, что время и рост общественного сознания помогут восторжествовать в Европе его идеям. Он мечтал о Молодой Германии и о Молодой Италии[[66]](#footnote-66). Сердце Деруа было переполнено той безрассудной любовью к коллективу, которую можно назвать гуманитаризмом, этим первенцем покойницы филантропии, которая столь же мало способна заменить божественное католическое милосердие, как отвлеченная система не может заменить искусство, а рассуждения — творчество.

Этот пуритански-совестливый друг свободы, этот апостол неосуществимого равенства жалел о том, что бедность вынуждает его служить правительству, и делал попытки получить какую-нибудь должность по транспорту. Высокий, сухопарый, величественный, он как человек, чувствующий себя призванным пожертвовать своей головой ради возвышенной цели, изучал Сен-Жюста, вдохновлялся Вольнеем[[67]](#footnote-67) и был занят реабилитацией Робеспьера, которого почитал преемником Христа.

Наконец последний из всех этих людей, заслуживающий хотя бы наброска, был молодой де ла Биллардиер. К несчастью для него, он рано потерял мать; министр покровительствовал ему, он был избавлен от выговоров Бодуайе, посещал все министерские салоны и заслужил всеобщую ненависть своим нахальством и фатовством. Начальники старались быть с ним вежливыми, но чиновники обращались к нему с особой, нелепо преувеличенной и нарочитой почтительностью, тем самым как бы выключая его из своего товарищеского круга. Бенжамен де ла Биллардиер, этот слащавый, длинный и щуплый двадцатидвухлетний молодой человек с манерами англичанина, оскорблявший канцеляристов своим дендизмом, являлся на службу завитой, надушенный, чопорный, с лорнетом, носил желтые перчатки и всегда новенькую шляпу, завтракал не иначе, как в Пале-Руаяле, прикрывал свою глупость лощеными манерами, взятыми напрокат, мнил себя красавцем и усвоил все пороки высшего общества, но не обладал его внешним очарованием. Уверенный в том, что его сделают важной особой, он вознамерился издать под своим именем книгу, чтобы добиться креста за литературные заслуги и приписать его получение своим административным талантам. Он рассчитывал воспользоваться помощью Бисиу и в этих видах обхаживал его, хотя еще не осмеливался ему открыться. Достойный юноша с нетерпением ждал смерти родителя, спеша унаследовать титул барона, недавно пожалованный де ла Биллардиеру, писал на своих визитных карточках «шевалье де ла Биллардиер» и повесил в своем кабинете вставленное в рамку изображение семейного герба (три звезды на голубой поперечной полосе в верхней части щита; две скрещенные шпаги на черном поле и девиз: «Всегда верен»). У него была мания рассуждать о геральдике, и однажды он спросил молодого виконта де Портандюэра, почему у того столь сложный герб, на что получил вполне заслуженный ответ: «Да ведь я не сам его придумал!» Он твердил о своей верности монархии и о милостях, оказанных ему супругой дофина. Бенжамен был хорош с де Люпо, часто с ним завтракал и верил в дружеские чувства секретаря министра. Бисиу, взявший на себя роль его ментора, надеялся освободить от этого желторотого фата и отделение и Францию, толкнув его в пропасть распутства, и во всеуслышание сознавался в своих намерениях.

Таковы были главные и характернейшие фигуры среди чиновников отделения де ла Биллардиера; имелись и другие, но они более или менее подходили к тому или иному из описанных нами типов. В канцелярии Бодуайе можно было встретить лысых, зябких субъектов, обмотанных фланелью, ютившихся на шестых этажах и разводивших там цветы; людей, ходивших в потертом, заношенном платье, с тростью из терновника и с неизменным зонтиком в руках. Эти люди, стоящие где-то между безбедно живущими швейцарами и полунищими рабочими, слишком далеки от административных верхов, чтобы мечтать о каком-либо повышении, и играют роль пешек на шахматном поле бюрократии. Они рады, когда их назначают на дежурства — только бы не сидеть в канцелярии; за доброхотное даяние готовы на все; чем они живут — загадка даже для их начальников, они живое обвинение против государства, которое, допуская существование подобных чиновников, тем самым умножает число нищих. При виде их странных физиономий трудно решить, чиновничье ли ремесло превращает этих млекопитающих *пероносцев* в кретинов или же они занимаются таким ремеслом потому, что родились кретинами. Может быть, тут в равной мере повинны и природа и правительство. Как сказал некто, «крестьяне подвержены, сами того не сознавая, воздействию атмосферических явлений и фактов внешней действительности. Отождествляясь в известном смысле с природой, среди которой они живут, они незаметно проникаются теми мыслями и чувствами, которые она в них пробуждает, и все это отражается в их поступках и на их лицах, видоизменяясь в зависимости от их индивидуального характера и натуры; окружающие крестьян привычные явления накладывают на них отпечаток и постепенно формируют их; таким образом, деревенские жители представляют собой наиболее интересную и правдивую книгу для всякого, кого влечет именно эта область физиологии, так мало изученная и так плодотворно объясняющая связь между духовным существом человека и факторами внешней природы». А для чиновника природа — это канцелярия; его горизонт со всех сторон ограничен зелеными папками; атмосфера — это для него воздух в коридорах, людские испарения, скопляющиеся в комнатах без вентиляции, запах перьев и бумаги; его почва — плиточный пол или паркет, усеянный своеобразными отбросами и политый лейкой канцелярского служителя; его небо — потолок, к которому он возводит взоры, когда зевает; его родная стихия — пыль. Итак, наблюдения над деревенскими жителями вполне приложимы и к чиновникам, отождествившимся с «природой», среди которой они живут. И если некоторые известные врачи стали опасаться воздействий такой природы — дикой и вместе с тем цивилизованной — на духовную сущность людей, запертых в этих сараях, называемых канцеляриями, куда почти не проникает солнце, где мысль тупеет от занятий, напоминающих хождение рабочей лошади по кругу, где люди предаются мучительной зевоте и рано умирают, — то Рабурден был совершенно прав, желая сократить число чиновников, требуя для них высоких окладов, а от них — напряженного труда. Когда человек занят большим делом, он никогда не скучает. А при существующих порядках чиновники из девяти часов, которые они обязаны отдавать государству, теряют, как мы увидим, на болтовню, пересуды, споры и особенно на интриги по крайней мере часа четыре. Нужно хорошо изучить убогий мирок канцелярий, чтобы понять, насколько он напоминает школьный. Впрочем, где бы люди ни вели совместную жизнь, мы видим то же поразительное сходство: в полку, в суде вы узнаете тот же коллеж, лишь в более или менее увеличенных масштабах. Все эти чиновники, просиживающие в канцелярии по восемь часов, смотрели на нее как на своего рода школьный класс, где задавались уроки, где воспитателей заменяли начальники, а наградные были своего рода наградами за хорошее поведение, выдаваемыми любимчикам; где люди друг над другом насмехались, друг друга ненавидели и где все же существовало своеобразное товарищество — впрочем, уже настолько слабее, чем в полку, насколько в полку оно слабее, чем в школе. По мере того как человек узнает жизнь, его эгоизм все растет и ослабляет узы второстепенных привязанностей. Словом, канцелярия — это как бы все общество в миниатюре, с его нелепыми противоречиями, дружбой, ненавистью, завистью, жадностью и, вопреки всему, с его движением вперед, с его легкомысленными разговорами, наносящими столько ран, и с его постоянным шпионством.

В этот день чиновники г-на барона де ла Биллардиера были охвачены необычным волнением, впрочем вполне понятным, ввиду события, которое должно было вот-вот свершиться: ведь не каждый день умирают начальники отделений, и даже в Обществе пожизненного обеспечения вероятность жизни или смерти, шансы «за» и «против», кажется, не обсуждаются с такой дальновидностью, как в канцеляриях. Чиновники походят на детей: личный интерес заглушает в них всякую жалость; но они сверх того еще и лицемерны.

Чиновники канцелярии Бодуайе бывали к восьми часам уже на своих местах, тогда как чиновники Рабурдена в девять начинали только сходиться, что, однако, не мешало им справляться с делами гораздо быстрее чиновников Бодуайе. У Дютока были важные причины, чтобы явиться в такую рань. Накануне, войдя украдкой в кабинет, где работал Себастьен, он застиг его за переписыванием каких-то бумаг для Рабурдена; тогда он притаился и увидел, что Себастьен ушел без них. Дюток был уверен, что, перерыв одну за другой все папки, он где-нибудь да найдет и довольно объемистый оригинал и копию; в конце концов он действительно отыскал это грозное донесение. Тогда он поспешил к начальнику копировальной конторы и заказал два автографических оттиска; таким образом, Дюток получил в руки документ, воспроизводящий почерк самого Рабурдена. Он спешил положить оригинал обратно в папку, чтобы не возбудить подозрений, и для этого на другой день явился в канцелярию первым. Себастьен задержался до полуночи на улице Дюфо, и ненависть Дютока опередила его юношеское усердие, как ни было оно велико. Дело в том, что ненависть жила на улице Сен-Луи-Сент-Оноре, а преданность — на улице Руа-Доре, в Марэ. И это простое опоздание отразилось на всей жизни Рабурдена. Себастьен поспешно заглянул в папку — там в полном порядке лежали неоконченная копия и оригинал; тогда он спрятал их в столе своего начальника, в ящике, у которого был замок с секретом.

В конце декабря светает поздно, и в канцеляриях по утрам бывает темновато, так что кое-где лампы горят до десяти часов. Поэтому Себастьен и не заметил на бумаге следов копировального пресса. Но когда Рабурден в половине десятого взял в руки свою рукопись, он обнаружил совершенно явственные следы автографической копировки, тем более что у него был немалый опыт по этой части, — в свое время он интересовался, может ли копировальный пресс заменить экспедиторов. Правитель канцелярии опустился в кресло у камина и погрузился в размышления, машинально размешивая щипцами угли; потом, желая узнать, в чьи руки попала его тайна, вызвал к себе Себастьена.

— Кто-нибудь сегодня пришел раньше вас в канцелярию? — спросил его Рабурден.

— Да, — ответил Себастьен, — господин Дюток.

— Хорошо. Он очень точен. Пришлите ко мне Антуана.

Слишком великодушный, чтобы упрекать Себастьена за несчастье, которое было уже непоправимо, Рабурден больше ничего ему не сказал. Вошел Антуан, и Рабурден спросил, не оставался ли вчера кто-нибудь из чиновников в канцелярии после четырех часов; служитель сказал, что оставался Дюток, который ушел уже после де ла Роша.

Рабурден кивком отпустил Антуана и вернулся к своим мыслям.

— Два раза я спас его от увольнения, — произнес он, — и вот награда!

В это утро Рабурден испытывал то же, что испытывают великие полководцы в торжественные минуты, когда они решают дать бой и обдумывают все возможности победы и поражения. Он слишком хорошо изучил нравы канцелярий и знал, что здесь, так же как в школе, на каторге и в армии, не прощают ничего, похожего на донос или шпионство. Человек, уличенный в том, что он способен сообщать сведения о своих товарищах, опозорен, пропал, его смешают с грязью; а министры отрекутся от того, кто был их же орудием. Тогда чиновнику остается только уйти в отставку, уехать из Парижа, его честь навеки замарана: объяснения бесполезны, их никто не спрашивает и не будет выслушивать. Если на такое дело пойдет министр, его провозгласят великим человеком, который ведь должен выбирать себе людей; но простой чиновник прослывет шпионом, каковы бы ни были его побуждения. Отлично понимая всю нелепость этих взглядов, Рабурден знал, как они могущественны и чем ему угрожают. Скорее изумленный, чем подавленный, он стал обдумывать, как ему держать себя при данных обстоятельствах, поэтому он не заметил волнения, которое охватило канцелярии при вести о смерти де ла Биллардиера, и узнал о ней только от молодого ла Бриера, понимавшего, каким полезным деятелем может быть этот правитель канцелярии.



Между тем было около десяти часов. В канцелярии бодуайенцев (так принято было называть этих чиновников, подобно тому как подчиненных Рабурдена звали рабурденцами) Бисиу рассказывал о последних минутах начальника отделения. Его слушали Минар, Деруа, г-н Годар, который даже вышел для этого из своего кабинета, и Дюток, прибежавший к бодуайенцам с двойной целью. Кольвиль и Шазель отсутствовали.

Бисиу *(стоя перед печкой и подставляя огню то одну, то другую подошву, чтобы их просушить)*. Сегодня утром, в половине восьмого, я зашел справиться о здоровье нашего достойного и уважаемого начальника, кавалера ордена Христа и прочая, и прочая. Но, боже мой, господа, увы! Барон был вчера еще и то, и се, и двадцатое, а нынче он уже ни то ни се — даже не чиновник. Я расспросил, как он провел ночь. Его сиделка — это такая охрана, которая сдается, но не умирает[[68]](#footnote-68), — сообщила мне, что с пяти часов утра он начал беспокоиться о королевском семействе. Он приказал прочесть ему фамилии тех из нас, кто приходил справляться о его здоровье. Потом он сказал: «Насыпьте мне табаку в табакерку, дайте мне газету, принесите очки, перемените ленту на моем ордене Почетного легиона, она очень грязна». Вы ведь знаете, он и в постели лежит при орденах и до конца сохраняет верность своим взглядам. Значит, он был в здравом уме и твердой памяти. А потом — раз! Прошло десять минут, и вода в нем стала подниматься все выше, выше, выше, дошла до сердца, заполнила всю грудь. Он уже чувствует, что умирает, отеки лопаются, и вот в эту роковую минуту он доказал, какая у него была голова, какой ум! А мы, разве мы умели ценить его! Мы смеялись над ним, мы считали его старым болваном, первейшим болваном. Не так ли, господин Годар?

Годар. Я лично всегда больше чем кто-нибудь преклонялся перед талантами господина де ла Биллардиера.

Бисиу. Да, вы родственные натуры!

Годар. Ну, в конце концов, он был человек не злой; он никому не делал зла.

Бисиу. Чтобы делать зло, надо что-то делать, а он ничего не делал. Если не вы считали его полной бездарностью, так, значит, Минар.

Минар *(пожимая плечами)*. Я?

Бисиу. Ну, так вы, Дюток? *(Дюток с негодованием протестует)*. Вот как! Никто! Значит, все здесь считали, что у него прямо исключительный ум! Что ж, вы были правы: он кончил как человек умный, способный, одаренный — словом, как великий человек. Да он и был велик

Деруа *(нетерпеливо)*. Бог мой, что же он совершил такого великого? Исповедался?

Бисиу. Да, сударь, он пожелал причаститься святых тайн. Но знаете, в каком виде он причащался? Он облекся в свой камер-юнкерский мундир, надел все ордена, велел напудрить ему волосы и новой лентой перевязать косу (жиденькая косица!). Так вот, я утверждаю, что только человек с сильной волей может в минуту смерти думать о своей косе. Нас здесь восемь человек, и ни один на это не способен. И это еще не все; он сказал — ведь известно, что все великие люди перед смертью произносят последний спич (это слово английское и означает *парламентскую жвачку* ), он сказал... подождите, как он выразился?.. *«Я должен одеться как можно пышнее для встречи с владыкой небесным, ведь я всегда надевал парадное платье, идя к владыке земному»*. Вот каким образом окончил свою жизнь господин де ла Биллардиер! Он постарался оправдать слова Пифагора: «Человека узнаешь только после его смерти».

Кольвиль *(входя)*. Наконец-то, господа, я могу объявить вам великую новость...

Все. Да мы знаем!

Кольвиль. Сильно сомневаюсь! Я сижу над ее разгадкой с восшествия его величества на престол французский и наваррский. И я закончил свою работу лишь сегодня ночью, и притом ценою таких усилий, что госпожа Кольвиль даже спросила меня, над чем это я так маюсь.

Дюток. Вы воображаете, у нас есть время заниматься анаграммами, когда уважаемый господин де ла Биллардиер только что скончался?..

Кольвиль. Узнаю моего Бисиу! Я прямо от ла Биллардиера, он еще жив — правда, кончины ждут с минуту на минуту.

*(Годар, поняв, что над ним посмеялись, недовольный уходит в свой кабинет.)*

Но, господа, вы ни за что не угадаете, какие многозначительные предсказания *(наполовину развертывает какую-то бумажку)* раскрываются в анаграмме Карла Десятого, милостью божьей короля французов.

Годар *(возвращаясь)*. Говорите скорей и не мешайте другим работать.

Кольвиль (*торжествуя, развертывает бумажку до конца)*.

«Г. П. корону отдал.

Из С. К. отбыл.

На фелуке блуждает.

В Горице умирает».

Вот! Всё тут *(разъясняет)*: Генриху Пятому корону отдал, из Сен-Клу отбыл, на фелуке (шхуна, бот, яхта, все, что хотите — морское слово) блуждает...

Дюток. Какая чепуха! Как может король уступить корону Генриху Пятому, который, по вашей гипотезе, должен быть его внуком, когда существует его высочество дофин? Значит, вы предрекаете дофину смерть?

Бисиу. А что такое Горица? Кошачья кличка!

Кольвиль *(обиженный)*. Сокращенное название города, милейший. Я откопал его у Мальт-Брена; Горица — по-латыни Gorixia — находится в Венгрии или в Богемии, словом, где-то в Австрии...

Бисиу. Ну да, в Тироле, или в баскских провинциях, или в Южной Америке. Вам следовало бы к этому предсказанию еще подобрать мотивчик для кларнета.

Годар *(пожимая плечами, направляется к двери)*. Какой вздор!

Кольвиль. Вздор! Вздор! Я бы очень хотел, чтобы вы потрудились хоть изучить, что такое фатализм — он был религией императора Наполеона!

Годар *(уязвленный тоном Кольвиля)*. Господин Кольвиль! Бонапарт может быть императором для историков, но не для чиновников.

Бисиу *(улыбаясь)*. Разгадайте-ка эту анаграмму, друг мой! Впрочем, что касается анаграмм, я им всем предпочитаю вашу супругу, ее легче всего разгадать. *(Вполголоса.)* Флавии следовало бы воспользоваться этими минутами междуцарствия и сделать вас правителем канцелярии хотя бы для того, чтобы избавить от выходок Годара.

Дюток *(он на стороне Годара)*. Если бы все это не было так глупо, сударь, вы бы места лишились; ведь вы предсказываете события, которые королю едва ли могут быть приятны; всякий честный роялист должен понимать, что с его величества хватит и двух поездок за границу.

Кольвиль. Если меня уволят, вашему министру крепко достанется от Франсуа Келлера. *(Глубокое молчание.)* Имейте в виду, уважаемый Дюток, что все известные анаграммы сбывались. А возьмем хотя бы вас самих! Знаете что — никогда не женитесь! Берусь так составить анаграмму из вашего имени и фамилии, что в ней будет слово «рогат».

Бисиу. Да еще найдутся буквы для слова «скот».

Дюток *(спокойно)*. У меня-то рога покамест только в анаграмме, а не в жизни.

Помье *(вполголоса к Деруа)*. Вот Кольвиль и скушал!

Дюток *(Кольвилю)*. А вы составляете анаграмму на Ксавье Рабурдена, правителя канцелярии?

Кольвиль. Еще бы!

Бисиу *(чиня перо)*. И что же получается?

Кольвиль. Получается вот что: сначала *«предан канцелярии...»* Понимаете? *«р-д-п-к»*, — а в конце *«иная цель»*, то есть, начав с административной деятельности, он затем ее бросит и сделает карьеру в другом месте. *(Повторяет.)* «Предан канцелярии...», но потом у него *«иная цель»*.

Дюток. Довольно странно.

Бисиу. А Изидор Бодуайе?

Кольвиль *(таинственно)*. Никому, кроме Тюилье, не хотел бы я открыть, что я там обнаружил.

Бисиу. Держу пари на завтрак, что я сам скажу.

Кольвиль. Готов заплатить, если вы скажете.

Бисиу. Значит, вы меня угощаете; но не горюйте, такие мастера, как мы с вами, позабавятся на славу. Итак, из слов *«я — господин Бодуайе»* извлекается *«гуся бей...»*.

Кольвиль *(поражен)*. Вы это у меня украли!

Бисиу *(торжественно)*. Господин де Кольвиль, окажите мне честь и поверьте, что у меня хватит ума на любую глупость, незачем мне красть их у ближнего.

Бодуайе *(входит, держа в руках папку)*. Вы, господа, судачили бы еще громче! Нечего сказать, хорошая слава пойдет о нашей канцелярии. Наш уважаемый господин Клержо оказал мне честь и лично явился ко мне получить кое-какие справки — и вот он слышал все ваши разговоры. *(Проходит к Годару.)*

Бисиу *(вполголоса)*. Гусь что-то очень кроток нынче, в воздухе пахнет переменами.

Дюток *(к Бисиу)*. Я хочу вам сказать словечко.

Бисиу *(ощупывая жилет Дютока)*. У вас приятный жилет... Вы приобрели его почти даром — не это ли вы хотели сказать?

Дюток. Как — даром? Ни за одну вещь я еще не платил так дорого! Шесть франков за локоть в большом магазине на улице Мира, отличная матовая ткань, очень хороша для глубокого траура.

Бисиу. В гравюрах вы знаток, а об этикете понятия не имеете. Нельзя, конечно, все объять. Так вот — при глубоком трауре носить шелк не принято. Поэтому я ношу только шерсть. Господин Рабурден, господин Клержо, министр — носят только шерсть. Все Сен-Жерменское предместье — только шерсть. Один Минар не носит шерсти, но он боится, как бы его не назвали Шерстоносом — ведь буколическая поэзия так называет барана; вот почему он даже отменил для себя траур по Людовику Восемнадцатому, а это был, как известно, великий законодатель, автор хартии и умный человек, король, который удерживает за собой место в истории, как он удержал его на престоле, как он удерживал его повсюду; ибо знаете ли вы его самое замечательнейшее деяние? Нет? Так вот! Когда он вторично вернулся во Францию и принимал у себя всех союзных государей, он прошел впереди всех и сел первый за обеденный стол.

Помье *(глядя на Дютока)*. Однако я не вижу...

Дюток *(глядя на Помье)*. И я тоже.

Бисиу. Не понимаете? Ну, он хотел показать, что не считает себя хозяином. Сколько в этом остроумия, величия и лапидарной выразительности! А государи, как и вы, ничего не поняли, даже когда стали совещаться. Правда, почти все были иностранцы...

*(Во время этого разговора Бодуайе стоит возле камина в кабинете своего помощника и беседует с ним вполголоса.)*

Бодуайе. Да, этот достойнейший человек умирает. Там оба министра, чтобы присутствовать при его последнем вздохе; моего тестя только что известили... Хотите оказать мне большое одолжение? Наймите кабриолет и поезжайте предупредить мою жену; господин Сайяр не может отойти от кассы, а я не решаюсь оставить канцелярию. Будьте в распоряжении госпожи Бодуайе, у нее, кажется, есть свои планы, и, может быть, она захочет тут же предпринять некоторые шаги...

*(Оба чиновника выходят из кабинета.)*

Годар. Господин Бисиу, я уезжаю на весь день, прошу вас заменить меня.

Бодуайе *(к Бисиу, с простодушным видом)*. Если вам нужен будет совет, обращайтесь ко мне.

Бисиу. Ну, значит, ла Биллардиер действительно приказал долго жить.

Дюток *(на ухо Бисиу)*. Пойдемте, проводите меня.

*(Бисиу и Дюток выходят в коридор и смотрят друг на друга, как два авгура.)*

Дюток *(на ухо Бисиу)*. Слушайте! Сейчас самое подходящее время... давайте сговоримся, как нам получить повышение. Что, если вам сделаться правителем канцелярии, а мне — вашим помощником?

Бисиу *(пожимает плечами)*. Полноте, что за шутки!

Дюток. Если назначат Бодуайе, Рабурден ни за что не останется, он подаст в отставку. А ведь, между нами, Бодуайе — такая бездарность, что если вы с дю Брюэлем не захотите помогать ему, его через два месяца выгонят. И тогда для нас откроются целых три местечка, на выбор!

Бисиу. И эти три местечка преспокойно уплывут у нас из рук, их отдадут каким-нибудь пузанам, лакеям, шпионам, ставленникам Конгрегации, какому-нибудь Кольвилю, жена которого кончила тем, чем обычно кончают хорошенькие женщины, — ударилась в благочестие.

Дюток. Все от вас зависит, милейший! Хотя бы раз в жизни употребите свой ум с толком. *(Смолкает, словно желая проверить, какое впечатление его слова произведут на Бисиу.)* Давайте играть вместе и — в открытую!

Бисиу *(бесстрастно)*. Покажите ваши карты!

Дюток. Я лично хочу только быть помощником; я себя знаю, у меня нет ваших данных — куда уж мне лезть в правители канцелярии! Дю Брюэль может стать начальником отделения, вы — правителем канцелярии; когда он набьет карман, то уступит вам свое место. А я, у вас под крылышком, как-нибудь полегоньку дотяну до отставки.

Бисиу. Хитрец! Но как вы осуществите ваш план? Ведь надо будет оказать давление на министра, вышвырнуть способного чиновника! Между нами, ведь Рабурден — единственный толковый человек во всем отделении, а может быть, и во всем министерстве. И вопрос идет о том, чтобы на его место посадить глупость в квадрате, тупость в кубе, то есть *делокоптителя* Бодуайе.

Дюток *(приосанившись)*. Милейший, да будет вам известно, что я могу поднять против Рабурдена всех наших чиновников! Уж на что Флeри к нему привержен, — ну так вот, даже Флeри будет его презирать!

Бисиу. Флeри? Презирать его?

Дюток. У Рабурдена не останется ни одного сторонника. Чиновники все поголовно пойдут жаловаться на него министру, и не только из нашего отделения, но от Клержо, от Буа-Левана, из других министерств...

Бисиу. Вот тебе раз! Кавалерия, пехота, артиллерия и моряки — вперед! Да вы бредите, сударь! А я тут при чем?

Дюток. Нарисуйте такую злую карикатуру, чтобы ею можно было убить человека.

Бисиу. Заплатите?

Дюток. Сто франков.

Бисиу *(про себя)*. Тут что-то есть.

Дюток. Надо изобразить Рабурдена в виде мясника, но чтобы было очень похоже, создать этакую аналогию между канцелярией и кухней, вложить ему в руку здоровенный кухонный нож, представить старших чиновников министерства в виде кур и уток, посадить их в огромную клетку и на ней написать: «Приговоренные к служебной казни», и пусть Рабурден стоит в такой позе, будто собирается одному за другим отрубить голову. И пусть у этих кур, уток и гусей головы напоминают наших чиновников — так сказать, намек, смутное портретное сходство, понимаете? И пусть он держит в руках одну из этих птиц, ну, например, Бодуайе — скажем, в виде индюка.

Бисиу. «Гуся бей»? *(Смотрит на Дютока долгим взглядом.)* Это вы сами придумали?

Дюток. Да, я.

Бисиу *(в сторону)*. Неужели сильные чувства могут заменить талант? *(Дютоку.)* Хорошо, карикатура будет...

*(У Дютока невольно вырывается жест радости.)*

когда... *(многозначительная пауза)* я буду знать, на что опереться: в случае вашей неудачи я ведь потеряю место; но мне же надо чем-нибудь жить. А вы, дорогой коллега, как это ни странно, все-таки славный малый.

Дюток. Что ж, отдавайте карикатуру в литографию, только когда успех будет обеспечен.

Бисиу. Почему вы сразу не хотите все сказать?

Дюток. Надо сначала пронюхать, чем у нас пахнет... Мы еще поговорим... *(Уходит)*.

Бисиу *(остается в коридоре один)*. У этого ската, жаренного в масле, — он скорее похож на хищную рыбу, чем на какую-нибудь безобидную курицу, — у этого Дютока — превосходная мысль, не знаю, где он ее взял. Если *делокоптитель* Бодуайе сядет на место ла Биллардиера — будет очень забавно, больше чем забавно: на руку нам! *(Возвращается в канцелярию.)* Господа, нас ожидают великие перемены, папаша ла Биллардиер решительно умер. Без шуток! Честное слово! Уже Годар уехал выполнять поручения нашего уважаемого начальника, Бодуайе, предполагаемого преемника покойного.

*(Минар, Деруа, Кольвиль удивленно поднимают головы, кладут перья; Кольвиль сморкается.)*

Теперь и нас повысят! Кольвиля сделают по крайней мере помощником, Минар, может быть, станет делопроизводителем — почему бы и нет? Он так же глуп, как я. Ну что, Минар, если бы вы получали две с половиной тысячи — вот ваша женушка была бы довольна, а вы купили бы себе сапоги!

Кольвиль. Но у вас у самих еще нет этих двух с половиной тысяч.

Бисиу. Дюток получает же их у Рабурдена, почему бы и мне не иметь в этом году? И господин Бодуайе получал!

Кольвиль. Только благодаря господину Сайяру. В отделении Клержо ни один из делопроизводителей столько не получает.

Помье. Вот как? Кошен разве не имеет трех тысяч? Он сменил Вавассера, а тот во времена Империи просидел десять лет на четырех тысячах, при первой Реставрации ему сбавили до трех, и умер он, получая всего две с половиной. Но благодаря протекции брата Кошену накинули еще полтысячи.

Кольвиль. Господина Кошена зовут Эмиль-Луи-Люсьен-Эмманюэль, таким образом, в его анаграмму входит слово «кошениль». И он действительно состоит пайщиком москательного магазина на улице Ломбардцев — фирма Матифá, который разбогател, спекулируя именно на этом колониальном товаре.

Бисиу. Бедняга, он целый год путался с Флориной.

Кольвиль. Кошен иногда бывает на наших вечерах, он первоклассный скрипач. *(К Бисиу, который еще не приступил к работе.)* Вам бы следовало прийти к нам в ближайший вторник — послушать концерт. Мы будем играть квинтет Рейши[[69]](#footnote-69).

Бисиу. Благодарю, я предпочитаю прочесть партитуру.

Кольвиль. Вы это говорите ради красного словца?.. Ведь истинный художник не может не любить музыку.

Бисиу. Приду, но только ради вашей жены.

Бодуайе *(возвращаясь)*. Господина Шазеля все еще нет? Передайте ему поклон, господа!

Бисиу *(заслышав шаги Бодуайе, положил чью-то шляпу на место Шазеля)*. Простите, сударь, он пошел за справкой для вас к рабурденцам.

Шазель *(входит, он в шляпе, не замечает Бодуайе)*. Папаша ла Биллардиер отправился на тот свет, господа! Теперь Рабурден — начальник отделения, докладчик государственного совета! Кто-кто, а он заслужил это назначение...

Бодуайе *(Шазелю)*. Вероятно, эти сведения упали с потолка прямо в вашу вторую шляпу, сударь? *(Показывает ему шляпу, лежащую на стуле.)* Уже третий раз с начала месяца вы являетесь в десятом часу; если так будет продолжаться, вы очень продвинетесь, только вопрос — в каком направлении? *(К Бисиу, который читает газету.)* Дорогой господин Бисиу, ради бога, отдайте газету этим господам — они собираются завтракать — и пройдите ко мне: надо приниматься за срочные дела. Не знаю, куда запропастился Габриэль; кажется, господин Рабурден держит его для своих личных поручений, я уже три раза звонил понапрасну.

*(Бодуайе снова удаляется в кабинет, с ним уходит и Бисиу.)*

Шазель. Проклятая жизнь!

Помье *(он в восторге, что может подразнить Шазеля)*. Разве вам внизу не сказали, что он здесь? Неужели, входя сюда, вы не заметили, что на вашем месте лежит шляпа, а что слон...

Кольвиль *(смеясь)*. В зверинце.

Помье. Он достаточно толст, чтобы его заметить...

Шазель *(в отчаянии)*. Черт возьми, за какие-то несчастные четыре франка семьдесят пять сантимов в день от нас требуют, чтобы мы были рабами!

Флeри *(входя)*. Долой Бодуайе! Да здравствует Рабурден! Этого хочет все отделение.

Шазель *(горячится)*. Если угодно, пусть Бодуайе увольняет меня, я плакать не буду. В Париже найдется тысяча способов заработать пять франков в день! Хотя бы в суде, переписывать бумаги для стряпчих...

Помье *(продолжая дразнить Шазеля)*. Вы только так говорите, а все-таки место есть место! Вон наш храбрый Кольвиль; он работает, как каторжный, на стороне, и если бы потерял должность — он мог бы музыкой заработать гораздо больше, чем ему платят здесь! А видите, он все-таки держится за свое место! Еще бы! Кто же отказывается от своих надежд!

Шазель *(продолжая негодовать)*. Он — да, но не я! Разве свет клином сошелся? Черт побери! Верно, было время, когда все только и мечтали о чиновничьей карьере. В армии набралось столько народу, что в канцеляриях стало его не хватать. И всякие беззубые старики да молодые люди без ноги или руки, дохлые, как Помье, или близорукие, быстро пошли в гору. В лицеях кишмя кишело детьми, а их родителей пленял образ молодого человека в очках, в синем фраке, с огненной ленточкой в петлице: он получает в месяц тысячу только за то, чтобы чем-то ведать, а чем — бог его знает; он торчит в министерстве по нескольку часов в день, приходит туда поздно, уходит рано, имеет, как лорд Байрон, свой досуг, сочиняет романсы, прогуливается, задрав нос, по Тюильрийскому саду, везде бывает: в театре, на бале, принят в лучших домах и бесшабашно тратит свое жалованье, возвращая Франции все, что она дает ему, и даже оказывая ей услугу. Тогда нашего брата, как теперь господина Тюилье, баловали хорошенькие женщины; чиновники, видно, были умнее, они не засиживались в канцеляриях. В те счастливые времена все имели свои причуды: императрицы, королевы, принцессы, супруги маршалов. У прекрасных дам была страсть, присущая прекрасным душам: они любили оказывать покровительство. Поэтому молодого человека двадцати пяти лет, бывало, уже рукой не достанешь, он мог уже быть аудитором или докладчиком государственного совета... являться с докладами к самому императору, развлекать его высокое семейство! Одновременно и веселились и работали. Все делалось очень быстро. Но с тех пор как палата придумала особые рубрики для расходов и для штатов под названием «личный состав», мы хуже солдат. Самая ничтожная должность зависит от тысячи случайностей, оттого что у нас теперь тысяча правителей...

Бисиу *(возвращается)*. Шазель с ума сошел? Где это он увидел тысячу правителей? Может быть, в собственном кармане?

Шазель. А вы сосчитайте: четыреста за мостом Согласия — он назван так потому, что ведет к палате, где можно любоваться постоянными разногласиями между левой и правой; еще триста — в конце улицы Турнон. Затем двор — его тоже приходится считать за триста, а ведь ему нужна воля в семьсот раз более сильная, чем воля императора, чтобы добиться хоть какого-нибудь места для одного из своих ставленников!

Флeри. Значит, в стране, где есть три власти, можно поставить тысячу против одного, что чиновник без покровителя никогда не получит повышения.

Бисиу *(глядя то на Флeри, то на Шазеля)*. Ах, дети мои, вы еще до сих пор не поняли, что это не в нашей власти: ведь мы сами во власти государственной власти.

Флeри. Оттого что наше правительство конституционное.

Кольвиль. Господа, бросим политику!

Бисиу. Флeри прав. В наши дни, господа, служить государству — это совсем другое, чем служить государю, который умел и наказывать и награждать! Нынче государство — это все. А все не заботятся ни о ком. Служить всем — значит не служить никому. Никто никем не интересуется. И чиновнику приходится жить между этих двух отрицаний. У «всех» нет ни жалости, ни уважения, ни души, ни разума. «Все» — это эгоисты, «все» забывают сегодня услуги, оказанные вчера. И напрасно вы будете с самых юных лет чувствовать себя, как господин Бодуайе, гениальным администратором, Шатобрианом докладных записок, Боссюэ циркуляров, Каналисом делопроизводства, Златоустом депеш, — существует печальный закон, направленный против одаренных чиновников, закон средних норм продвижения по службе. Эти роковые средние нормы определяются сопоставлением закона о повышениях со статистикой смертности. Поступив восемнадцати лет в какое-нибудь учреждение, человек начинает получать восемнадцать сотен только к тридцати годам, а жизнь Кольвиля нам доказывает, что ни женская изобретательность, ни поддержка нескольких пэров Франции, ни влияние нескольких депутатов ничего не значат: чиновник не может надеяться, что в пятьдесят лет он будет получать шесть тысяч.

А вместе с тем не существует ни одной свободной и независимой профессии, благодаря которой молодой человек, окончивший курс гуманитарных наук, прививший себе оспу и свободный от военной службы, молодой человек, не обладающий чрезмерным умом, но способный, за десять — двенадцать лет не сколотил бы себе капиталец в сорок пять тысяч франков и столько-то сантимов, с которого он получает постоянный доход, как мы наше жалованье — с той разницей, что нам его выплачивают отнюдь не пожизненно. За этот срок бакалейщик наживет себе ренту в десять тысяч франков, затем объявит себя несостоятельным или сделается председателем коммерческого суда. Художник, если он размалевал километр холста, заслужит орден Почетного легиона или вообразит себя непонятым гением. Литератор — или станет преподавать что-нибудь, или будет писать в газетах фельетоны по сто франков за тысячу строк, а не то окажется в тюрьме Сент-Пелажи за блестящий памфлет, разозливший иезуитов, который придаст ему огромный вес и превратит в политическую фигуру. Наконец, лодырь, если он совсем ничего не делал — ведь иные лодыри все-таки что-то делают, — успеет наделать долгов и подцепить вдову, которая их выплачивает. Священник получит сан епископа, хотя и без епархии; водевилист приобретет недвижимость, если даже, как дю Брюэль, не написал целиком ни одной пьесы. Смышленый и трезвый малый, занявшись учетом, даже при крошечном капитале, как у мадемуазель Тюилье, купит четверть паев конторы биржевого маклера. Но спустимся ниже! Мелкий клерк успеет сделаться нотариусом, тряпичник получит ренту в тысячу франков, самые жалкие рабочие могут стать фабрикантами. Но в круговороте нашей цивилизации, где бесконечное дробление принимается за прогресс, какой-нибудь Шазель существует, получая в день двадцать два су на душу!.. Он обречен на постоянные неприятности с портным, с сапожником... у него долги, он — ничто, и вдобавок он, видимо, впал в кретинизм! Что ж, господа? Давайте сделаем красивый жест! А? Подадим все в отставку... Флeри, Шазель, сворачивайте на другую дорогу и становитесь там великими людьми!

Шазель *(охлажденный речью Бисиу.)* Спасибо!

*(Общий смех.)*

Бисиу. Напрасно! Будь я на вашем месте, я бы не дожидался предложения от секретаря министра.

Шазель *(с тревогой)*. А какого предложения?

Бисиу. Одри[[70]](#footnote-70) сказал бы вам, и притом вежливее, чем де Люпо, что для вас есть место только на площади Согласия.

Помье *(стоит, обхватив печную трубу)*. Да и Бодуайе вас не пощадит, не беспокойтесь!

Флeри. И ко всему прочему — еще теперь этот Бодуайе! У вас не начальник, а сущая пила! Господин Рабурден — вот это человек! Он мне положил на стол столько работы, что вы бы здесь и в три дня не кончили... Ну, а он получит ее от меня сегодня же в четыре часа. Но зато он не будет стоять у меня над душой, если я захочу пойти поговорить с приятелями.

Бодуайе *(появляясь)*. Всякий имеет право порицать работу палаты и действия административной власти, но согласитесь сами, господа, — нужно делать это в другом месте, а не в канцелярии. *(Обращаясь к Флeри.)* А вы зачем здесь, сударь?

Флeри *(дерзко)*. Пришел предупредить моих коллег, что началась кутерьма. Дю Брюэля вызвали к секретарю министра, Дюток пошел туда же! Все гадают, кто же будет назначен.

Бодуайе *(уходя)*. А это, сударь, не ваше дело, возвращайтесь-ка к себе в канцелярию и не нарушайте порядок в моей...

Флeри *(уже в дверях)*. Какая несправедливость, если Рабурдена обойдут! Право, я тогда ухожу из министерства. *(Возвращается.)* Ну что, составили анаграмму, папаша Кольвиль?

Кольвиль. Да, вот она.

Флeри *(наклоняется над столом Кольвиля)*. Замечательно! Замечательно! И это непременно случится, если правительство будет продолжать свою политику лицемерия. *(Показывает знаками, что Бодуайе подслушивает за дверью.)* Пусть бы правительство честно заявило о своих намерениях, без задних мыслей, тогда либералы знали бы, что им делать. Но когда оно восстанавливает против себя своих лучших друзей, как, например, Шатобриана и Ройе-Коллара, газету «Деба», — просто жалость берет...

Кольвиль *(посоветовавшись со своими товарищами)*. Знаете что, Флeри, вы славный малый, но не рассуждайте здесь о политике, вы сами не понимаете, как нам вредите.

Флeри *(сухо)*. До свидания, господа. Пойду работать. *(Возвращается и говорит на ухо Бисиу.)* Ходят слухи, что у госпожи Кольвиль есть связи в Конгрегации.

Бисиу. Бедный муж!

Флeри. Вы не можете не сострить!

Кольвиль *(с тревогой)*. О чем это вы?

Флeри. Вчера сбор в нашем театре был опять тысяча экю, а все благодаря этой новой пьесе, хотя она идет уже в сороковой раз. Вам следовало бы посмотреть, декорации великолепны!

В это время де Люпо принимал в своем кабинете дю Брюэля, вслед за которым явился и Дюток. Де Люпо узнал от своего камердинера о смерти де ла Биллардиера и хотел угодить обоим министрам, выпустив в тот же вечер его некролог.

— Здравствуйте, милейший дю Брюэль, — сказал полуминистр помощнику начальника отделения, даже не предложив ему сесть. — Слышали? Ла Биллардиер скончался, оба министра были при нем, когда он причастился святых тайн. Старик очень настаивал на том, чтобы назначили Рабурдена: ему-де будет тяжело умирать, если он не получит обещания, что его преемником станет тот, кто столько лет за него работал. Видимо, агония — это такая пытка, что люди во всем сознаются... Министр согласился тем охотнее, что считает нужным, как и весь Совет, наградить господина Рабурдена за его многочисленные заслуги *(покачивает головой)*, да и государственный совет нуждается в его просвещенном опыте. Говорят, молодой господин де ла Биллардиер уходит из отделения своего покойного отца в комиссию хранителя государственной печати. Это все равно, что получить от короля в подарок сто тысяч: ведь это место можно продать, как нотариальную контору. Ваше отделение порадуется, Бенжамен мог быть назначен именно туда. Слушайте, дю Брюэль, надо бы набросать о старике заметку в десять — двенадцать строк, знаете — как для отдела «происшествий»; может быть, попадется на глаза их превосходительствам *(просматривает газеты)*. Вам известна биография папаши ла Биллардиера?

Дю Брюэль виновато покачал головой.

— Нет? — удивился де Люпо. — Так вот, он был участником вандейских событий, одним из доверенных лиц покойного короля; подобно графу де Фонтэну, он так и не пожелал сговориться с первым консулом. Немножко пошуанил[[71]](#footnote-71). Родился в Бретани, в старой судейской семье, дворянство было получено только при Людовике Восемнадцатом. Сколько ему было лет? Не все ли равно! Ну, словом, устройте это... «Неподкупная честность»... «просвещенное благочестие» (у бедняги была мания, он решил, что никогда не переступит порога церкви); потом прибавьте еще «преданный слуга». Ловко намекните на то, что при вступлении на престол Карла Десятого он мог бы, как евангельский Симеон, возгласить: «Ныне отпущаеши». Граф д'Артуа очень ценил ла Биллардиера: покойник имел отношение к этой несчастной операции под Кибероном[[72]](#footnote-72) и всю вину взял на себя. И знаете, ведь ла Биллардиер выгородил короля. Он опубликовал специальную брошюру, в которой опровергал какого-то наглого газетчика, написавшего историю революции. Поэтому спокойно можете напирать на его преданность. Только смотрите, хорошенько взвешивайте ваши слова, чтобы другие газеты не подняли вас на смех, и покажите мне вашу статью. Вы были вчера у Рабурдена?

— Да, *ваше превосходительство*, — сказал дю Брюэль. — Ах, простите, обмолвился!

— Ничего, не беда, — смеясь, отвечал де Люпо.

— Жена у Рабурдена чудо как хороша, — продолжал дю Брюэль, — второй такой не найдешь во всем Париже: остроумные есть — но нет в них той пленительности остроумия; и есть, конечно, женщины красивее Селестины, но трудно найти женщину, которая бы умела так разнообразить свою красоту. Да, госпожа Рабурден куда лучше госпожи Кольвиль! — добавил водевилист, вспомнив про интрижку де Люпо. — Флавия стала такой, как она есть, лишь благодаря общению с мужчинами, а госпожа Рабурден сама себя создала; она все знает; при ней опасно говорить намеками в расчете, что она не поймет. Будь у меня такая жена, я бы, кажется, всего добился.

— Вы умнее, чем разрешается быть писателю, — заметил де Люпо с некоторым высокомерием. Затем отвернулся и, увидев входящего Дютока, сказал: — А, здравствуйте, Дюток. Я вас вызвал вот зачем: одолжите мне вашего Шарле, если он полный; графиня совсем не знает Шарле.

Дю Брюэль удалился.

— Что это вы являетесь без зова? — резко обратился де Люпо к Дютоку, когда они остались одни. — Вы приходите ко мне в десять часов, когда я собираюсь завтракать с его превосходительством... Разве государство в опасности?

— Может быть, сударь! — отозвался Дюток. — Имей я честь встретиться с вами сегодня рано утром, вы, вероятно, не стали бы петь хвалебные гимны этому Рабурдену, — взгляните, что он о вас пишет.

Дюток расстегнул сюртук, извлек из левого кармана тетрадь с оттисками и, раскрыв ее на нужной странице, положил перед де Люпо. Потом он предусмотрительно запер дверь, ожидая, что сейчас секретарь министра придет в ярость. Вот что прочел де Люпо, пока Дюток отходил к двери:

«*Господин де Люпо.* Правительство унижает себя, открыто пользуясь услугами человека, специальность которого дипломатический сыск. К помощи подобной личности можно успешно прибегать в борьбе с политическими флибустьерами других кабинетов, но было бы жаль употреблять его для внутреннего розыска: он выше заурядного сыщика, он понимает, что такое план, он сумеет осуществить необходимую подлость и ловко замести следы».

Так в пяти-шести фразах был дан тонкий анализ де Люпо, как бы квинтэссенция того портрета-биографии, который мы набросали в начале нашего повествования. С первых же слов секретарю министра стало ясно, что ему дает оценку человек, гораздо более умный, чем он сам, и де Люпо решил ознакомиться подробно с этим исследованием, охватывавшим и тех, кто был близко, и тех, кто находился очень далеко и высоко, — но хотел сделать это, только когда останется один, не выдавая своих тайн такому человеку, как Дюток. Поэтому лицо де Люпо, когда он обратился к своему шпиону, было важно и спокойно. Секретарь министра, так же как стряпчие, судьи, дипломаты, — словом, все, кому приходится копаться в человеческой душе, уже привык ничему не удивляться. Он привык к предательствам, к уловкам ненависти, к западням и, даже получив удар ножом в спину, способен был сохранять на своем лице выражение полной невозмутимости.

— Откуда вы раздобыли эту тетрадь?

Дюток рассказал, как ему повезло; де Люпо слушал его, не выказывая ни малейшего одобрения. Поэтому шпион, начав свой рассказ в победоносном тоне, к концу совершенно оробел.

— Дюток, вы сунулись не в свое дело, — сухо заметил секретарь министра. — Если вы не хотите нажить себе могущественных врагов, то держите язык за зубами; этот труд имеет чрезвычайную важность, и он мне известен.

И де Люпо отослал Дютока таким взглядом, который красноречивей слов.

«А-а! Значит, мерзавец Рабурден и сюда влез! — решил Дюток, охваченный ужасом при мысли о том, что его начальник соперничает с ним в той же области. — Но он командует в штабе, а я просто пехотинец! Никогда бы не поверил!»

Ко всему, что вызывало его негодование против Рабурдена, примешалась еще зависть профессионала к своему коллеге, а зависть, как известно, — один из наиболее действенных элементов ненависти.

Когда де Люпо остался один, он погрузился в странное раздумье. Чьим орудием был его обвинитель? Следует ли воспользоваться этими необыкновенными документами, чтобы погубить Рабурдена или чтобы добиться благосклонности его жены? Но он никак не мог этого решить и с ужасом пробегал одну за другой страницы донесения, где люди, которых он знал, были разобраны с невообразимой глубиной. И он невольно восхищался Рабурденом, вместе с тем чувствуя, что уязвлен в самое сердце. Де Люпо еще читал, когда настало время завтракать.

— Поторопитесь, а то вы заставите его превосходительство ждать вас, — сказал пришедший за ним камердинер министра.

Министр обычно завтракал с женой, детьми и де Люпо; слуг при этом не было. Утренний завтрак — тот часок, который государственным деятелям удается урвать у своих бесчисленных и неотложных дел и отдать семье. Однако, невзирая на рогатки, ограждающие от посторонних этот час домашних бесед и непринужденного общения с семьей и близкими, немало больших и маленьких людей умудряются проникнуть к министру. И нередко государственные дела вторгаются в тихий мирок семейных радостей; так было и сейчас.

— А я-то считал, что Рабурден выше обыкновенных чиновников; и вдруг он, буквально через десять минут после смерти ла Биллардиера, посылает мне с ла Бриером какую-то дурацкую записку. Прочитайте! — обратился министр к де Люпо, протягивая ему бумажку, которую вертел в руках.

Рабурден был слишком чист, чтобы думать о том постыдном смысле, который приобретала его записка после смерти ла Биллардиера, и, узнав о его кончине от ла Бриера, не взял этой записки обратно. Де Люпо прочел в ней следующее:

«*Ваше превосходительство!*

Если двадцать три года безупречной службы дают право на какую-то милость, то умоляю вас принять меня сегодня же. Дело идет о моей чести».

За этим следовали обычные формулы вежливости.

— Бедняга! — сказал де Люпо соболезнующим тоном, только подтвердившим ошибочные предположения министра. — Здесь все свои, пусть войдет. В другое время вы не можете его принять: после заседания палаты у вас Совет, и вашему превосходительству придется отвечать оппозиции. — Де Люпо встал, вызвал служителя, шепнул ему что-то на ухо и снова сел за стол. — Я сказал, что вы примете его за десертом.

Подобно всем министрам Реставрации, и этот министр был немолод. К несчастью, хартия, дарованная Людовиком XVIII, связала руки королям, принуждая их отдавать судьбы страны во власть сорокалетних мужчин из палаты депутатов и семидесятилетних старцев из палаты пэров, и лишила их права привлекать к государственной деятельности людей, политически одаренных, хотя бы и молодых или занимающих ничтожное положение в обществе. Только Наполеон выдвигал молодых людей по своему выбору, не стесняя себя никакими побочными соображениями. Поэтому-то, после падения столь великой воли, люди, одаренные энергией, устремились в другие области. Но когда силу сменяет слабость, для Франции этот контраст более опасен, чем для какой-либо другой страны. Министры, получавшие власть в старости, оказывались обычно весьма посредственными государственными деятелями, тогда как министры, призванные к деятельности смолоду, всегда бывали гордостью европейских монархий и республик, делами которых они руководили.

Еще у всех жила в памяти борьба Питта и Наполеона, двух людей, руководивших политикой в том же возрасте, в каком Генрих Наваррский, Ришелье, Мазарини, Кольбер, Лувуа, принц Оранский, Гизы, ла Ровер, Макиавелли — словом, все прославившиеся великие люди, вышедшие из низов или родившиеся возле престола, начинали править государством. Конвент, этот образец энергии, состоял в большей своей части из людей молодых; и правители не должны забывать, что он имел силы противопоставить европейским странам четырнадцать армий и что его политика, столь роковая для Франции в глазах тех, кто держится за так называемый абсолютизм, была, по существу, подсказана подлинно монархическими принципами, ибо Конвент вел себя как великий монарх.

Министр же, о котором идет речь, был поднят на щит своей партией, видевшей в нем как бы своего управляющего делами лишь после десяти — двенадцати лет парламентской борьбы, когда его уже потрепали невзгоды политической жизни. На его счастье, ему было уже далеко за пятьдесят; если бы он сохранил в себе хоть остаток юношеской энергии, он бы долго не продержался на своем посту. Но, привыкнув в нужную минуту прерывать борьбу, отступать и вновь переходить к нападению, спокойно выдерживая удары, которые ему наносили и его партия, и оппозиция, и двор, и духовенство, он всему противопоставлял силу своей инерции, податливой и вместе с тем упругой; в этой немощности были тоже свои выгоды. Его ум, издерганный тысячью государственных забот, был подобен уму старого стряпчего, истаскавшегося по судам, и уже лишен той живой силы, которую сохраняет одинокий мыслитель, той способности к быстрым решениям, которой обладают люди, рано начавшие действовать, и молодые военные. Да и могло ли быть иначе? Вместо того чтобы судить, он занимался крючкотворством и, не зная причин, критиковал следствия; его голова была забита предложениями мелких реформ, которыми партия засыпает своего вожака, программами, которые кто-то, руководясь частными интересами, подсовывает многообещающему оратору, навязывая ему невыполнимые планы и советы. Он пришел к власти не в расцвете сил, а уже обессиленный всеми этими ходами и контрходами. Утверждаясь на вершине, составлявшей предмет его давних желаний, он вынужден был продираться сквозь колючие заросли, сталкиваться со множеством чужих противоречивых стремлений, которые надо было согласовать.

Если бы государственные деятели Реставрации имели возможность осуществлять свои собственные замыслы, вероятно, их дарования меньше подвергались бы критике; однако, хотя они и подчинялись чужой воле, все же возраст спасал их, не допуская слишком решительного сопротивления, какое они, будучи молодыми, оказали бы низким интригам высоких лиц; даже Ришелье бывал жертвой этих интриг. И вот в их сеть, хотя и ограниченную гораздо более узкой сферой, должен был попасться Рабурден. После тревог первых парламентских сражений эти люди, не столь старые, сколь преждевременно одряхлевшие, переходили к тревогам министерской борьбы. И поэтому, когда нужна была орлиная зоркость, их зрение оказывалось слабым, и когда от их ума требовалась двойная острота, он был уже истощен.

Министр, которому Рабурден хотел открыться, ежедневно выслушивал людей бесспорно выдающихся, излагавших ему остроумнейшие теории, иногда применимые к жизни Франции, иногда нет. Эти люди, не имевшие понятия о трудностях общегосударственной политики, осаждали его после парламентских схваток, в которых он участвовал, после борьбы с дурацкими происками двора, в часы, когда он готовился к бою с общественным мнением или отдыхал после бурных дебатов по поводу какого-нибудь дипломатического вопроса, разделившего Совет на три лагеря.

При таком положении дел официальное лицо, конечно, всегда держит наготове зевок для первых же слов об улучшении общественного устройства.

В те времена не проходило ни одного обеда без того, чтобы наиболее смелые спекуляторы, закулисные политиканы и финансисты не резюмировали в нескольких глубокомысленных словах мнений, высказанных биржей и банками или подслушанных у дипломатов, и планов, касающихся судеб всей Европы. Впрочем, г-н де Люпо и личный секретарь составляли при министре как бы некий малый совет, который обычно и пережевывал всю эту жвачку, контролировал и анализировал интересы, скрывавшиеся за столькими убедительнейшими предложениями. И, наконец, главная беда министра — беда всех шестидесятилетних министров — состояла в том, что он, борясь с трудностями, действовал не напрямик, а в обход: например, ежедневную прессу он старался придушить потихоньку, вместо того чтобы открыто покончить с ней; точно так же вел он себя в отношении финансов и промышленности, духовенства и национальных имуществ, либералов и палаты. Расправившись за семь лет со всеми своими противниками и добившись желанного поста, министр решил, что может так же расправляться и со всеми возникавшими перед ним вопросами. Желание удержать власть теми же способами, какими она добыта, казалось всем настолько естественным, что никто не осмеливался порицать систему поведения, изобретенную посредственностью в угоду посредственностям. Реставрация и Польская революция показали народам и государям, какое значение имеет один великий человек и какая их постигает судьба, если такого человека не находится. Последний и самый большой недостаток государственных деятелей Реставрации состоял в том, что они в своей борьбе вели себя честно, между тем как их противники пускали в ход все виды политического мошенничества, ложь и клевету, натравливая на них, с помощью самых опасных приемов, темные массы, способные понимать только беспорядок.

Рабурден все это сознавал. Однако он решил рискнуть всем, как человек, которому игра уже наскучила и который разрешает себе только один последний ход; и вот, по воле случая, его противником в этой игре оказался шулер — де Люпо! При всей своей проницательности и административном опыте правитель канцелярии не мог вообразить, сколь близоруки парламентские деятели, и не представлял себе, что его великий труд, которому он отдал свою жизнь, будет воспринят министром как пустое умствование и что этот государственный деятель неизбежно поставит его на одну доску с новаторами, ораторствующими за десертом, и с болтунами, рассуждающими у камина.

В ту минуту, когда министр, встав из-за стола, думал вовсе не о Рабурдене, а о Франсуа Келлере и задержался в столовой лишь потому, что супруга протянула ему кисть винограда, служитель доложил о приходе правителя канцелярии. Де Люпо знал заранее, в каком расположении духа окажется министр, занятый предстоящим ему выступлением; видя, что его начальником завладела супруга, он сам пошел навстречу Рабурдену и первой же фразой поразил его как громом.

— Его превосходительство и я в курсе того, что вас тревожит, и вам нечего опасаться, — тут де Люпо понизил голос, — ни со стороны Дютока, — а затем продолжал громко: — ни с чьей-либо стороны.

— Не тревожьтесь, Рабурден, — подтвердил его превосходительство ласковым тоном, однако явно намереваясь удалиться.

Рабурден почтительно приблизился, и министру пришлось остаться.

— Я прошу ваше превосходительство великодушно разрешить мне сказать вам несколько слов наедине... — обратился он к министру, бросив ему многозначительный взгляд.

Его превосходительство посмотрел на часы и отошел с бедным Рабурденом к окну.

— Когда я буду иметь честь изложить вашему превосходительству план административного преобразования, разработанный в докладе, который намереваются опорочить?

— План преобразования? — нахмурившись, прервал его министр. — Если хотите мне сообщить что-нибудь в этом роде, подождите, пока мы начнем работать вместе. У меня сегодня Совет, потом я должен выступать в палате по поводу инцидента, который произошел вчера в конце заседания в связи с выступлением оппозиции. Приходите ко мне с докладом в следующую среду, вчера я не мог принять вас и заняться делами министерства. Политические задачи оттеснили задачи чисто административные.

— Я вверяю вам свою честь, ваше превосходительство, — торжественно отвечал Рабурден, — и умоляю вас не забывать, что вы не дали мне времени объясниться по поводу выкраденных бумаг...

— Да вам нечего беспокоиться, — перебил Рабурдена де Люпо, становясь между ним и министром. — Не пройдет и недели, как вы наверняка получите назначение...

Министр засмеялся, вспомнив, как де Люпо восхищается г-жой Рабурден, и переглянулся с женой, которая ответила ему улыбкой. Рабурден, изумленный этой немой сценой, силился разгадать ее смысл, он на миг отвел взгляд от министра, и тот поспешил выйти.

— Мы все это еще обсудим, — сказал де Люпо Рабурдену, который не без удивления заметил, что министра перед ним уже нет. — И не сердитесь на Дютока, я отвечаю за него.

— Госпожа Рабурден — прелестная женщина, — заметила жена министра правителю канцелярии, лишь бы сказать что-нибудь.

Дети с любопытством рассматривали Рабурдена. А Рабурден, готовившийся к этой торжественной минуте, напоминал теперь крупную рыбу, попавшуюся в мелкую сеть.

— Вы очень добры, графиня, — отозвался он.

— Надеюсь, я буду иметь удовольствие видеть ее на одной из моих сред, — продолжала та, — привезите ее как-нибудь, я буду вам очень обязана...

— Госпожа Рабурден сама принимает по средам, — отвечал де Люпо, знавший, какая скука царит на официальных министерских средах. — Но если вы так добры к ней, то у вас, кажется, будет скоро маленький вечер...

Супруга министра поднялась, рассерженная.

— Вы ведь мой церемониймейстер, — бросила она де Люпо.

Этими словами она дала понять секретарю, что недовольна его посягательством на ее интимные вечера, куда допускались только избранные. Затем она кивнула Рабурдену и вышла. Итак, в маленькой гостиной, где министр завтракал в кругу семьи, де Люпо и Рабурден остались с глазу на глаз. Де Люпо комкал в руке конфиденциальную бумагу, переданную ла Бриером министру. Рабурден узнал свое письмо.

— Вы меня плохо знаете, — улыбаясь, сказал секретарь министра правителю канцелярии. — В пятницу вечером мы договоримся окончательно. А сейчас мне придется начать прием, сегодня министр навязал его мне, он готовится к выступлению в палате. Но, повторяю вам, Рабурден, ничего не бойтесь.

Рабурден медленно спускался с лестницы, смущенный странным оборотом, который приняло дело. Он решил, что Дюток донес на него. Да, несомненно! У де Люпо в руках данные им характеристики всех чиновников, значит и суровое суждение Рабурдена о секретаре министра, а между тем де Люпо отнесся так ласково к своему судье! Было от чего потерять голову! Людям прямым и честным трудно разбираться в запутанных интригах, и Рабурден блуждал по этому лабиринту, не в силах отгадать, что за игру вел с ним секретарь министра.

«Или он не читал того, что я пишу о нем, или он любит мою жену!»

Таковы были два предположения, возникшие у Рабурдена, когда он выходил от министра, ибо перед ним, как молния, мелькнул тот взгляд, которым обменялись накануне Селестина и де Люпо.

Понятно, что за время отсутствия Рабурдена сослуживцы сильно волновались: в министерствах отношения между низшими и высшими чиновниками и их начальниками подчиняются столь строгому регламенту, что если министерский служитель приходит звать правителя канцелярии к его превосходительству, да еще в те часы, когда у министра нет приема, это порождает самые оживленные комментарии. Необычное приглашение совпало со смертью ла Биллардиера, и это обстоятельство показалось иным настолько важным, что Сайяр, узнав о нем от Клержо, даже пришел к зятю, чтобы все это с ним обсудить. Бисиу, занимавшийся в то время со своим начальником, предоставил ему беседовать с тестем, а сам поспешил в канцелярию Рабурдена, где вся работа приостановилась.

Бисиу *(входя)*. Не очень-то у вас тепло, господа... А вы и не знаете, что происходит внизу! Добродетельная Рабурдина провалилась! Да, уволена! У министра происходит сейчас ужасная сцена.

Дюток *(глядя на Бисиу)*. Правда?

Бисиу. А кто плакать будет? Не вы же! Вас сделают помощником, а дю Брюэля правителем. Начальником отделения будет господин Бодуайе.

Флeри. А я держу пари на сто франков, что этому Бодуайе не бывать начальником отделения.

Виме. Присоединяюсь к вашему пари. А вы, господин Пуаре?

Пуаре. Да ведь я первого января выхожу в отставку.

Бисиу. Как, мы больше не увидим ваших шнурованных башмаков? Как же министерство обойдется без вас? Кто еще хочет держать пари?

Дюток. Не могу держать пари, если я знаю наверняка: господин Рабурден назначен. Ла Биллардиер на смертном одре сам просил об этом двух министров и каялся, что получал жалованье за работу, которую делал Рабурден; старика начала мучить совесть, и министры, чтобы успокоить его, обещали назначить Рабурдена, если не последует какого-нибудь приказа свыше.

Бисиу. Так вы, господа, держите пари против меня: вас уже семеро? Ведь вы, конечно, к ним присоединитесь, господин Фельон? Я держу пари на обед в пятьсот франков в «Роше-де-Канкаль», что Рабурден не получит места ла Биллардиера. Вам это обойдется меньше, чем по сто франков на человека, а я рискую пятью сотнями. Иду один против всех. Согласны? Ну как, дю Брюэль?

Фельон *(кладет перо)*. На чем основываете вы, *судáрь*, столь сомнительное предложение? Да, сомнительное! Впрочем, я напрасно употребляю термин «предложение», следовало бы сказать «договор», ибо заключение пари есть заключение договора.

Флeри. Нет, это не так... Договором называется соглашение, предусмотренное законом, а пари не предусмотрено законом.

Дюток. Оно запрещено законом — значит, предусмотрено!

Бисиу. Вот это ловко сказано, мой маленький Дюток!

Пуаре. Ну и рассуждения!

Флeри. Он прав. Ведь если отказываешься платить долги, значит, тем самым признаешь их наличие.

Тюилье. Да вы прямо великие юристы!

Пуаре. Я бы хотел знать, так же как и господин Фельон, что, собственно, за основания у господина Бисиу...

Бисиу *(кричит на всю канцелярию)*. Ну что ж, будете держать пари, дю Брюэль?

Дю Брюэль *(показывается в дверях)*. Тысяча чер...нильниц, господа, мне предстоит нелегкое дело — воспеть хвалу покойному ла Биллардиеру. Бога ради, помолчите: будете и пари держать и *парировать* шутки потом.

Тюилье. *Пари* держать и *парировать* ! Вы покушаетесь на мои каламбуры!

Бисиу *(идет в канцелярию дю Брюэля)*. Верно, дю Брюэль, прославлять — дело весьма трудное, мне было бы легче нарисовать на него карикатуру.

Дю Брюэль. Помоги-ка мне, Бисиу.

Бисиу. Ну что ж, давай! Только такие заметки легче писать за едой.

Дю Брюэль. Пообедаем вместе. *(Читает.)*

«Каждый день религия и монархия теряют кого-нибудь из тех, кто сражался за них во время революции...»

Бисиу. Плохо. Я бы написал так.

«Смерть особенно безжалостно опустошает ряды старейших защитников монархии и преданнейших слуг короля, у которого сердце обливается кровью от всех этих ударов. *(Дю Брюэль торопливо записывает.)* Барон Фламе де ла Биллардиер скончался сегодня утром от водянки легких, вызванной болезнью сердца».

Видишь ли, не мешает показать, что и у чиновников есть сердце. Не подпустить ли здесь банальную фразочку насчет того, чтó переживали роялисты во время террора? А? Было бы недурно! Впрочем, нет, мелкие газетки сейчас же закричат, что эти испытания отразились больше на кишечнике, чем на сердце. Умолчим. Ну, как у тебя там дальше?

Дю Брюэль *(читает)*. «Родословное древо старинной судейской семьи, отпрыском которой был покойный...»

Бисиу. Вот это очень хорошо! И поэтично и насчет *древа* вполне соответствует истине.

Дю Брюэль *(продолжает)*, «...и где преданность престолу передавалась из рода в род, вместе с приверженностью к вере отцов, — было еще украшено господином де ла Биллардиером».

Бисиу. Я написал бы «бароном».

Дю Брюэль. Да ведь он не был бароном в 1793 году!

Бисиу. Все равно! Ты знаешь, во времена Империи Фуше рассказывал анекдот про Конвент и так передавал слова Робеспьера: «Робеспьер мне и говорит: *Герцог Отрантский*, вы пойдете в ратушу». Значит, прецедент есть.

Дю Брюэль. Дай-ка я запишу!.. Но все же сразу говорить «барон» не годится, я перечисляю в конце все милости, которыми его осыпали.

Бисиу. А, понимаю! Театральный эффект! Так сказать, под занавес!

Дю Брюэль. Вот слушай!

«Сделав господина де ла Биллардиера бароном, ординарным камер-юнкером...»

Бисиу *(в сторону)*. Вот уж верно: весьма *ординарным!*

Дю Брюэль *(продолжает)*, «...и проч., и проч., король вознаградил его сразу за все услуги, за умение примирять суровость судьи с кротостью, присущей Бурбонам, и за храбрость, присущую истинному вандейцу, не преклонившему колено пред идолом Империи. Он оставил сына, унаследовавшего его преданность и таланты» и т. д.

Бисиу. А тон не чересчур ли приподнят? Ты не слишком ли все это расписываешь? Я немножко приглушил бы эту поэзию — «идол Империи», «преклонить колено»... Эх, черт! Водевили портят стиль, и разучиваешься писать низменной прозой. По-моему, лучше: «Он принадлежал к тем немногим, кто...» и т. д. Упрощай, ведь ты пишешь о простофиле.

Дю Брюэль. Опять словцо из водевиля! Нет, Бисиу, ты мог бы нажить состояние своими пьесами.

Бисиу. А что ты написал насчет Киберона? *(Читает.)* Нет, не то! Вот как бы я выразился:

«В недавно вышедшем исследовании он выставил себя виновником всех неудач киберонской операции, показав этим пример преданности, не отступающей ни перед какими жертвами». Это тонко, умно, и ты выгораживаешь ла Биллардиера.

Дю Брюэль. За чей счет?

Бисиу *(торжественно, точно священник, восходящий на амвон)*. За счет Гоша и Тальена... Разве ты не знаешь истории?

Дю Брюэль. Нет. Я подписался на издание Бодуэна[[73]](#footnote-73), но еще не успел заглянуть в него: там ведь не найдешь сюжета для водевиля.

Фельон *(в дверях)*. Господин Бисиу, всем нам хотелось бы знать, почему вы думаете, что добродетельный и достойный господин Рабурден, который уже девять месяцев, как руководит отделением и служит правителем канцелярии дольше всех других, господин Рабурден, за которым министр, вернувшись от ла Биллардиера, сейчас же прислал служителя, — не будет назначен начальником отделения?

Бисиу. Папаша Фельон, вы географию знаете?

Фельон *(самодовольно)*. Надеюсь, сударь.

Бисиу. Историю?

Фельон *(скромно)*. В известной мере.

Бисиу *(смотрит на него)*. Ваша бриллиантовая запонка не застегнута, она сейчас выпадет. Ну, так вы не знаете человеческого сердца, оно известно вам, как известны окрестности Парижа, не больше.

Пуарe *(на ухо Виме)*. Окрестности Парижа? А я думал, речь идет о Рабурдене.

Бисиу. Что ж, вся канцелярия Рабурдена держит пари против меня?

Все. Да.

Бисиу. И ты, дю Брюэль?

Дю Брюэль. Я думаю! Пусть наш начальник получит повышение! Это же в наших интересах; тогда каждому дадут подняться на одну ступеньку.

Тюилье. Или каждого спустят с лестницы. *(На ухо Фельону.)* Хорош, нечего сказать.

Бисиу. А пари я все-таки выиграю. И вот по какой причине, — вам трудно будет понять ее, но я все-таки скажу. Господина Рабурдена следует назначить на место ла Биллардиера. *(Смотрит на Дютока.)* Справедливость требует этого: его старшинство, честность и таланты неоспоримы и должны быть оценены по достоинству и вознаграждены. Наконец, его назначение важно даже в интересах самой административной власти.

*(Фельон, Пуаре и Тюилье слушают, ничего не понимая, но пытаясь уловить темный смысл его слов).*

Так вот! Именно потому, что все эти соображения правильны и все его заслуги бесспорны, я хотя и признаю мудрость и своевременность такого назначения, но держу пари, что оно не состоится. Да! Оно провалится, как провалились Булонская экспедиция и поход в Россию[[74]](#footnote-74), хотя гений приложил тогда все усилия для успеха! Провалится, как все на земле, что хорошо и справедливо. Я делаю ставку на дьявола.

Дю Брюэль. А кто же тогда будет назначен?

Бисиу. Чем больше я смотрю на Бодуайе, тем больше мне кажется, что именно он — полная противоположность Рабурдену; следовательно, он и будет начальником отделения.

Дюток *(выведенный из терпения)*. Но ведь когда господин де Люпо меня вызвал, чтобы попросить у меня Шарле, он сам сказал мне, что господин Рабурден будет назначен, а молодой ла Биллардиер переходит в комиссию хранителя государственной печати.

Бисиу. Заладили! «Назначен! Назначен!» Назначение может быть подписано не раньше как через десять дней. Назначения будут производиться к новому году. Да вот, взгляните-ка на своего начальника, вон он, во дворе, и скажите сами, разве наша добродетельная Рабурдина похожа на человека, которого повысили? Напротив, можно подумать, что он уволен! *(Флeри бросается к окну.)* До свиданья, господа! Пойду и объявлю Бодуайе о том, что вы уже назначили Рабурдена. Пусть этот святоша побесится. А потом расскажу про наше пари, чтобы его утешить. В театре это, кажется, называется перипетией, — не так ли, дю Брюэль? Что ж тут такого? Если я выиграю, он возьмет меня помощником. *(Уходит.)*

Пуаре. Все уверяют, что этот господин умен, а я лично никогда не мог понять его рассуждений. *(Продолжает регистрировать.)* Слушаю, слушаю — слова слышу, а смысла в них нет. Вот он что-то тут плел насчет человеческого сердца и окрестностей Парижа *(кладет перо и подходит к печке)*, потом заявил, что он играет на руку черту, потом говорил про Булонскую экспедицию и поход в Россию. Но ведь надо сначала допустить, что черт играет, и знать, в какую же игру? Допустим, он может играть в домино... *(Сморкается.)*

Флeри *(прерывая его)*. Одиннадцать часов, папаша Пуаре сморкается.

Дю Брюэль. Верно! Уже! Бегу к секретарю.

Пуаре. Так на чем я остановился?

Тюилье. На том, что черт может играть в домино, то есть, так сказать, *доминировать*. Ну, отчего черту не доминировать? Ведь он не ограничил своей власти хартией. Хотя это скорее каламбур или что-то другое... Во всяком случае, игра слов. Впрочем, я не вижу разницы между каламбуром и...

*(Входит Себастьен, чтобы взять циркуляры для сверки и подписи.)*

Виме. А, вот и вы, прекрасный юноша! Вашим страданьям пришел конец, теперь и вы будете получать жалованье! Господина Рабурдена ждет назначение. Вы были вчера у госпожи Рабурден? Вот счастливец! Говорят, там бывают восхитительные женщины.

Себастьен. Не знаю.

Флeри. Вы разве слепой?

Себастьен. Я не люблю смотреть на то, что мне недоступно

Фельон *(восхищенно)*. Хорошо сказано, молодой человек!

Виме. Но вы же, черт вас побери, глаз не сводите с госпожи Рабурден. А она очаровательная женщина.

Флeри. Вот уж не нахожу! Слишком худа! Я видел ее в Тюильри. Танцовщица Персилье, жертва Кастена, по мне, куда лучше.

Фельон. Что может быть общего между актрисой и супругой правителя канцелярии?

Дюток. Обе ломают комедию.

Флeри *(косясь на Дютока)*. Внешность не имеет никакого отношения к нравственности, и если вы намекаете...

Дюток. Ни на что я не намекаю.

Флeри. А хотите знать, кто из всех чиновников будет назначен правителем канцелярии?

Все. Скажите!

Флeри. Кольвиль.

Тюилье. Почему?

Флeри. Дело в том, что госпожа Кольвиль наконец избрала кратчайший путь к успеху... и этот путь ведет через ризницу...

Тюилье *(сухо.)* Я — близкий друг Кольвиля и прошу вас, господин Флeри, не отзываться легкомысленно о его супруге.

Фельон. Никогда не следует предметом своих пересудов делать женщин, ведь они беззащитны...

Виме. А в данном случае — тем более: хорошенькая госпожа Кольвиль не пожелала принимать Флeри, вот он и поносит ее, чтобы отомстить.

Флeри. Не пожелала принимать меня так, как она принимает Тюилье, но я все-таки был у нее...

Тюилье. Когда? Где? Разве что под окнами?..

Хотя Флeри обычно наводил страх на чиновников своей дерзостью, однако в ответ на последние слова Тюилье он промолчал. Это смирение удивило их, но оно объяснялось очень просто: у Тюилье был на руках его вексель на двести франков с весьма сомнительной подписью, который мог быть предъявлен для учета мадемуазель Тюилье. После этой стычки в канцелярии воцарилось глубокое молчание. С часу до трех все работали. Дю Брюэль так и не вернулся.

Около половины четвертого во всех канцеляриях министерства обычно начинаются сборы: чиновники чистят шляпы, переодеваются. Эти драгоценные полчаса, которые они тратят на личные дела, проходят незаметно; натопленные комнаты остывают, особый канцелярский дух из них выветривается, и всюду наступает тишина. После четырех остаются только чиновники, поистине преданные своему делу. Министру нетрудно было бы узнать подлинных тружеников своего министерства, обойдя канцелярию ровно в четыре часа; однако такого рода шпионаж ни одна из столь высоких особ себе не позволит.

Проходя в этот час через дворы министерства, начальники, движимые потребностью обменяться мыслями по поводу событий этого дня, заговаривали друг с другом и затем, удаляясь по двое и по трое, высказывали единодушное мнение, что дело закончится в пользу Рабурдена. Лишь старые служаки вроде Клержо покачивали головой и изрекали: Habent sua sidera lites[[75]](#footnote-75). Сайяра и Бодуайе все вежливо избегали, не зная, что им сказать по поводу смерти ла Биллардиера, ибо понимали, что ведь и Бодуайе мог мечтать об этом месте, хоть и не заслуживал его.

Когда зять и тесть отошли подальше от министерства, Сайяр первый нарушил молчание и заметил:

— А твои дела идут неважно, мой бедный Бодуайе.

— Не понимаю, что задумала Елизавета! Она заставила Годара спешно раздобыть паспорт для Фалейкса. Годар говорил мне, что она, по совету дяди Митраля, наняла почтовую карету, и Фалейкс теперь катит к себе на родину.

— Верно, по нашим торговым делам? — отозвался Сайяр.

— Сейчас наше первейшее торговое дело — это обмозговать вопрос о месте де ла Биллардиера.

Они проходили по улице Сент-Оноре, неподалеку от Пале-Руаяля, когда им встретился Дюток. Он поклонился и заговорил с ними.

— Сударь, — сказал он Бодуайе, — если я могу при данных обстоятельствах чем-нибудь быть вам полезен, располагайте мной, ибо я предан вам не меньше, чем Годар.

— Подобное предложение во всяком случае утешительно, — заметил Бодуайе, — видишь, что честные люди тебя уважают.

— Если вы соблаговолите воспользоваться своим влиянием и сделаете меня помощником правителя канцелярии, а Бисиу — правителем канцелярии, вы осчастливите двух людей, готовых на все ради вашего повышения.

— Да вы что — издеваетесь над нами, сударь? — спросил Сайяр, вылупив на него глаза.

— Право, и в мыслях не имею, — сказал Дюток. — Я, кстати сказать, возвращаюсь из типографии газеты, куда относил, по поручению господина секретаря министра, некролог ла Биллардиера. После статьи, которую я там прочел, я преисполнился глубоким уважением к вашим талантам. Когда настанет время прикончить этого Рабурдена, я могу нанести сокрушительный удар, — соблаговолите тогда вспомнить мои слова!

И Дюток исчез.

— Пропади я пропадом, если хоть слово понимаю во всем этом, — сказал кассир, глядя на Бодуайе, в крошечных глазках которого отразилось глубокое недоумение. — Нужно будет сегодня вечером купить газету.

Когда Сайяр и его зять вошли в гостиную, расположенную на первом этаже, там уже ярко пылал камин и сидели г-жа Сайяр, Елизавета, г-н Годрон и кюре от св. Павла. Кюре обратился к Бодуайе, которому жена сделала какой-то знак, впрочем, так им и не понятый.

— Сударь, — сказал кюре, — я поспешил к вам, чтобы поблагодарить вас за великолепный дар, которым вы украсили мою скромную церковь. Сам я не решался войти в долги, дабы приобрести столь прекрасную дароносицу, достойную украшать собор. Будучи одним из наших наиболее благочестивых и усердных прихожан, вы должны были сильнее, чем кто-либо, скорбеть о наготе нашего алтаря. Через несколько минут мне предстоит беседовать с нашим коадъютором, и он, конечно, поспешит выразить вам свое глубокое удовлетворение.

— Но я еще ничего не сделал... — начал было Бодуайе.

— Вам я могу открыть все, что он задумал, господин кюре, — прервала мужа Елизавета. — Господин Бодуайе хочет завершить доброе дело и поднести вам, кроме того, балдахин к празднику Тела господня. Но это подношение несколько зависит от состояния наших финансов, а финансы — от нашего повышения.

— Господь награждает тех, кто чтит его, — сказал Годрон, собираясь уходить вместе с кюре.

— Отчего вы не хотите оказать нам честь и отобедать с нами чем бог послал? — спросил их Сайяр.

— Оставайтесь, дорогой викарий, — обратился кюре к Годрону. — Я, как вы знаете, приглашен к господину кюре от святого Роха, к тому самому, который завтра хоронит господина де ла Биллардиера.

— А не может ли кюре от святого Роха замолвить за нас словечко? — осведомился Бодуайе, между тем как жена решительно дергала его за фалду сюртука.

— Да замолчи ты, наконец, Бодуайе, — остановила она мужа, увлекая его в угол, и там зашептала ему на ухо: — Ты пожертвовал в церковь новую дароносицу, она стоит пять тысяч франков... Я тебе потом все объясню.

Скряга Бодуайе сделал весьма кислую мину; в течение всего обеда он был задумчив.

— Почему ты так хлопотала о паспорте Фалейкса? И зачем ты вмешиваешься не в свое дело? — наконец спросил он жену.

— Я полагаю, что дела Фалейкса — это немножко и наши дела, —— сухо ответила Елизавета, показывая глазами на Годрона и давая понять, что при нем надо помалкивать.

— Конечно, — отозвался папаша Сайяр, думая о своем компаньоне.

— Надеюсь, вы не опоздали в редакцию газеты? — спросила Елизавета г-на Годрона, передавая ему тарелку супа.

— О нет, сударыня, — отвечал викарий. — Как только издатель увидел записку секретаря Церковного управления по раздаче подаяний, он не стал чинить никаких препятствий. По его распоряжению заметку напечатали на самом видном месте, мне самому это и в голову бы не пришло; да, газетчик — пресмышленый молодой человек. Защитники веры успешно могут бороться с нечестивцами: среди сотрудников роялистских газет немало людей одаренных. Я имею все основания ожидать, что ваши надежды увенчаются успехом. Однако не забудьте, дорогой Бодуайе, оказать покровительство Кольвилю, его высокопреосвященство интересуется им, и мне рекомендовали поговорить с вами о нем.

— Когда я буду начальником отделения, я могу, если угодно, сделать его правителем одной из канцелярий, — сказал Бодуайе.

После обеда загадка разъяснилась. В министерской газете, которую купил привратник, в отделе происшествий были напечатаны следующие две заметки:

«Сегодня утром после продолжительной и тяжкой болезни скончался барон де ла Биллардиер. В его лице король потерял преданного слугу, а церковь — одного из самых благочестивых сынов своих. Смерть господина де ла Биллардиера достойно увенчала его примерную жизнь, отданную им в былые тяжелые времена таким задачам, осуществление которых сопряжено было для него со смертельной опасностью, и до самого конца посвященную исполнению труднейших обязанностей. Господин де ла Биллардиер был в прошлом председателем превотального суда в одном из департаментов, и его твердая воля преодолевала все препятствия, еще приумноженные мятежами. Затем он занял пост начальника отделения и был весьма полезен как своим просвещенным умом, так и чисто французской любезностью, способствовавшей улаживанию весьма важных дел, подлежащих его ведению. Нет наград более заслуженных, чем те, коими король Людовик XVIII и его величество соблаговолили увенчать верность, оставшуюся непоколебимой и во времена узурпатора.

Старинный род де ла Биллардиеров возродился в молодом отпрыске, унаследовавшем таланты и верность престолу от своего отца, этого превосходного человека, об утрате которого скорбят сердца стольких друзей. Его величество уже изволил милостиво объявить, что считает Бенжамена де ла Биллардиера в числе своих камер-юнкеров.

Многочисленные друзья покойного на случай, если кому-либо из них не послано приглашение или если оно дойдет до них с опозданием, извещаются о том, что заупокойная служба состоится завтра, в четыре часа пополудни, в церкви св. Роха. Проповедь произнесет господин аббат Фонтанон».

«Господин Изидор Бодуайе, представитель одной из самых старинных семей парижской буржуазии, занимающий должность правителя канцелярии в отделении покойного де ла Биллардиера, только что напомнил нам о древних благочестивых традициях, коим следовали искони эти прославленные семьи, ревнители веры и ее блеска и блюстители церковного благолепия. Храм св. Павла испытывал нужду в дароносице, которая соответствовала бы величию этой базилики, построенной братством Иисуса. Ни церковный совет, ни священник не были настолько богаты, чтобы достойно украсить алтарь новой дароносицей. Господин Бодуайе пожертвовал дароносицу, которой, вероятно, многие любовались, когда она была выставлена в ювелирной лавке господина Гойе, поставщика двора его величества. И вот, благодаря щедротам господина Бодуайе, благочестие которого не отступило даже перед исключительно высокой ценой дароносицы, церковь св. Павла ныне владеет шедевром ювелирного искусства, выполненным по рисункам господина де Сомервье. Мы рады опубликовать этот факт, доказывающий, насколько вздорны все измышления либералов относительно духа, господствующего среди парижской буржуазии. Высшая буржуазия всегда была и останется роялистской, и в случае необходимости она не замедлит это доказать».

— Дароносица стоит пять тысяч франков, — сказал аббат Годрон, — но так как уплачено было наличными, ювелир кое-что скинул.

— «Представитель одной из самых старинных семей парижской буржуазии»... — повторял Сайяр. — Напечатано черным по белому, да еще в «Журналь оффисьель»!

— Дорогой господин Годрон, подскажите же моему отцу, какую фразу шепнуть графине, когда он повезет ей жалованье, в этой фразе должно быть все, что нужно! А сейчас я вас покину. Мне необходимо выйти с дядей Митралем. Вы не поверите, я никак не могу застать деда Бидо! А в какой конуре он живет! Наконец господин Митраль, знающий его повадки, сказал, что дедушка Бидо от восьми утра до полудня занят делами, а потом его можно застать только в кофейне «Фемида», — вот странное название...

— Какие же приговоры выносит сия Фемида? — спросил, смеясь, аббат Годрон.

— Чего ради он посещает кофейню, которая находится на углу улицы Дофина и набережной Августинцев? Говорят, он каждый вечер играет в домино со своим дружком, господином Гобсеком. Я не хочу ехать одна, дядя проводит меня туда и обратно.

В эту минуту в дверях показалось желтое лицо дяди Митраля и его безобразный, словно из пакли, парик; он сделал знак племяннице, чтобы она шла скорее, — фиакр был нанят по два франка за час. И г-жа Бодуайе удалилась, так ничего и не объяснив ни отцу, ни мужу.

— Небо послало вам в лице этой женщины настоящее сокровище, — сказал г-н Годрон г-ну Бодуайе, когда Елизавета уехала, — образец осторожности, добродетели и благоразумия, христианку, одаренную от господа способностью все понимать! Только религия создает столь совершенные характеры. Завтра я отслужу обедню за успех благого дела! В интересах монархии и религии необходимо, чтобы вы были назначены! Господин Рабурден — либерал, он выписывает «Журналь де Деба», это газета пагубного направления, она воюет с графом де Виллелем, вступилась за ущемленные интересы Шатобриана. Его высокопреосвященство нынче вечером непременно прочтет газету, хотя бы только из-за некролога своего бедного друга господина де ла Биллардиера, а коадъютор поговорит с ним о вас и о Рабурдене. Я знаю господина кюре: того, кто не забывает о его дорогой церкви, и он не забудет в своем пастырском слове; в данное время он имеет честь обедать с коадъютором у господина кюре от святого Роха.

После слов Годрона Сайяр и Бодуайе начали догадываться о том, что Елизавета, узнав от Годрона о смерти ла Биллардиера, тут же взялась за дело.

— Ну и хитра твоя Елизавета! — воскликнул Сайяр; он понимал лучше, чем аббат, как ловко его дочь прорыла, точно крот, подземные ходы к быстрому успеху.

— Она подослала Годара к швейцару узнать, какую газету получает господин Рабурден, — сказал Годрон, — а я тут же уведомил секретаря его высокопреосвященства; ибо мы живем в такое время, когда церкви и престолу надлежит знать, кто друг, а кто враг.

— Вот уже пять дней, как я мучаюсь над фразой, которую должен шепнуть жене его превосходительства, — заметил Сайяр.

— Весь Париж читает это! — воскликнул Бодуайе, который не мог оторвать глаз от газеты.

— Все эти восхваленья обошлись нам, сынок, в четыре тысячи восемьсот франков, — заметила г-жа Сайяр.

— Зато вы украсили дом божий, — отозвался аббат Годрон.

— Ну, мы могли бы спасти свою душу и без такого расхода, — продолжала она. — Впрочем, если Бодуайе дадут эту должность, он будет получать на восемь тысяч франков больше, и тогда жертва будет не так уж велика. Но вдруг его не назначат? А, мамочка? — вопросила она, обратив взгляд на своего супруга. — Какой убыток!

— Ну что ж, — бодро заявил Сайяр, — тогда мы вернем деньги на Фалейксе, — он собирается расширить дело и привлечь к нему брата, он нарочно сделал из него биржевого маклера. А Елизавете следовало бы нам открыть секрет — куда это укатил Фалейкс!.. Но давайте все-таки подумаем над фразой, о которой я говорил. Вот что я уже придумал: «Сударыня, если бы вы пожелали замолвить словечко его превосходительству...»

— «Пожелали»? — повторил Годрон. — Лучше — «соблаговолили», так будет почтительнее. Однако нужно прежде всего узнать, согласится ли супруга дофина оказать вам покровительство, а тогда вы могли бы внушить графине, что ей не мешало бы пойти навстречу желаниям ее королевского высочества.

— Следует также указать, какая именно должность освобождается...

— «Ваше сиятельство...» — продолжал Сайяр, вставая и глядя на жену с умильной улыбкой.

— Господи Иисусе, Сайяр! Ну и потеха! Смотри, сынок, как бы эта особа не рассмеялась, глядя на тебя...

— «Ваше сиятельство...» Так лучше? — осведомился он, глядя на жену.

— Да, цыпленок.

— «Теперь, когда место покойного и глубокопочитаемого господина де ла Биллардиера освободилось, мой зять, господин Бодуайе...»

— «Человек, обладающий недюжинными талантами и высоким благочестием...» — подсказал Годрон.

— Запиши, Бодуайе! — воскликнул папаша Сайяр. — Запиши всю фразу.

Бодуайе, в простоте душевной, взял перо и, не краснея, записал все эти похвалы по адресу его собственной особы, совершенно так же, как написал бы о себе Натан или Каналис, рецензируя одну из своих книг.

— «Ваше сиятельство»... Видишь ли, мать, я обращаюсь к тебе, как будто ты — жена министра, — сказал Сайяр жене.

— Да ты что, меня за дуру принимаешь? Неужто я не догадалась!

— «Место покойного и глубокопочитаемого господина де ла Биллардиера освободилось; мой зять, господин Бодуайе, человек, обладающий недюжинными талантами и высоким благочестием... — Он взглянул на Годрона, погруженного в размышления, и добавил: — ...был бы весьма счастлив получить его». А ведь недурно! Кратко, и все сказано.

— Да подожди, Сайяр, разве ты не видишь, что господин аббат думает, — остановила его жена, — не мешай ему.

— «Был бы весьма счастлив, если бы вы соблаговолили заинтересоваться им, — продолжал Годрон, — и замолвили за него словечко его превосходительству, чем доставили бы особенное удовольствие супруге дофина, покровительством которой он имеет счастье пользоваться!»

— Ах, господин Годрон, эта фраза стоит дароносицы, и мне уж не так жалко четырех тысяч восьмисот франков... и потом — ведь ты вернешь их нам, Бодуайе? Верно, мой мальчик? Записал свою фразу? Я тебя заставлю, мамочка, вытвердить эту фразу наизусть, ты будешь мне повторять ее утром и вечером. Да, ловко состряпали. Какое счастье быть таким ученым, как вы, господин Годрон! Вот что значит учение во всех этих семинариях; с господом богом и его святыми и то научишься разговаривать!

— Он и добр и учен, — сказал Бодуайе, пожимая руки священнику. — Это вы составили заметку? — спросил он, указывая на газету.

— Нет, — отвечал Годрон, — ее написал секретарь его высокопреосвященства, некий молодой аббат, который очень многим мне обязан и заинтересован в судьбе господина Кольвиля; я когда-то платил за него в семинарию.

— Благодеяние всегда бывает вознаграждено, — изрек Бодуайе.

Пока эта четверка усаживалась за карточный стол, чтобы предаться бостону, Елизавета и ее дядя Митраль подъезжали к кафе «Фемида»; они проговорили всю дорогу о том плане, который, как подсказывало Елизавете ее чутье, должен был послужить самым мощным рычагом и принудить министра к назначению ее мужа. Дядя Митраль, бывший судебный исполнитель, весьма опытный по части всякого крючкотворства, юридических махинаций и уловок, считал, что торжество племянника — вопрос чести для всей семьи. Жадность давно подстрекнула его разузнать, каково содержимое денежного сундука Бидо, и он знал, что наследником будет его племянник Бодуайе; поэтому ему хотелось, чтобы тот занял положение, соответствующее состоянию Сайяров и Бидо, которое целиком должно было перейти к маленькой Бодуайе. А на что не может претендовать девушка, которой предстоит иметь ренту, превышающую сто тысяч франков! Он проникся замыслами племянницы и понимал, куда она гнет. Поэтому он ускорил отъезд Фалейкса, объяснив ему, как медленно путешествуют в почтовой карете. Потом, за обедом, он обдумал, где именно следовало нажать пружину, изобретенную Елизаветой. Когда они подъехали к «Фемиде», Митраль заявил племяннице, что только он может обделать дело с Бидо-Жигонне, и заставил ее остаться в фиакре: пусть вмешается в нужный момент. Через окно она увидела Гобсека и своего деда Бидо-Жигонне: головы их выделялись на ярко-желтом фоне деревянной обшивки, покрывавшей стены этой старинной кофейни, холодные и бесстрастные, как бы застывшие в тех поворотах, которые им придал резчик. Вокруг этих двух парижских скряг виднелось еще несколько старых лиц, сплошь исчерченных от носа до припухших омертвелых скул вязью морщин, словно то были записи по тридцатипроцентному учету векселей. При виде Митраля эти лица оживились, в глазах вспыхнуло любопытство хищников.

— Эге! Да это папаша Митраль! — воскликнул Шабуассо. Старичишка занимался учетом векселей в книжных лавках.

— А ведь верно, — отвечал Метивье, торговец бумагой. — Это старая обезьяна — он знаток по части гримас.

— А вы — старый ворон и знаток по части трупов, — отозвался Митраль.

— Справедливо, — изрек суровый Гобсек.

— Зачем вы явились сюда, сын мой? Уж не хотите ли вы арестовать нашего друга Метивье? — спросил Жигонне, указывая на торговца бумагой, похожего на старого привратника.

— Папаша, — шепнул Митраль Жигонне, — со мной ваша внучатая племянница Елизавета.

— А что — или беда какая приключилась? — спросил Жигонне.

Старик нахмурился, и на его лице появилось подобие нежности, напоминающей нежность палача, приступающего к казни; невзирая на свою чисто римскую стойкость, Жигонне, видимо, встревожился, ибо его багровый нос слегка побледнел.

— А если бы и беда — неужели вы бы не помогли дочери Сайяра, которая вам уже тридцать лет вяжет чулки? — воскликнул Митраль.

— При соответствующих гарантиях, может быть, и помог бы, — отвечал Жигонне. — Наверно, тут не без Фалейкса. Ваш Фалейкс устроил брата биржевым маклером, он делает дела не хуже, чем Брезаки, а спрашивается — на какие средства? Одной смекалкой, не так ли? Впрочем, Сайяр и сам не дитя.

— Он знает цену деньгам, — подтвердил Шабуассо.

Эти слова, произнесенные устами одного из сидевших вокруг стола страшных стариков, заставили бы писателя содрогнуться; остальные дружно закивали.

— Впрочем, бедствия моих родственников меня не касаются, — продолжал Жигонне. — Мое правило — никогда не раскисать ни с друзьями, ни с родными; где тонко, там и рвется. Обратитесь к Гобсеку, он добрый.

Дисконтеры закивали металлическими головами в знак полного согласия с подобной теорией, и, казалось, послышался скрип несмазанных механизмов.

— Да ну, Жигонне, будьте помягче, вам же тридцать лет чулки вязали, — заметил Шабуассо.

— Это тоже чего-нибудь да стоит, — сказал Гобсек.

— Тут все свои, и можно говорить откровенно, — снова начал Митраль, окинув стариков внимательным взглядом. — Меня привело сюда хорошее дельце...

— Зачем же вы к нам пришли, коли оно хорошее? — язвительно перебил его Жигонне.

— Умер некий камер-юнкер, старый шуан... как его... да, ла Биллардиер.

— Верно, — подтвердил Гобсек.

— А ваш племянник жертвует дароносицы в церковь! — сказал Жигонне.

— Не так он глуп, чтобы жертвовать, он продает их, папаша, — с гордостью продолжал Митраль. — Речь идет о том, чтобы получить место господина де ла Биллардиера, а для этого необходимо сцапать...

— Сцапать? Сразу видно судебного пристава, — прервал Митраля Метивье, дружески хлопнув его по плечу. — Вот это по мне!

— Сцапать этого молодца Шардена де Люпо, забрать его в наши лапки, — пояснил Митраль. — И вот Елизавета придумала способ... и он...

— Елизавета! — воскликнул Жигонне, снова прервав его. — Славная девчурка, вся в деда, моего бедного брата! Бидо не имел себе равных! О, если бы вы видели его на распродажах старинной мебели! Какой такт! Какая проницательность! Так что же она намерена сделать?

— Ну и ну, — сказал Митраль, — вы быстро расчувствовались, папаша Бидо. Это недаром...

— Дитя! — сказал Гобсек, обращаясь к Жигонне. — Всегда спешит!

— Послушайте, учители мои Гобсек и Жигонне, — продолжал Митраль, — ведь вам нужно забрать в свои руки де Люпо, вспомните, как знатно вы ощипали его, а теперь вы боитесь, чтобы он не потребовал у вас обратно немножко своего пуха.

— Можно ему рассказать, в чем дело? — спросил Гобсек у Жигонне.

— Митраль — наш, он не захочет сделать гадость своим прежним соратникам, — отвечал Жигонне. — Так вот, Митраль, мы втроем только что скупили долговые обязательства, признание которых зависит от ликвидационной комиссии.

— Чем вы можете пожертвовать? — спросил Митраль.

— Ничем, — отозвался Гобсек.

— Никто не знает, что это мы купили, — пояснил Жигонне. — Нам служит ширмой Саманон.

— Послушайте, Жигонне, — сказал Митраль. — На улице холод, а ваша внучатая племянница ждет... Так вот, вы меня поймете с двух слов: вы оба должны послать двести пятьдесят тысяч франков, в виде беспроцентного займа, Фалейксу, который сейчас мчится на почтовых за тридцать лье от Парижа, а вперед выслал курьера.

— Вот как? — сказал Гобсек.

— Куда же он едет? — воскликнул Жигонне.

— Да в великолепное поместье де Люпо, — продолжал Митраль. — Молодой человек отлично знает те места и на упомянутые двести пятьдесят тысяч франков скупит вокруг лачуги секретаря министра превосходные земельные участки — они всегда будут стоить этих денег. В его распоряжении девять дней, чтобы зарегистрировать нотариальные купчие (имейте это в виду). Если добавить эту землицу к владениям де Люпо, налог на них дойдет до тысячи франков. Следовательно, секретарь получит право быть членом Главной избирательной коллегии, а также самому быть избранным в палату, сделаться графом — словом, всем, чем ему угодно. Вы знаете фамилию депутата, который провалился и был отозван?

Оба скряги только молча кивнули.

— Де Люпо готов хоть на животе ползти, только бы ему пролезть в депутаты, — продолжал Митраль. — Для этого он хочет запастись купчими крепостями, а мы их предложим ему, но, конечно, обеспечив нашу ссуду закладной с замещением права продажи. (Ага, вы уже смекнули, куда я гну...) Нам прежде всего нужно получить место для Бодуайе, а потом мы отдадим вам этого де Люпо обеими руками. Фалейкс останется там и займется предвыборными делами; значит, через Фалейкса вы будете держать де Люпо на прицеле все время выборов, — ведь в этом округе друзья Фалейкса составляют большинство. Ну как, папаша Бидо, Фалейкс тут при чем или ни при чем?

— Но тут не обошлось и без Митраля, — заметил Метивье. — Ловкая игра!

— Значит, решено, — сказал Жигонне. — Верно, Гобсек? Фалейкс подпишет нам векселя под обеспечение, а закладную составит на свое имя, и мы, когда нужно будет, явимся к де Люпо.

— А нас, выходит, обкрадут! — сказал Гобсек.

— Ох, папаша, хотел бы я видеть того вора, который вас обкрадет.

— В данном случае только мы сами можем обокрасть себя, — отвечал Жигонне. — Мы решили, что правильно сделаем, скупив у всех кредиторов де Люпо векселя со скидкой в шестьдесят процентов.

— Вы обеспечите их закладной и этими векселями будете еще крепче держать его при помощи процентов, — отвечал Митраль.

— Может быть, — сказал Гобсек.

Перемигнувшись с Гобсеком, г-н Бидо, по прозванию Дрыгун, вышел на улицу.

— Елизавета, действуй, — сказал он внучатой племяннице. — Молодчик у нас в руках, но все же смотри в оба! Дело начато хорошо, хитро! Доведи его до конца — и ты заслужишь уважение своего деда... — И он весело хлопнул ее по руке.

— Кстати, — заметил Митраль, — Метивье и Шабуассо могут подсобить нам, если отправятся нынче же вечером в редакцию какой-нибудь оппозиционной газетки, чтобы там, как мяч на лету, подхватили статью министерской газеты. Поезжай одна, душечка, я не хочу упускать этих двух коршунов. — И он вернулся в кофейню.

— Завтра деньги пойдут по назначению, главноуправляющий налоговыми сборами окажет нам эту услугу; а у *наших друзей* найдутся долговые обязательства де Люпо на сто тысяч экю, — сказал Жигонне Митралю, когда судебный пристав подошел к ростовщику.

На другой день многочисленные подписчики одной из либеральных газет прочли на первой полосе заметку, помещенную по требованию Шабуассо и Метивье, ибо они были акционерами двух либеральных газет, дисконтерами по бумажной и книжной торговле, а также по типографским предприятиям, и ни один редактор ни в чем не смел отказать им. Вот эта заметка:

«Вчера некая газета, близкая к министерским кругам, отмечала, что преемником барона де ла Биллардиера будет, по всей вероятности, господин Бодуайе, один из наиболее достойных граждан, стяжавший славу в своем многолюдном квартале как благотворительностью, так и благочестием, которое газета клерикалов особенно подчеркивает, хотя могла бы упомянуть и о талантах господина Бодуайе! Но подумала ли редакция о том, что, восхваляя древность того буржуазного рода, к которому принадлежит господин Бодуайе, — а такие роды ничуть не уступают дворянским, — она тем самым указала и на обстоятельство, которое может повлечь за собою провал ее кандидата? О, извращенное коварство! Так прелестница ласкает того, кого хочет убить. Отдать господину Бодуайе место барона де ла Биллардиера — значило бы воздать должное добродетелям и талантам средних классов, интересы которых мы неизменно будем защищать, хотя нам нередко и приходится терпеть поражение. Назначить господина Бодуайе было бы справедливо и с моральной и с политической точки зрения, но министерство на такой акт не решится. Газета клерикалов оказалась в данном случае умнее своих патронов, и ее будут бранить».

На другой день, в пятницу, де Люпо должен был обедать у г-жи Рабурден, с которой простился накануне в полночь, на лестнице Итальянского театра, когда она, сияя красотой, спускалась под руку с г-жой де Кан (г-жа Фирмиани только что вышла замуж); утром, едва старый распутник проснулся, он почувствовал, что жажда мести несколько в нем утихла, вернее — мысли о ней приняли другое направление: он только и видел последний взгляд, который послала ему г-жа Рабурден.

«Рабурдена я куплю тем, что сначала прощу ему, — размышлял де Люпо, — а потом возьму свое! Если же он сейчас не получит этого места, то мне придется отказаться от женщины, которая могла бы стать одним из драгоценнейших орудий для большой политической карьеры, — она все понимает, она не отступит ни перед какой трудностью; и, кроме того, я потеряю тогда возможность узнать раньше, чем министр, какой план преобразований придумал Рабурден! Итак, дорогой де Люпо, нужно все преодолеть ради вашей Селестины. И вы, графиня, напрасно делаете гримасу: вам все-таки придется пригласить г-жу Рабурден на первый же ваш интимный вечер...»

Де Люпо принадлежал к числу тех людей, которые ради удовлетворения какой-либо страсти умеют запрятать мстительные чувства в самый дальний угол своего сердца. Выбор был сделан, и де Люпо решил добиться назначения Рабурдена.

«Я докажу вам, дорогой начальник отделения, что заслуживаю одного из лучших мест на вашей дипломатической каторге», — мысленно обратился он к Рабурдену, усаживаясь за свой письменный стол и распечатывая пачку газет.

Еще накануне, к пяти часам вечера, все, что должно было появиться в клерикальной газете, было ему слишком хорошо известно, чтобы взяться за нее с интересом, однако он развернул ее, так как захотел пробежать некролог де ла Биллардиера, вспомнив, в какое затруднительное положение поставил его дю Брюэль, принеся ироническую заметку Бисиу. Де Люпо не мог удержаться от смеха, перечитывая вновь биографию покойного барона де Фонтэна, скончавшегося за несколько месяцев до того, которую он просто перепечатал, лишь заменив в ней имя де Фонтэна именем ла Биллардиера; но вдруг его взгляд натолкнулся на фамилию Бодуайе, и де Люпо пришел в ярость, читая елейную статью, с которой министерство будет вынуждено считаться. Он нетерпеливо позвонил и вызвал к себе Дютока, решив послать его в редакцию газеты. Каково же было его изумление, когда он увидел ответ оппозиции! Ибо случайно ему сразу же попала в руки газета либералов. Дело становилось серьезным. Он хорошо знал этих людей, и тот, кто смешал его карты, показался ему шулером первой руки. Надо быть мастером своего дела, чтобы воспользоваться так искусно двумя газетами противоположного направления и сразу же, в один и тот же день, начать битву, предугадав намерение министра. Он узнал перо знакомого редактора-либерала и решил расспросить его вечером в Опере. Вошел Дюток.

— Прочтите, — сказал де Люпо, протягивая ему обе газеты, а сам продолжая просматривать остальные, чтобы проверить, не нажал ли Бодуайе еще какие-нибудь пружины. — Пойдите узнайте, кто осмелился так компрометировать министерство!

— Уж во всяком случае не сам господин Бодуайе, — отвечал Дюток. — Он вчера не выходил из своей канцелярии. И незачем мне ездить в редакцию. Когда я относил вчера вашу статью, я видел там аббата, он явился с письмом от Церковного управления по раздаче подаяний, а перед такой силой вы и сами бы склонились.

— Вы, Дюток, злы на господина Рабурдена, и это нехорошо, он ведь два раза спасал вас от увольнения. Правда, мы не властны над своими чувствами, и можно ненавидеть даже своего благодетеля. Но знайте одно: если вы позволите себе по отношению к Рабурдену хотя бы малейшую измену до того, как я вам подам знак, — можете считать меня вашим врагом. Что же касается газеты моего друга, то пусть Церковное управление даст ей столько подписчиков, сколько давали мы, если оно хочет в ней хозяйничать. Сейчас конец года, вопрос о подписке будет скоро обсуждаться, тогда сговоримся. А относительно места ла Биллардиера: есть только одно средство покончить со всеми разговорами — это решить вопрос о назначении сегодня же.

— Господа, — обратился к своим сослуживцам Дюток, возвратясь в канцелярию. — Я не знаю, имеет ли Бисиу дар провидеть будущее. Но если вы не читали газеты клерикалов, то советую вам ознакомиться со статьей о Бодуайе, а так как у господина Флeри есть газета оппозиции, вы можете там прочесть и ответ. Разумеется, господин Рабурден очень умен, но человек, который в наше время жертвует в церковь дароносицы по шесть тысяч франков, тоже чертовски умен.

Бисиу *(входя)*. Что вы скажете насчет «Первого послания к коринфянам» в нашей церковной газете и «Послания к министрам» в органе либералов? Ну, дю Брюэль, как себя чувствует господин Рабурден?

Дю Брюэль *(появляется в дверях)*. Не осведомлен. *(Уводит Бисиу в свой кабинет и говорит ему вполголоса.)* Знаете, милейший, вашей манерой оказывать людям содействие вы сильно напоминаете палача, когда он вскакивает на плечи своей жертвы, чтобы скорее ее прикончить. По вашей милости я получил от де Люпо ужасный нагоняй, и поделом мне, дураку! Нечего сказать, хорошую статью состряпали о ла Биллардиере! Уж этого я вам никогда не забуду! Первой фразой королю как будто заявляют: «Пора умирать». А из фразы о Кибероне следует, что король — это... Словом, все сплошная насмешка.

Бисиу *(смеется)*. Как? Вы сердитесь? Нельзя и пошутить!

Дю Брюэль. Шутить! шутить! Вот когда вы, милейший, захотите стать помощником правителя канцелярии, вам тоже ответят шутками.

Бисиу *(угрожающе)*. Вы, кажется, действительно рассердились?

Дю Брюэль. Да.

Бисиу *(сухо)*. Что ж? Тем хуже для вас.

Дю Брюэль *(он задумался и встревожен)*. А вы бы сами разве простили?

Бисиу *(вкрадчиво)*. Другу? Я думаю! *(Слышен голос Флeри.)* Вон Флeри проклинает Бодуайе. А, каково сыграно? Бодуайе получит место. *(Доверительно.)* В конце концов тем лучше! Вы только хорошенько взвесьте все последствия. Рабурден не унизится до того, чтобы служить под началом у Бодуайе, он подаст в отставку, и, таким образом, освободятся два места. Вы сделаетесь правителем канцелярии, а меня возьмете помощником. Мы будем вместе сочинять водевили, и я буду корпеть вместо вас в канцелярии.

Дю Брюэль *(улыбаясь)*. Действительно! Об этом я не подумал! Бедный Рабурден! Все-таки мне было бы его жалко.

Бисиу. Вот как вы его любите! *(Другим тоном.)* Если хотите знать, — мне его ничуть не жалко. Ведь он же богат; его жена устраивает вечера, но меня не зовет, а я бываю везде! Ну, добрейший дю Брюэль, прощайте и не сердитесь! *(Выходит из кабинета.)* Прощайте, господа. Разве я не говорил вам еще вчера, что если у человека есть только добродетели да таланты, он все-таки очень беден, даже при хорошенькой жене.

Флeри. Сами-то вы богаты!

Бисиу. Не так уж беден, дорогой Цинциннат! Но обедом в «Роше-де-Канкаль» вы меня угостите!

Пуаре. Когда господин Бисиу говорит, я решительно ничего не могу понять.

Фельон *(элегическим тоном)*. Господин Рабурден так редко читает газеты, что, может быть, нам следовало бы ненадолго расстаться с ними и отнести их ему?

*(Флeри протягивает ему свою газету, Виме — газету, получаемую канцелярией; Фельон берет их и выходит)*.

В эту минуту де Люпо, отправляясь завтракать с министром, спрашивал себя, не предусмотрительнее ли, прежде чем пускать в ход свою утонченную и беспринципную изворотливость для защиты мужа, позондировать сердце жены и узнать, будет ли он сам вознагражден за свою преданность. Секретарь старался разобраться в слабых голосах тех чувств, которые все же прозябали в его сердце, когда повстречался на лестнице со своим поверенным, и тот, улыбаясь, сказал ему с фамильярностью, присущей людям, знающим, что ты в них нуждаешься:

— Только два слова, *ваше превосходительство!*

— А что такое, милый Дерош? — спросил политик. — Что со мной стряслось? Они бесятся, эти господа, и не умеют поступать, как я, то есть ждать.

— Я спешил предупредить вас, что все ваши векселя в руках у Гобсека и Жигонне, который действует от имени некоего Саманона.

— Это люди, которым я дал возможность нажить огромные деньги!

— Слушайте, — зашептал ему на ухо поверенный, — настоящее имя Жигонне — Бидо, он дядя Сайяра, вашего кассира, а Сайяр — тесть некоего Бодуайе, который считает, что имеет права на освободившееся место в вашем министерстве. Разве не мой долг предупредить вас?

— Благодарствуйте! — И де Люпо с хитрым видом отвесил поклон Дерошу.

— Достаточно одного росчерка пера, и все ваши долги ликвидированы, — сказал Дерош уходя.

«Вот это действительно огромная жертва, — подумал де Люпо, — но сказать о ней женщине невозможно, — продолжал он свои размышления. — Стоит ли Селестина ликвидации всех моих долгов? Поеду к ней утром».

Таким образом, прекрасной г-же Рабурден предстояло через несколько часов быть вершительницей судеб своего мужа, причем никакая сила не могла подсказать ей заранее все значение ее ответов, хоть бы чем-нибудь предупредить ее о всей важности того, как именно она будет держаться и каким тоном говорить. А она, к несчастью, была уверена в победе: она не знала, что под Рабурдена со всех сторон ведутся подкопы.

— Ну, что, ваше превосходительство, — начал де Люпо, входя в маленькую гостиную, где обычно завтракал министр, — читали вы все эти статьи о Бодуайе?

— Ради бога, дорогой мой, — отвечал министр, — не будем сейчас говорить о назначениях. Мне и так вчера все уши прожужжали этой дароносицей. Чтобы спасти Рабурдена, придется протаскивать его через Совет, иначе мне навяжут еще кого-нибудь. Прямо хоть бросай дела. Для сохранения Рабурдена придется повысить еще какого-то Кольвиля.

— Угодно вам предоставить постановку этого водевиля мне и не терять на него ваше время? — предложил де Люпо. — Я буду каждое утро увеселять вас рассказами о той партии в шахматы, которую я буду играть против Церковного управления.

— Ну что ж, — отвечал министр, — беритесь за это дело вместе с начальником личного стола. Известно ли вам, что самыми убедительными для короля могут оказаться именно доводы, приводимые газетой оппозиции? А потом и управляй министерством с такими тупицами, как Бодуайе.

— Дурак и ханжа, — заметил де Люпо, — он бездарен, как...

— Как ла Биллардиер, — докончил министр.

— У Биллардиера были хоть манеры камер-юнкера, — заметил де Люпо. — Сударыня, — обратился он к графине, — теперь вам следовало бы пригласить госпожу Рабурден на первый же ваш интимный вечер... Позволю себе заметить, что она дружна с госпожой де Кан; они вчера вместе были у Итальянцев, и я познакомился с ней у Фирмиани; впрочем, вы сами увидите, может ли она скомпрометировать своим присутствием чей-нибудь салон.

— В самом деле, пригласите-ка, дорогая, госпожу Рабурден, и кончим с этим, — сказал министр.

«Итак, Селестина попалась ко мне в лапы», — сказал себе де Люпо, возвращаясь домой, чтобы переодеться.

Парижские семьи обуреваемы желанием идти в ногу с роскошью, которую они видят вокруг себя, и лишь немногие настолько благоразумны, чтобы согласовать свою жизнь со своим бюджетом. Быть может, этот порок проистекает из чисто французского патриотизма, цель которого — сохранить за Францией первенство в области одежды. Ведь благодаря умению одеваться Франция царит над всей Европой, и каждый чувствует, что необходимо оберегать то коммерческое превосходство, вследствие которого мода играет для Франции такую же роль, какую играет для Англии флот.

Это патриотическое безумие, готовое все принести в жертву «обличью», как говорил д'Обинье во времена Генриха IV, является причиной безмерных и тайных трудов, отнимающих у парижских женщин все утро, если они хотят во что бы то ни стало, как этого хотела г-жа Рабурден, вести при двенадцати тысячах франков такой же образ жизни, какой богатые люди не могут позволить себе при тридцати. Итак, по пятницам, в дни званых обедов, г-жа Рабурден помогала горничной убирать комнаты, ибо кухарка отправлялась с раннего утра на рынок, а лакей чистил серебро, складывал салфетки и перетирал хрусталь. Поэтому, если бы недогадливый гость вздумал явиться в одиннадцать или двенадцать часов дня, он застал бы Селестину среди отнюдь не живописного беспорядка, в капоте, в стоптанных туфлях, с неубранной головой; он увидел бы, как она сама заправляет лампы, сама расставляет жардиньерки или наспех стряпает себе весьма прозаический завтрак. И гость, не знающий секретов парижской жизни, убедился бы, что не следует заглядывать за театральные кулисы: женщина, застигнутая им во время ее утренних таинств, объявила бы его способным на всякие низости, ославила бы его за глупость и нетактичность и погубила бы его репутацию. Парижанка, столь снисходительная к любопытству, которое для нее выгодно, беспощадна в тех случаях, когда оно угрожает ее престижу. Подобное вторжение в ее дом не является, как выразилась бы исправительная полиция, покушением на стыдливость, но кражей со взломом, кражей самого драгоценного — общественного уважения! Женщина ничуть не обижается, когда ее застают неодетой, с распущенными волосами — конечно, если волосы у нее не накладные, — она от этого только выиграет; но она не хочет, чтобы видели, как она сама убирает комнаты, ибо при этом страдает ее «обличье».

Когда нежданно-негаданно явился де Люпо, г-жа Рабурден была в пылу хозяйственных приготовлений, и перед ней лежала провизия, только что выловленная кухаркой из бездонного океана рынка. И уж, конечно, Селестина меньше всего ожидала увидеть перед собой секретаря министра; услышав мужские шаги на площадке лестницы, она воскликнула: «Неужели парикмахер!» — восклицание, столь же мало обрадовавшее де Люпо, как его приход — г-жу Рабурден Она тотчас убежала в свою спальню, где царил ужасающий хаос, ибо туда была составлена мебель, которую не хотели показывать, вещи, лишенные изящества; словом, там был настоящий домашний содом. Растерявшаяся красавица показалась де Люпо настолько пикантной в своем дезабилье, что он дерзко последовал за ней. Его манило что-то особенно соблазнительное; тело, мелькнувшее в разрезе ночной кофточки, кажется в тысячу раз привлекательнее, чем когда оно обрамлено овальным вырезом бархатного платья на спине и выглядывает из корсажа двумя белыми округлостями, переходящими в самую прелестную лебединую шею, которую когда-либо целовал любовник перед балом. Когда окидываешь взглядом разряженную женщину, показывающую свой великолепный бюст, то кажется, что это как бы обдуманный десерт некоего сытного обеда; но взгляд, проскользнувший между складками ткани, смятой во время сна, схватывает самые лакомые кусочки и наслаждается ими, словно украденным плодом, алеющим меж листьев на шпалере.

— Подождите, подождите! — воскликнула хорошенькая парижанка, запираясь на ключ в своей загроможденной спальне.

Она звонила горничной Терезе, звала кухарку, лакея, требовала шаль, чтобы прикрыться, и ждала, как артистка в Опере, внезапной перемены декораций. И декорации сменились. Последовал еще феномен! Комната преобразилась, приняв тот же оттенок пикантности, что и туалет хозяйки, которому та мгновенно придала нечто художественное — к чести своей, показав себя и в этом незаурядной женщиной.

— Вы? — удивилась она. — И в такой час? Что-нибудь случилось?

— Произошли чрезвычайно важные события, — отвечал де Люпо, — и сегодня нам необходимо объясниться друг с другом до конца.

Селестина посмотрела в глаза этого человека, сквозь стекла его очков, и все поняла.

— Мой главный грех в том, — сказала она, — что я ужасная чудачка и никогда не смешиваю сердечных чувств с политикой; давайте же говорить о политике, о делах, а там посмотрим. Это, впрочем, не простая прихоть, но свойство моего художественного вкуса, который внушает мне отвращение к кричащим краскам, к сочетанию несоединимого и требует, чтобы я избегала диссонансов. У нас, женщин, тоже своя политика!

Под влиянием ее голоса, ее мягких движений грубый напор секретаря министра чуть было не сменился сентиментальной галантностью: Селестина напомнила де Люпо о его обязанностях поклонника. Хорошенькая женщина при известном опыте умеет создать вокруг себя такую атмосферу, в которой нервное возбуждение проходит, страстные порывы затихают.

— Вы не знаете о том, что произошло, — нарочито грубо прервал ее де Люпо. — Прочтите.

И он протянул прелестной Селестине обе газеты, в которых обвел соответствующие заметки красным карандашом. Пока она читала, края шали на ее груди разошлись, — случайно или неслучайно, и она этого не заметила или не хотела замечать. Де Люпо находился в том возрасте, когда желания вспыхивают тем настойчивее, чем быстрее они гаснут, и он настолько же не владел собой, насколько владела собой Селестина.

— Как? — сказала она. — Кто такой этот Бодуайе?

— Этот Бодуайе способен метко боднуть, — отозвался де Люпо, — пред сим золотым тельцом преклонилась сама церковь, и он добьется своей цели, его ведет на веревочке ловкая рука.

Перед г-жой Рабурден пронеслось воспоминание о ее долгах и ослепило ее, как будто подряд вспыхнули две молнии; в ушах зашумело от прилива крови; она стояла недвижно, опешив, уставившись невидящим взором на розетку портьеры.

— Но ведь вы-то верны нам! — сказала она де Люпо, лаская его взглядом, чтобы покрепче привязать.

— Смотря по тому... — проговорил он, отвечая на ее взгляд столь испытующим взглядом, что бедняжка вспыхнула.

— Если вы требуете задатка, вы не получите награды, — отозвалась она смеясь. — Я считала вас выше, чем вы есть. А вы, видно, принимаете меня за девочку, пансионерку...

— Вы меня не поняли, — проговорил он с тонкой усмешкой. — Я хотел сказать, что не могу помогать человеку, который действует против меня, точно Ветреник против Маскариля[[76]](#footnote-76).

— Как вас понять?

— Вот доказательство моего великодушия. — Он протянул г-же Рабурден копию рукописи, выкраденной Дютоком, и указал ей то место, где ее муж так глубокомысленно раскритиковал его. — Прочтите! — сказал он. Селестина узнала почерк мужа, прочла и побледнела от этого страшного удара. — Так он разобрал по всем статьям и остальных чиновников.

— Но, к счастью, — заметила она, — только вы имеете в руках эти записки, смысла которых я совершенно не могу понять.

— Тот, кто выкрал их, не такой дурак, чтобы не оставить себе дублет, он слишком лжив, чтобы в этом признаться, и слишком хитер, чтобы отдать; я не пробовал даже заговаривать с ним об этом.

— Кто он такой?

— Ваш письмоводитель!

— Дюток! Всегда бываешь наказан за свои благодеяния! Но ведь это пес, которому надо кинуть кость.

— А знаете, что предлагают мне, секретарю министра, бедняку?

— Что же?

— У меня есть долги — какие-то несчастные тридцать тысяч... или немножко больше, и вы, вероятно, будете презирать меня, узнав о такой ничтожной сумме, — но, как бы там ни было, в этих делах у меня нет размаха. Так вот! Дедушка этого Бодуайе сейчас скупил мои векселя и, видимо, намерен их предъявить мне.

— Но что за дьявольский замысел!

— Нисколько, напротив, — весьма монархический и благочестивый, ибо здесь замешано Церковное управление по раздаче подаяний.

— Как же вы поступите?

— А как вы мне прикажете поступить? — спросил он с обаятельной грацией и протянул к Селестине руку.

Госпожа Рабурден уже забыла о том, что он некрасив, стар, что пудра сыплется с него, как иней, что он секретарь министра, что он так отвратителен; но руки своей она не дала: вечером, в гостиной, она разрешила бы ему взять эту руку хоть сотню раз, но утром и наедине этот жест мог бы означать слишком прямое, ясное обещание и завести чересчур далеко.

— А еще говорят, что у государственных деятелей нет сердца! — воскликнула она, желая вознаградить его ласковым словом за суровость своего отказа. — Меня это всегда приводило в смущение, — добавила она с видом полнейшей невинности.

— Какая клевета! — отозвался де Люпо. — Да вот, один из самых чопорных дипломатов, который стоит у власти чуть ли не с самого рождения, недавно женился на дочери актрисы и представил ее ко двору, где особенно требовательны по части родовитости.

— Так вы нас поддержите?

— Я ведаю назначениями, но не занимаюсь обманами.

Тогда она протянула ему руку для поцелуя и слегка хлопнула по щеке.

— Теперь вы мой, — сказала она.

Де Люпо пришел в восторг от ее слов. (Вечером в Опере старый фат так передавал этот случай: «Одна дама, не желая признаться мужчине, что она ему отдается, — о чем порядочная женщина никогда прямо не скажет, — заявила: «Теперь вы мой». А? Каков ход?»)

— Но вы должны быть моей союзницей, — продолжал де Люпо. — Ваш муж сказал министру, что у него есть план преобразования административной системы, в этот план входит и тот отчет, где он так великодушно обо мне отзывается; узнайте, что это за план, и вечером расскажите мне.

— Хорошо, — сказала она, не видя большой важности в том, что привело к ней де Люпо в такую рань.

— Сударыня, пришел парикмахер, — доложила горничная.

«Давно пора, — подумала Селестина, — задержись он еще немного, и уж не знаю, как я бы выкрутилась...»

— Вы даже не представляете себе, насколько велика моя преданность, — сказал де Люпо, вставая. — Вы будете приглашены на первый же интимный вечер супруги министра...

— Ах, вы ангел! — отвечала она. — И теперь я вижу, как вы меня любите: вы умно меня любите!

— Сегодня вечером, дитя мое, я в Опере узнаю фамилию журналистов, которые работают на Бодуайе, и мы посмотрим — кто кого.

— Хорошо, но ведь вы обедаете у меня? Я заказала ваши любимые блюда.

«Все это настолько похоже на любовь, — размышлял де Люпо, спускаясь по лестнице, — что было бы сладостно подольше так обманываться. Но если она просто смеется надо мной, я это узнаю: до того, как министр подпишет назначение, я устрою ей такую ловушку, что смогу заглянуть в самые глубины ее сердца. Знаем мы вас, милые кошечки! Ведь в конце концов женщины таковы же, как и мы, мужчины. Ей двадцать восемь лет, и она добродетельна, да еще здесь, на улице Дюфо! Найти подобную женщину — редкая удача, таким счастьем надо дорожить».

И этот мотылек, метивший в депутаты, порхнул вниз по лестнице.

«Бог мой, — размышляла Селестина, — без очков этот человек, напудренный и в халате, должен быть очень смешон. Я его заарканила — пусть везет меня туда, куда мне так хотелось попасть, — к министру. Но после этого его роль в моей комедии кончена».

Когда Рабурден в пять часов вернулся домой, чтобы переодеться, его жена вошла в комнату и вручила ему его исследование; подобно известной туфле из «Тысячи и одной ночи», оно попадалось ему всюду.

— Кто тебе дал это? — изумился Рабурден.

— Господин де Люпо!

— Он был здесь? — спросил Рабурден, бросив на жену такой взгляд, что, будь она виновна, она, несомненно, побледнела бы, но чело Селестины осталось ясным, и глаза улыбались.

— И он будет у нас обедать, — продолжала она. — Отчего ты всполошился?

— Дорогая моя, — сказал Рабурден, — я его смертельно обидел, подобные люди таких вещей не прощают! И вместе с тем он со мною мил. Ты полагаешь, я не знаю, почему?

— Что ж, у него, по-моему, очень тонкий вкус, — отозвалась она, — и я не могу осуждать его за это. В конце концов, что может быть более лестного для женщины, чем пленить пресыщенного фата! И потом...

— Брось свои шутки, Селестина! Пощади человека и без того удрученного. Мне никак не удается поговорить с министром, а на карту поставлена моя честь.

— Да ничуть! Дютоку обещают, что его повысят, а тебя назначат начальником отделения.

— Я догадываюсь о том, что у тебя на уме, дорогая, — сказал Рабурден, — пусть твоя затея — только комедия, она от этого не менее постыдна. Честная женщина...

— Предоставь мне действовать тем же оружием, каким борются с нами.

— Селестина! Чем нелепее этот человек попадется в ловушку, тем яростнее он набросится на меня.

— А если я его свалю?

Рабурден с удивлением взглянул на жену.

— Я думаю только о том, чтобы тебя повысили, давно пора, мой бедный друг!.. — продолжала Селестина. — Но ты принимаешь гончую за дичь, — добавила она помолчав. — Через несколько дней де Люпо успешно закончит свою миссию. Пока ты найдешь возможность все объяснить министру, пока ты с ним встретишься, я уже успею с ним переговорить. Ты в поте лица своего трудился над этим проектом, таясь от меня, а твоя жена за три месяца добьется бóльших результатов, чем ты за шесть лет. Расскажи мне теперь, в чем состоит твой прекрасный план.

Рабурден взял с жены обещание, что она не обмолвится ни словом о его проекте, особенно же ничего не откроет, даже в общих чертах, секретарю министра, ибо это значило бы пустить козла в огород, и принялся объяснять ей цель своих исследований, в то же время продолжая бриться.



— Но как же ты, Рабурден, ничего мне обо всем этом не сказал? — прервала она его чуть ли не с первых слов. — Ведь ты бы избежал ненужных страданий. Я понимаю, что какая-нибудь идея может на миг ослепить человека; но чтобы эта слепота продолжалась в течение шести-семи лет — вот чего я не постигаю! Ты хочешь сократить бюджет — да ведь это мысль банальная и мещанская! А следовало бы, напротив, довести его до двух миллиардов, и Франция стала бы вдвое могущественнее. Новая система должна бы состоять в том, чтобы все приводить в движение с помощью кредита, как об этом кричит господин де Нусинген. Самое бедное казначейство — то, где много денег, но лежащих без употребления; задача министерства финансов — швырять деньги в окно, ведь они вернутся в его подвалы, — а ты хочешь, чтобы они лежали неподвижной кучей! Должностей пусть будет больше, а не меньше, и надо не возвращать ренту, а увеличивать число рантье. Если Бурбоны желают мирно царствовать, они должны создать рантье в самых глухих захолустьях, а особенно — не позволять иностранцам получать проценты во Франции, ибо в один прекрасный день они потребуют с нас и капитал; но если вся рента останется во Франции, не погибнут ни Франция, ни кредит. Вот что спасло Англию. Твой план — мещанство. Человек честолюбивый должен был бы предстать перед министром в роли нового Лоу, но без его ошибок, объяснить, сколь велико могущество кредита, доказать, что мы ни в коем случае не должны идти на амортизацию капиталов, а лишь на погашение процентов, как делают англичане...

— Послушай, Селестина, ты можешь сваливать все теории в одну кучу и каждую из них оспаривать — пожалуйста, забавляйся ими как игрушками! Я к этому привык. Но не критикуй работы, которой ты еще не знаешь.

— Да зачем мне нужно знать такой план, где доказывается, что Францией можно управлять с помощью шести тысяч чиновников, а не двадцати тысяч? Ах, мой друг, будь это даже созданием гения, у нас во Франции короля свергли бы с престола при первой его попытке осуществить такой план. Можно укротить феодальную аристократию, отрубив несколько голов, но подчинить себе тысяченогую гидру нельзя. Нет, маленьких людишек башмаком не раздавишь, они для этого слишком плоски. И ты хочешь произвести подобный переворот с помощью нынешних министров, которые, говоря между нами, звезд с неба не хватают? Можно перетряхивать деньги, но не самих людей: они слишком громко кричат при этом; а золото немо.

— Ну, Селестина, если ты не дашь мне слово сказать и будешь только острить, придираясь к частностям, мы никогда не договоримся.

— Ах, я отлично понимаю, к чему приведет твое исследование, где ты классифицируешь административные способности разных лиц, — продолжала она, не слушая мужа. — Бог мой! Ведь ты же сам отточил нож той гильотины, которая тебе отрубит голову. Святая дева, почему ты со мной не посоветовался? Я бы, по крайней мере, не позволила тебе написать ни одной строчки, или, если тебе уж непременно хотелось составить такое исследование, я бы его сама переписала, и оно никогда бы не вышло из этих стен... Объяснись, ради бога, почему ты мне ничего не сказал? Вот каковы мужчины! Они способны семь лет спать рядом с женщиной и семь лет хранить от нее тайну. Целых семь лет не открывать своих помыслов бедной женщине, сомневаться в ее преданности — да как ты мог?

— Но послушай, — нетерпеливо остановил ее Рабурден, — за одиннадцать лет нашего брака мне ни разу не удалось с тобой хоть что-нибудь обсудить до конца, ты сейчас же обрываешь меня и, вместо того, чтобы вникнуть в мои мысли, развиваешь собственные теории. Ты же совершенно не знаешь, в чем состоит мое исследование.

— Не знаю? Да я все знаю!

— Ну посмотрим, расскажи! — крикнул Рабурден, впервые за все время их супружеской жизни выйдя из себя.

— А ведь уже половина седьмого, скорей кончай бриться и одевайся, — ответила она, как отвечают все женщины, когда их припрут к стене и им нечего ответить. — Я пойду кончать свой туалет, мы отложим этот спор. Я не хочу раздражаться в тот день, когда у меня гости. Ах, бедняга! — сказала она, выходя. — Работать семь лет на свою погибель и не доверять даже собственной жене.

Селестина тут же вернулась.

— Если бы ты меня в свое время послушался, ты бы не вступался за своего делопроизводителя, а теперь у него, наверное, припасена еще одна копия с этого проклятого проекта. До свиданья, умник!

Однако, увидев, что муж глубоко страдает, она поняла, что зашла слишком далеко, кинулась к нему, обняла и, хотя все лицо у него было в мыльной пене, нежно поцеловала.

— Милый Ксавье, не сердись, — сказала она, — сегодня вечером мы займемся твоим планом, и я буду слушать тебя, сколько твоей душе будет угодно... Ну, теперь ты доволен? Уверяю тебя, я очень рада быть женой нового Магомета.

И она рассмеялась. Да и Рабурден не мог удержаться от улыбки, ибо на губах Селестины осталась мыльная пена и в ее голосе зазвучала самая подлинная и прочная любовь.

— Иди одеваться, дитя мое, а главное — ни слова де Люпо, ты клянешься мне? Вот единственное наказание, которое я на тебя налагаю.

— Наказание? — переспросила она. — Тогда я ни в чем не клянусь.

— Брось, Селестина, хоть я и пошутил, а ведь дело серьезное.

— Сегодня вечером, — отозвалась она, — твой секретарь министра выведает, с кем нам предстоит бороться, а я уж знаю, на кого повести атаку.

— На кого же?

— На министра, — важно заявила она.

Несмотря на грациозную ласковость милой Селестины, чело Рабурдена, пока он одевался, омрачали печальные мысли.

«Когда же она научится ценить меня? — спрашивал себя огорченный муж. — Она даже не поняла, что весь этот труд я предпринял только ради нее. Как она безрассудна и как умна! Если бы я не женился, я бы занимал сейчас высокое положение и был бы богат! Из своего жалованья я бы откладывал пять тысяч в год. При выгодном их помещении они давали бы мне ежегодно десять тысяч ливров, помимо жалованья; я был бы холост и мог бы удачной женитьбой... Зато у меня есть Селестина и мои двое детей...» — тут же возразил он себе и принялся думать о своем счастье. В самом счастливом супружестве бывают минуты сожалений.

Он вошел в гостиную и окинул взглядом все вокруг. «В Париже не найдется ни одной женщины, которая так умела бы обставить жизнь, как моя жена. Создать все это при двенадцати тысячах франков, — продолжал он размышлять, рассматривая жардиньерки, наполненные цветами, и предвкушая чувство удовлетворенного тщеславия, которое ему доставят похвалы гостей. — Да, она рождена, чтобы быть женой министра. А вот супруга моего министра ни в чем ему не помогает; она похожа на добрую толстую мещанку, и когда появляется во дворце, в гостиных...» Он презрительно наморщил губы. Очень занятые мужчины имеют превратные представления о домашней жизни, и их одинаково легко убедить в том, что на сто тысяч ничего нельзя сделать, как и в том, что на двенадцать можно иметь все.

Хотя хозяйка и ожидала де Люпо с большим нетерпением, хотя и приготовила избалованному чревоугоднику приманку в виде его любимых блюд, к обеду он не пришел, а появился лишь очень поздно, часов в двенадцать, когда в гостиных разговоры обычно становятся более интимными и откровенными. Среди оставшихся гостей был также журналист Андош Фино.

— Я все узнал, — сказал де Люпо, усевшись с чашкой чая на уютной козетке возле камина и глядя на г-жу Рабурден, которая, стоя перед ним, держала тарелку с сандвичами и ломтиками кекса, справедливо именуемого «коксом». — Фино, мой дорогой и остроумный друг, вот вам удобный случай оказать услугу нашей очаровательнице: устройте небольшую травлю на некоторых лиц, о коих мы сейчас поговорим... Против вас, — обратился он к Рабурдену вполголоса, чтобы слышали только три его собеседника, — ростовщики и духовенство, деньги и церковь. Статью в либеральной газете заказал старый ростовщик, в отношении которого у газеты были какие-то обязательства, но накропал ее мелкий писака, он мало всем этим интересуется. Через три дня главная редакция газеты будет сменена, и мы тогда еще вернемся к этому вопросу. Роялистская оппозиция — ибо у нас теперь благодаря господину де Шатобриану существует роялистская оппозиция, то есть роялисты, примкнувшие к либералам... Впрочем, оставим в покое высокую политику... Итак, эти убийцы Карла Десятого обещали мне свою поддержку при том условии, что в награду за ваше назначение мы одобрим одну из их поправок к новому законопроекту. Все мои батареи в боевой готовности. Если нам будут навязывать Бодуайе, мы скажем Церковному управлению по раздаче подаяний: такие-то газеты и такие-то люди будут проваливать закон, который вы хотите протолкнуть, и вся пресса выскажется против, ибо газеты сторонников министерства у меня в руках и останутся глухи и немы, что, впрочем, не представит для них особых трудностей, они и без того рта не раскрывают, — не правда ли, Фино? Назначьте Рабурдена, — потребуем мы, — и газеты окажутся на вашей стороне. А бедные простаки-провинциалы, развалившись в креслах у камина, будут радоваться, что органы общественного мнения столь независимы, ха-ха!

Андош Фино подхихикнул.

— Поэтому будьте спокойны, — продолжал де Люпо. — Я сегодня вечером все уладил. Церковное управление вынуждено будет уступить.

— Я бы предпочла лишиться всякой надежды, но видеть вас у меня за обедом, — шепнула ему Селестина, глядя на него с таким негодованием, которое можно было объяснить и самой пылкой любовью.

— Вот чем я заслужу помилование, — отвечал он, вручая ей приглашение на вечер.

Селестина распечатала конверт и вся вспыхнула от удовольствия.

— Вы знаете, что такое эти вечера, — сказал де Люпо с таинственным видом. — Это в нашем министерстве все равно, что во дворце «малый прием». Вы окажетесь в самом средоточии власти. Там будет графиня Ферро, которая все еще в милости, несмотря на то, что Людовик Восемнадцатый умер; Дельфина де Нусинген, госпожа де Листомэр, маркиза д'Эспар; милая вашему сердцу де Кан, которую я позвал для того, чтобы поддержать вас, в случае если эти дамы примут вас в штыки. Я хочу видеть вас среди всего этого общества.

Селестина закинула голову, как чистокровная лошадь перед скачками, и перечитывала приглашение с таким же чувством, с каким Бодуайе и Сайяр, без конца упиваясь каждым словом, перечитывали свои статьи в газетах.

— Сначала туда, а когда-нибудь и в Тюильри, — сказала она де Люпо.

Де Люпо испугался, настолько ее тон и поза были выразительны и полны честолюбивой самоуверенности.

«Неужели я для нее лишь подножка?» — подумал он. Затем встал и направился в спальню г-жи Рабурден, куда она за ним последовала, ибо он сделал ей знак, что хочет поговорить без свидетелей.

— Ну, а проект? — спросил он.

— Ах, чепуха! Это одна из тех глупостей, которыми занимаются честные люди. Он хочет упразднить пятнадцать тысяч чиновников и оставить всего тысяч пять-шесть; вы и вообразить себе не можете, какой это чудовищный вздор. Я дам вам прочесть, когда все будет переписано. Но он искренен, и его каталог чиновников, где он разбирает все их достоинства и недостатки, подсказан самыми благородными намерениями. Бедный, милый чудак!

Услышав непритворный смех хозяйки, которым она сопровождала свои пренебрежительные и насмешливые слова, де Люпо совершенно успокоился: он был слишком опытен по части лжи и видел, что Селестина в эту минуту отнюдь не прикидывается.

— В чем же, однако, суть всего проекта? — настаивал он.

— Да вот, он хочет упразднить поземельный налог и заменить его налогами на потребление.

— Но ведь Франсуа Келлер и Нусинген предложили нечто подобное год тому назад, и министр уже подумывает о том, чтобы сократить налог на землю.

— Вот видите! Я же говорила ему, что все это не ново! — смеясь, воскликнула Селестина.

— Да, но если его предложения совпадают с мыслями величайшего финансиста нашей эпохи, человека, который в области финансов, говоря между нами, просто Наполеон, то у Рабурдена должны быть какие-то идеи относительно возможностей это осуществить!

— Ах, все это ужасное мещанство! — проговорила она с презрительной гримасой. — Подумайте! Он хочет, чтобы Франция управлялась пятью-шестью тысячами чиновников, тогда как, напротив, не должно быть ни одного француза, не заинтересованного в поддержании монархии.

Де Люпо был, видимо, доволен тем, что человек, которому он приписывал выдающиеся таланты, оказался ничтожеством.

— А вы вполне уверены в назначении? Хотите услышать совет женщины? — продолжала Селестина.

— Вы гораздо искуснее нас по части изящных предательств, — отвечал де Люпо, кивнув головой.

— Так вот: называйте и при дворе и в Конгрегации имя *Бодуайе*, чтобы уничтожить всякие подозрения и усыпить бдительность, а в последнюю минуту напишите: *Рабурден*.

— Есть такие женщины, которые говорят «да», пока мужчина им нужен, и «нет», когда его роль кончена, — промолвил де Люпо.

— Я тоже знаю таких, — рассмеялась она. — Но они очень глупы: ведь в политических кругах постоянно встречаешься все с теми же людьми. Так можно вести себя с дураками, а вы умны. По-моему, самая большая ошибка, которую можно совершить в жизни, — это поссориться с выдающимся человеком.

— Нет, не то! — сказал де Люпо. — Выдающийся человек простит. Опасно ссориться с мелкими, злобными душонками, которые только и заняты тем, как бы отомстить, а мне всю жизнь приходится иметь с ними дело.

Когда гости разъехались, Рабурден остался в комнате жены и, потребовав, чтобы она один раз в жизни внимательно его выслушала, изложил ей весь свой план: он показал ей, что стремится не сократить, а, наоборот, увеличить бюджет; объяснил, на что расходуются средства казны и как государство может увеличить во много раз оборот денег, участвуя на треть или на четверть в затратах, которых требуют частные или местные интересы. Ему удалось убедить ее в том, что его проект реформы вовсе не является пустой теорией, а сулит богатые возможности для своего практического осуществления. Селестина в восторге кинулась мужу на шею и, усадив его в кресло у камина, сама уселась к нему на колени.

— Значит, у меня теперь действительно такой муж, о котором я мечтала! — сказала она. — Я не знала твоих заслуг, и это спасло тебя от когтей де Люпо. Я искренне и очень удачно оклеветала тебя.

Рабурден плакал от счастья. Наконец-то и для него настал день торжества. Он совершил все ради своей жены, и аудитория, состоявшая из единственной слушательницы, признала его величие!

— А для того, кто знает, какой ты добрый, кроткий, рассудительный, любящий, ты вдвойне великий человек! — продолжала она. — Гений всегда более или менее дитя, и ты тоже, ты — мое милое дитя. — Она засунула руку за корсаж, вынула из этого излюбленного женского тайника приглашение и показала мужу. — Вот чего я добивалась, — пояснила она. — Де Люпо дал мне возможность лично встретиться с министром, и, будь его превосходительство хоть из бронзы, он на некоторое время станет моим слугой.

Со следующего же дня Селестина принялась готовиться к своему появлению у министра, в его интимном кружке. Это был для нее решающий день! Никогда куртизанка так не занималась своей наружностью, как занялась ею сейчас эта порядочная женщина. Никогда портниху так не терзали, и никогда еще портниха не понимала так ясно великое значение своего искусства. Словом, г-жа Рабурден не пренебрегла ни одной мелочью. Она самолично отправилась выбрать наемную карету, чтобы та не была ни слишком старой, ни мещанской, ни вызывающе роскошной. Она позаботилась о том, чтобы ее лакей, как и все лакеи хороших домов, сам был похож на барина. И вот, наконец, в знаменательный вторник, около десяти часов вечера, она выехала из дому в прелестном траурном туалете. Голова ее была убрана виноградными гроздьями из черного стекляруса художественной выделки — убор этот стоил тысячу экю, его заказала Фоссену какая-то англичанка, которая так и уехала, не взяв его. Листья, сделанные из железных пластинок, были тонко оттиснуты, совсем как настоящие, причем художник не позабыл сделать и усики, чтобы они грациозно обвивали локоны, как они обвивают в природе каждую ветку или стебелек. Браслеты, колье и серьги с подвесками были из так называемого берлинского железа; на самом же деле эти хрупкие арабески были венского происхождения, и чудилось, что они сделаны теми феями, которым в сказках какая-нибудь злая волшебница Карабос приказывает собрать глаза муравьев или выткать столь тонкую ткань, чтобы она уместилась в ореховой скорлупе. В черном наряде стан Селестины казался еще тоньше, и его стройность особенно подчеркивалась тщательно обдуманным покроем; платье с большим вырезом, открывающим плечи, держалось безо всяких бретелек; при каждом движении молодой женщины так и казалось, что она сейчас выскользнет из него, как мотылек из кокона, однако каким-то чудом все оставалось на месте благодаря хитроумной выдумке несравненной портнихи. Оно было из шерстяной кисеи, восхитительной ткани, тогда в Париже еще неизвестной и вскоре стяжавшей бешеный успех. Этот успех привел к более серьезным последствиям, чем обычно приводят моды во Франции. Свойства такой ткани позволяли женщинам экономить на стирке, и поэтому уменьшился спрос на бумажные материи, что произвело целый переворот в производстве Руанской фабрики. Ножки Селестины, обутые в тончайшие ажурные чулки и туфельки из турецкого сатина, — при глубоком трауре шелк не допускается, — поражали исключительным изяществом. Словом, Селестина была дивно хороша. После ванны из отрубей ее кожа приобрела особый, мягкий блеск. Глаза, увлажненные надеждой, светились умом и свидетельствовали о том превосходстве, которое тогда повсюду воспевал счастливый и гордый ею де Люпо

Она *вошла хорошо* — женщины поймут все значение этой формулы; грациозно поклонилась жене министра, соединив в этом поклоне должное уважение к хозяйке и сознание собственного достоинства, не ущемляя ее самолюбия, но сохраняя все свое величие, ибо красивая женщина — всегда царица. Поэтому же Селестина позволила себе и в отношении к министру милый и задорный тон, который женщинам не возбраняется в беседе с любым мужчиной, будь он даже принцем крови. Усаживаясь, она окинула взглядом поле битвы и убедилась, что попала на один из тех вечеров, где бывает избранное и очень немногочисленное общество; где женщины могут изучить и оценить друг друга; где малейшее слово слышат все; где каждый взгляд попадает в цель; где каждый разговор — это дуэль с секундантами; где все посредственное становится пошлостью, а все достойное признается без слов, как будто оно для присутствующих явление самое естественное. Рабурден удалился в соседнюю гостиную и простоял весь вечер у карточного стола, глядя на играющих, — чем доказал, что не лишен сообразительности.

— Ах, дорогая, — сказала маркиза д'Эспар графине Ферро, последней любовнице Людовика XVIII, — право же, Париж — несравненный город, только здесь совершенно неожиданно и неизвестно откуда появляются вот такие женщины: кажется, будто она все может и всего желает...

— Но она в самом деле все может и всего желает, — заметил, приосанившись, де Люпо.

А в это время хитрая Рабурденша старалась пленить жену министра. Получив накануне нужные указания от де Люпо, изучившего все слабые места графини, Селестина льстила ей с самым невинным видом. Затем она умолкла, так как де Люпо, невзирая на всю свою влюбленность, знал ее недостатки и еще накануне предостерег ее: «Главное, не говорите слишком много», — чем явно доказал свою искреннюю привязанность. Если Бертран Барер[[77]](#footnote-77) справедливо изрек: «Когда женщина танцует, не останавливай ее, чтобы дать ей полезный совет», — то его замечательную аксиому можно еще дополнить так: «Не упрекай женщину за то, что она понапрасну мечет бисер», и тогда к этой главе женских узаконений нечего будет прибавить. Вскоре разговор стал общим. Время от времени г-жа Рабурден осторожно вставляла словечко, — так благовоспитанная кошечка, пряча когти, кладет бархатную лапку на кружева хозяйки.

В сердечных делах министр отличался полнейшей скромностью: среди всех деятелей эпохи Реставрации трудно было найти другого человека, до такой степени утратившего способность к волокитству, и недаром органы оппозиции — «Мируар», «Пандора», «Фигаро» — не могли поставить ему в упрек даже какое-нибудь случайное увлечение. Его единственной возлюбленной была вечерняя газета «Этуаль» (которая, как это ни странно, осталась ему верна даже в беде, что, по-видимому, все же было ей выгодно). Об этой стороне жизни министра г-жа Рабурден знала; но она знала также, что привидения возвращаются в развалины замков, и вот она решила заставить министра позавидовать тому счастью — правда, отягощенному немалыми обязательствами, — которым, как могло казаться, наслаждался де Люпо.

А в это самое время де Люпо на все лады повторял имя Селестины. Желая создать успех своей мнимой любовнице, он из кожи лез и, вовлекая в разговор четырех собеседниц, стремился, при поддержке г-жи де Кан, внушить маркизе д'Эспар, г-же де Нусинген и графине, что они должны принять г-жу Рабурден в свою коалицию. Не прошло и часа, как министр оказался весьма заинтересованным Селестиной — ему нравился ее ум; она успела обольстить и его жену, и та просила эту сирену бывать у них почаще — они, мол, всегда рады будут ее видеть.

— Ведь вашего мужа, дорогая, скоро назначат директором, — сказала г-же Рабурден супруга министра. — Министр предполагает соединить два отделения и подчинить их одному лицу, тогда вы поневоле станете членом нашего кружка.

Его превосходительство увел Селестину посмотреть ту комнату в его апартаментах, которая своей якобы чрезмерной роскошью вызвала нарекания со стороны оппозиции, и убедиться в глупости журналистов. Он предложил ей руку.

— Право же, сударыня, вам следует почаще бывать у нас; вы этим доставите огромное удовольствие и мне и графине.

И он начал рассыпаться в чисто министерских любезностях.

— Но, граф, мне кажется, это от вас зависит, — отвечала она, бросив ему один из тех взглядов, которые всегда есть в резерве у женщин.

— Каким образом?

— Вы можете мне дать право на это.

— Объяснитесь!

— Нет, собираясь сюда, я решила, что не буду столь безвкусна и не явлюсь в роли просительницы

— Прошу вас, выскажитесь! Разговоры о *месте уместны* в любом *месте!* — засмеялся министр

Подобным серьезным людям нравятся только такого рода остроты

— Так вот, жене правителя канцелярии здесь бывать смешно, а жене начальника отделения — вполне *уместно*.

— Бросьте это, — сказал министр, — ваш муж — человек необходимый, он назначен.

— Это истинная правда?

— Ну, хотите посмотреть сами? Пойдемте в мой кабинет, там лежит назначение, все подготовлено.

— Что ж, — отозвалась она, продолжая стоять в стороне с министром, в торопливых заверениях которого было что-то подозрительное, — должна сказать вам, что я могу вас отблагодарить...

Она уже собиралась открыть ему план мужа, когда де Люпо, неслышно подошедший к ним, сердито пробормотал «гм... гм...» — показывая, что не намерен подслушивать (то, что, впрочем, уже успел подслушать) Министр с досадой покосился на старого фата, попавшегося в ловушку. Томимый жаждой поскорее одержать победу, де Люпо изо всех сил торопил подготовку приказа о назначениях, он успел вручить бумагу министру и мечтал самолично отвезти ее завтра той, которую считали его возлюбленной

В эту минуту с таинственным видом вошел камердинер министра и сообщил де Люпо, что его слуга просит немедленно передать своему барину письмо и предупредить, что оно чрезвычайно важное.

Секретарь министра подошел к одной из ламп и прочел записку, содержавшую следующее:

«Вопреки своему обыкновению, я ожидаю в прихожей, и вам надлежит, не теряя ни минуты, сговориться со мной.

Готовый к услугам Гобсек ».

Секретарь министра содрогнулся, узнав подпись ростовщика, которую здесь жаль было бы не воспроизвести, ибо она на редкость соответствовала автору записки и представляет собою немалый интерес для тех, кто пытается узнать людей по их манере подписываться. Если иероглиф когда-либо выражал сущность какого-либо животного, то таким иероглифом была подпись Гобсека, где первая и последняя буквы образовывали ненасытную акулью пасть, которая всегда разинута, захватывает и пожирает всех, слабого и сильного. Трудно было бы воссоздать весь текст, до того почерк был тонок, уборист, мелок, хотя и отчетлив; но его легко себе представить, если мы скажем, что вся фраза умещалась в одной строке. Только дух ростовщичества мог внушить фразу столь дерзко повелительную и столь холодно вежливую, ясную и вместе с тем загадочную: в ней все было сказано, но она ничего не выдавала. Если бы вы и не встречали Гобсека, то по одной этой строке, которой нельзя было ослушаться, хотя в ней и не содержалось приказа, можно было почувствовать, чтó за человек этот беспощадный ростовщик с улицы Грэ. Вот почему де Люпо, точно собака, которую позвал охотник, перестал преследовать дичь и отправился к себе, размышляя об опасности, угрожавшей его карьере. Представьте себе главнокомандующего, которому его адъютант только что сообщил: «Неприятель получил подкрепление, свежие силы в тридцать тысяч человек заходят с фланга».

Достаточно нескольких слов, чтобы объяснить, почему на поле боя появились господа Жигонне и Гобсек (ибо де Люпо застал у себя на квартире их обоих). В восемь часов вечера Мартен Фалейкс — примчавшийся, как вихрь, с помощью форейтора и трех франков кучеру на водку — привез купчие крепости, помеченные вчерашним числом. Митраль тотчас доставил их в кофейню «Фемида», оба ростовщика завладели ими и поспешили в министерство — впрочем, пешечком. Пробило одиннадцать. Увидев эти две зловещие физиономии, встретив их пристальные взгляды, которые пронзали, как пистолетная пуля, и сверкали, как огонь выстрела, де Люпо вздрогнул.

— Ну, что случилось, друзья мои?

Ростовщики были холодны и неподвижны. Жигонне молча указал сначала на свои бумаги, затем на лакея.

— Пройдемте в мой кабинет, — сказал де Люпо, сделав слуге знак, чтобы тот удалился.

— Вы очень догадливы, — заметил Жигонне.

— А вы что же, пришли мучить человека, который дал вам возможность заработать по двести тысяч? — спросил де Люпо с невольным высокомерием.

— И надеюсь, даст нам заработать еще, — сказал Жигонне.

— Опять какое-нибудь дело? — продолжал де Люпо. — Если я вам нужен, то, имейте в виду, мне кое-что подскажет моя память.

— А нам — ваши *памятки*.

— Мои долги будут уплачены, — небрежно бросил де Люпо, чтобы не дать им запугать его.

— Верно, — сказал Гобсек.

— Приступим к делу, сын мой, — заявил Жигонне. — И напрасно вы хорохоритесь перед нами — это бесполезно. Возьмите-ка эти документы и прочтите их.

Пока де Люпо, донельзя изумленный, читал документы, которые на него точно с неба свалились, ростовщики производили осмотр обстановки в кабинете хозяина.

— Что ж, разве мы не сообразительные дельцы и не идем вам навстречу? — сказал Жигонне.

— Но чему я обязан такой искусной поддержкой? — недоверчиво спросил де Люпо

— Вот уже неделя как нам известно то, что вам стало бы известно только завтра: председатель коммерческого суда, депутат, вынужден подать в отставку.

Глаза у де Люпо стали как плошки.

— Эту шутку сыграл с нами ваш министр, — не тратя лишних слов, объяснил Гобсек.

— Я в ваших руках, господа! — воскликнул секретарь министра, и в его насмешливом тоне сквозило искреннее почтение.

— Совершенно верно, — сказал Гобсек.

— Но вы намерены меня придушить? Ну что ж, палачи, начинайте, — ответил, улыбаясь, де Люпо.

— Вы видите, — продолжал Жигонне, — ваши долги по векселям приписаны к ссуде на приобретение земель.

— Вот и акты, — сказал Гобсек, извлекая юридические документы из кармана своего позеленевшего сюртука.

— На уплату всей суммы вам дается три года, — пояснил Жигонне.

— Но что вам от меня нужно? — спросил де Люпо, испуганный этой предупредительностью и столь необычным осуществлением своих замыслов.

— Место ла Биллардиера для Бодуайе! — поспешно ответил Жигонне.

— Это, конечно, не много, хотя мне придется сделать невозможное, — отвечал де Люпо, — я связан по рукам и ногам обещанием.

— Перегрызите веревки зубами, — сказал Жигонне.

— Они у вас преострые! — добавил Гобсек.

— И все? — спросил де Люпо.

— Мы оставим у себя купчие крепости до признания вот этих обязательств, — пояснил Жигонне, сунув бумаги под нос секретарю министра, — если комиссия в течение шести дней их не признает, ваше имя на купчих будет заменено моим.

— Ну, вы и ловки! — воскликнул де Люпо.

— Верно, — отозвался Гобсек.

— Идет? — спросил Жигонне.

Де Люпо наклонил голову.

— В таком случае подпишите это соглашение, — сказал Жигонне. — Через два дня Бодуайе должен быть назначен, через шесть векселя будут признаны, и...

— И что же? — спросил де Люпо.

— Мы вам гарантируем...

— Что же? — повторил де Люпо, все больше и больше удивляясь.

— Ваше избрание, — приосанившись, заявил Жигонне. — С пятьюдесятью двумя голосами фермеров и ремесленников, которые будут послушны вашему заимодавцу, мы располагаем большинством.

Де Люпо пожал руку Жигонне.

— Уж мы-то с вами всегда столкуемся, — заявил он. — Вот это называется делать дела! Но и я вам хочу доставить удовольствие.

— Справедливо, — сказал Гобсек.

— А что именно? — спросил Жигонне.

— Выхлопотать орден для вашего дурака Бодуайе.

— Ладно, — буркнул Жигонне, — должно быть, вы его хорошо знаете.

Ростовщики откланялись, и де Люпо проводил их до самой лестницы.

— Это, видно, тайные агенты какой-нибудь иностранной державы, — рассудили оба его лакея.

На улице ростовщики взглянули друг на друга при свете фонаря и расхохотались.

— Он будет платить нам ежегодно девять тысяч одних процентов, а земля едва даст ему пять тысяч чистыми! — воскликнул Жигонне.

— Он теперь надолго попал к нам в руки, — сказал Гобсек.

— Он начнет строиться, делать глупости, — продолжал Жигонне, — а Фалейкс купит землю.

— Для него главное — пролезть в депутаты, на остальное ему наплевать, — заметил Гобсек.

— Хи-хи!

— Хи-хи!

Сухонькое хихиканье заменяло хохот этим двум ростовщикам, возвращавшимся, опять пешечком, в кофейню «Фемида».

Де Люпо вернулся в гостиную министра, где г-жа Рабурден вовсю распускала хвост. Она была очаровательна, и министр, обычно угрюмый, казался весел и любезен.

«Она делает чудеса, — подумал де Люпо. — Эта женщина просто сокровище... Как бы проникнуть в самую глубину ее души?»

— Она в самом деле очень мила, ваша дама, — сказала маркиза секретарю министра, — ей не хватает только имени, подобного вашему.

— Да, ее единственный недостаток в том, что она дочь оценщика, происхождение чувствуется в ней и подведет ее, — отозвался де Люпо неожиданно холодным тоном, странно противоречившим пылкости, с которой он говорил о г-же Рабурден всего за несколько минут до того.

Маркиза внимательно посмотрела на де Люпо.

— Я заметила, какой взгляд вы бросили на них, — сказала она, указывая на министра и на г-жу Рабурден, — он сверкнул даже сквозь дымку ваших очков. Вы оба пресмешно вырываете друг у друга этот лакомый кусочек.

Маркиза направилась к дверям, и министр поспешил за ней, чтобы проводить ее.

— Ну как? Понравился вам наш министр? — обратился де Люпо к г-же Рабурден.

— Он очарователен! Действительно, нужно самим знать этих бедных министров, тогда только можно оценить их, — продолжала она громко, чтобы ее услышала супруга его превосходительства. — Мелкие газетки и клевета оппозиции так упорно извращают облик политических деятелей, что в конце концов невольно этому поддаешься; но при личном знакомстве вместо предубеждения появляется сочувствие.

— Он очень порядочный человек.

— Да, и уверяю вас, его можно полюбить, — с добродушной шутливостью заявила она.

— Деточка моя, — так же добродушно и лукаво ответил он, — вы совершили невозможное.

— А что именно? — спросила она.

— Вы воскресили мертвеца; я считал, что всякие чувства ему чужды, — спросите его жену. Министра хватает только на случайные развлечения. Но воспользуйтесь своей победой... Пойдемте сюда, не показывайте вида, что вы удивлены. — Он увлек г-жу Рабурден в будуар и усадил на диване рядом с собою. — Вы прехитрая, и я вас за это люблю еще больше. Говоря между нами, вы женщина исключительная. Де Люпо вас привел сюда, и все для него кончено, не правда ли? Действительно, если женщина решается любить из расчета, лучше уж выбрать шестидесятилетнего министра, чем его сорокалетнего секретаря: и выгод больше и хлопот меньше. К тому же я человек в очках, с напудренной головой, истощенный наслаждениями, — нечего сказать, хороша будет такая любовь! О, во всем этом я отдаю себе отчет. Если уж необходимо чем-нибудь пожертвовать, так по крайней мере с наибольшей пользой: приятным-то уж я никогда не буду, верно? Не дурак же я, чтобы не понимать своего положения! Вы можете сказать мне всю правду, открыть мне свое сердце: мы ведь союзники, а не любовники. Если у меня бывают случайные прихоти, вы слишком умны, чтобы обращать внимание на такой вздор, и вы меня извините: нельзя же допустить, чтобы у вас были взгляды пансионерки или мещанки с улицы Сен-Дени! Право же, мы с вами выше всего этого! Вон, смотрите, уходит маркиза д'Эспар — неужели вы думаете, что она держится других взглядов? Мы с ней два года тому назад очень хорошо спелись, — *(О, фат!)*, — и вот достаточно ей черкнуть мне два слова: мой дорогой де Люпо, вы, мол, меня очень обяжете, если сделаете то-то или то-то, — и все точнейшим образом выполняется! В данное время мы предполагаем исходатайствовать назначение опеки над ее мужем. Вам, женщинам, нетрудно добиться того, чего вы хотите: доставьте небольшое удовольствие — вот вся плата. Что ж, детка, закрутите министра, я вам помогу, это в моих интересах. Да, я желал бы, чтобы нашлась женщина, которая могла бы на него влиять: тогда уж он не ускользал бы из моих рук; а так он иногда ускользает, что вполне понятно; я ведь держу его только с помощью рассудка; войдя же в соглашение с хорошенькой женщиной, я буду держать его с помощью безрассудства, что гораздо надежнее. Итак, останемся друзьями и сообща будем извлекать пользу из того доверия, которого вы добьетесь.



Госпожа Рабурден слушала с глубочайшим изумлением своеобразное исповедание веры парижского циника. Простодушный тон этого политического коммерсанта исключал всякую мысль об обмане.

— Значит, вы находите, что он обратил на меня внимание? — спросила она, попавшись на удочку.

— Я его знаю и потому уверен.

— Правда ли, что назначение Рабурдена подписано?

— Я подал ему бумаги сегодня утром. Но стать директором главного управления — это даже еще не половина дела, надо стать докладчиком государственного совета...

— Верно, — согласилась она.

— Так вот, возвращайтесь в гостиную и продолжайте кокетничать с его превосходительством.

— Право, я только сегодня вечером настоящим образом узнала вас. В вас нет ни капли пошлости.

— Итак, мы с вами старые друзья, мы отказываемся от нежных вздохов и скучной любви и решаем отнестись к этому вопросу, как относились во времена Регентства, когда люди были очень умны.

— Вы действительно человек сильный, и я восхищаюсь вами, — сказала она, улыбнувшись и протянув ему руку. — И вы увидите, что для друга можно сделать больше, чем для...

Она не докончила и удалилась.

«Милая детка, — подумал де Люпо, глядя, как она направляется к министру, — у де Люпо уже нет никаких угрызений совести, и он может спокойно обратиться против тебя! Завтра вечером, протягивая мне чашку чая, ты предложишь то, чего я уже не захочу... Все кончено! Ах, когда нам сорок лет, женщины только надувают нас, а о любви нечего и думать!»

Прежде чем вернуться в гостиную, он поглядел на себя в зеркало и решил, что еще очень хорош для политического деятеля, но в служители Киферы[[78]](#footnote-78) совершенно не годится.

В это время г-жа Рабурден собралась уезжать. Весь вечер она была озабочена тем, чтобы оставить у каждого из присутствующих чарующее воспоминание о своей особе, и это ей удалось. Вопреки обыкновению, установившемуся в великосветских гостиных, как только за нею закрылась дверь, все единодушно решили: «Что за прелестная женщина!» — а министр пошел проводить ее до самого выхода.

— Я уверен, что завтра у вас будет повод вспомнить обо мне, — сказал его превосходительство супругам Рабурденам, намекая на предстоящее назначение мужа.

— У крупных чиновников так редко бывают приятные жены, что я очень рад нашему новому приобретению, — заявил министр, вернувшись к гостям.

— А вы не находите, что она несколько навязчива? — спросил де Люпо.

Женщины многозначительно переглянулись: их забавляло соперничество между министром и его секретарем.

Тогда последовала одна из тех игривых мистификаций, на которые парижанки такие мастерицы. Занявшись г-жой Рабурден, дамы решили подразнить министра и де Люпо: одна нашла ее слишком жеманной и притязающей на остроумие; другая, чтобы покритиковать Селестину, принялась сравнивать любезность буржуазок с манерами представительниц высшего света. А де Люпо защищал свою мнимую возлюбленную, как в гостиных защищают своих врагов:

— Но все-таки нужно отдать ей справедливость, сударыни, разве не удивительно, что дочь оценщика так хорошо держится! Вспомните, кем она была и кем стала. И она-то будет принята в Тюильри — по крайней мере претендует на это, она мне сама говорила.

— Если она и дочь оценщика, — сказала г-жа д'Эспар улыбаясь, — то чем это может помешать повышению ее мужа?

— В наше время, не правда ли? — вставила супруга министра, поджав губы.

— Сударыня, — строго заметил министр маркизе, — подобными суждениями, от которых, к несчастью, двор никого не в силах оградить, подготовляются революции. Вы не поверите, насколько несдержанность аристократии вызывает недовольство некоторых дальновидных особ из придворных кругов. Будь я вельможей, а не мелким провинциальным дворянином, занимающим этот пост, кажется, только чтобы устраивать ваши дела, монархия не была бы так непрочна. Но на какое же будущее может надеяться престол, не умеющий сообщить свой блеск тем, кто его представляет? Прошли те времена, когда король одним актом своей воли возвеличивал таких людей, как Лувуа, Кольбер, Ришелье, Жаннен, Вильруа, Сюлли... Да, когда Сюлли начинал, он был таким же скромным дворянином, как и я. Говорю все это оттого, что мы в своем кругу, и я был бы ничтожеством, если бы меня шокировали те мелочи, о которых вы упоминали. Не другие, а мы сами должны подымать себя на высоту.

— Ты назначен, дорогой, — сказала Селестина, сжимая руку мужа. — Не будь там де Люпо, я бы уже изложила министру твой план; но я наверстаю это в следующий вторник, и ты, может быть, скорее станешь докладчиком Совета.

В жизни каждой женщины найдется такой день, когда она сияет полным блеском, день этот остается жить в ее памяти навсегда, и она в мыслях охотно возвращается к нему. Пока г-жа Рабурден снимала с себя одни за другими свои украшения, она представила себе снова то, что произошло у министра, и отнесла этот день к самым славным и счастливым дням своей жизни. Женщины завистливым оком смотрели на все ее красы, жена министра похвалила ее и была очень довольна, что Селестина затмила ее приятельниц. Наконец, все эти суетные утехи послужили на пользу супружеской любви: Рабурден назначен!

— Разве не была я хороша сегодня вечером? — спросила она мужа, словно желая его расшевелить.

А в это время Митраль поджидал в кофейне «Фемида» обоих ростовщиков, увидел их наконец, но ничего не мог прочесть на их бесстрастных лицах.

— Ну, как дела? — спросил он, когда все уселись за стол.

— Как и всегда, победили деньги! — потирая руки, отозвался Жигонне.

— Верно, — сказал Гобсек.

Митраль нанял кабриолет и поехал к Сайярам и Бодуайе. Бостон у них затянулся, но из посторонних остался только аббат Годрон. Фалейкс, до смерти уставший, отправился спать.

— Вы будете назначены, племянник, и вам готовится еще сюрприз в придачу.

— Какой? — спросил Сайяр.

— Орден! — воскликнул Митраль.

— Господь помогает тем, кто помнит о его алтарях, — заявил Годрон.

Таким образом, в обоих лагерях одинаково ликовали и пели хвалу всевышнему.

На другой день, в среду, Рабурдену предстояло работать с министром, так как со времени болезни покойного ла Биллардиера Рабурден замещал начальника отделения. Все эти дни чиновники являлись на службу с необычной точностью, а канцелярские служители были отменно предупредительны, ибо при новых назначениях обычно в канцеляриях царит всеобщее смятение, хотя почему именно — никто не скажет.

Итак, все три канцелярских служителя были на месте, они надеялись получить наградные; стараниями де Люпо слух о назначении Рабурдена распространился еще накануне.

Дядюшка Антуан и его племянник Лоран облеклись с утра в парадную форму; в восемь часов без четверти явился курьер и попросил Антуана незаметно передать Дютоку пакет от секретаря министра, который де Люпо велел делопроизводителю отнести еще к семи часам утра.

— Сам не знаю, братец, как это случилось, — я спал, спал без памяти и только сейчас проснулся. Он мне задаст чертовскую головомойку, коли узнает, что я вовремя не снес пакет; только молчите, а уж я уверю его, что сам передал его господину Дютоку. Это страшный секрет, папаша Антуан; смотрите, ни слова никому из чиновников; обещайте! Если он узнает, что я проболтался, он выгонит меня, и я потеряю место, он сам так сказал.

— А что же там написано? — спросил Антуан.

— Ничего. Я и так и этак смотрел, видите?

И он слегка приоткрыл конверт, но не было видно ничего, кроме чистой бумаги.

— Сегодня у вас особый денек, Лоран, — сказал курьер, — получите нового начальника. Видно, и вправду решили наводить экономию: соединяют два отделения, будет один директор над ними, теперь могут и до служителей добраться!

— Да, девять чиновников вынуждены подать в отставку, — сказал, входя, Дюток. — А откуда вы-то пронюхали?

Антуан вручил ему письмо, и едва Дюток открыл его, как чуть не скатился по лестнице, пустившись бегом к секретарю министра.

Когда ла Биллардиер наконец умер, чиновники Рабурдена и Бодуайе, наговорившись вдоволь об этом событии, постепенно вернулись к повседневной жизни и к своим привычкам административного dolce far niente[[79]](#footnote-79). Все же приближался конец года, и это вызывало у них некоторое трудолюбивое усердие, так же как вызывало у швейцаров елейное раболепство. Каждый являлся вовремя, многие задерживались и после четырех часов, ибо наградные сильно зависят от впечатления, которое произведешь на своего начальника за самые последние дни. Весть о слиянии двух отделений, ла Биллардиера и Клержо, в одно управление под новым названием взбудоражила всех чиновников. Было известно, сколько человек подлежит увольнению, но кто именно — еще не знали. Высказывались догадки, что на место Пуаре никого не назначат — таким образом, его должность упразднялась. Молодой ла Биллардиер ушел сам. Но только что поступили два новых сверхштатных писца, и — о ужас! — они были сыновьями депутатов. Слух о сокращениях, распространившийся с вечера, в то время когда чиновники уже собирались уходить, поверг их в ужас. Поэтому, придя на следующее утро, они добрых полчаса провели около печек в оживленных разговорах. Дюток явился раньше всех и отправился к де Люпо, которого застал за туалетом; продолжая бриться, секретарь министра взглянул на него — такой взгляд бросает генерал перед тем, как отдать приказ.

— Мы одни? — спросил де Люпо.

— Да, сударь.

— Итак, начинайте поход против Рабурдена, смело и решительно. Вы, конечно, оставили у себя копию его проекта?

— Оставил.

— Вы понимаете меня? Inde irae![[80]](#footnote-80). Нам нужно вызвать против него всеобщее возмущение. Придумайте что-нибудь, чтобы все возопили.

— Я могу заказать карикатуру, но у меня нет пятисот франков, чтобы заплатить за нее...

— А кто ее сделает?

— Бисиу.

— Получит тысячу и будет помощником Кольвиля, этот с ним поладит.

— Но он же не поверит мне.

— А вы что, намерены меня компрометировать? Принимайтесь за дело, иначе ничего не получите.

— Если господин Бодуайе назначается директором, он мог бы одолжить эту сумму...

— Да, назначается. А теперь оставьте меня; поторопитесь и не показывайте вида, что мы с вами встретились, спуститесь по боковой лестнице.

В то время как Дюток возвращался в канцелярию, трепеща от радости и придумывая средство возбудить, не слишком себя компрометируя, всеобщий ропот против своего начальника, Бисиу побежал навестить рабурденцев. Считая свою игру проигранной, этот мистификатор решил позабавиться и держаться так, словно он выиграл.

Бисиу *(подражая голосу Фельона)*. Господа, кланяюсь вам и всех приветствую. Назначаю на будущее воскресенье обед в «Роше-де-Канкаль»; но нужно решить один важный вопрос; уволенные чиновники участвуют или нет?

Пуаре. Конечно, и даже те, кто уходит в отставку!

Бисиу. Мне-то решительно все равно, ведь не я плачу. *(Всеобщее изумление.)* Назначен Бодуайе, и мне уже не терпится услышать, как он зовет Лорана *(передразнивает Бодуайе)*.

Спрячь под замок, Лоран, мой бич и власяницу.

*(Взрыв хохота.)*

*«Гуся бей!»* Кольвиль прав со своими анаграммами. Ведь вам известна анаграмма «Ксавье Рабурдена, начальника канцелярии». Будь я Карлом Десятым, я бы трепетал, как бы и моя судьба, предсказанная анаграммой, не исполнилась столь же неукоснительно.

Тюилье. Что вы? Смеетесь?

Бисиу *(расхохотавшись ему прямо в лицо)*. Смехом урода крой. Мехом урода скрой. Шутка недурна, папаша Тюилье, ибо вы далеко не красавец. От злости, что назначен Бодуайе, Рабурден подает в отставку.

Виме *(входя)*. Что за комедия! Я пошел вернуть свой долг Антуану — тридцать — сорок франков, — и он рассказал мне, что супруги Рабурдены вчера были на интимном вечере у министра и уехали только без четверти двенадцать. Его превосходительство проводил госпожу Рабурден до самой лестницы; говорят, она была одета божественно. Словом, сомнений нет — Рабурден назначен директором. Рифе, экспедитор стола личного состава, работал ночь напролет, чтобы все подготовить: теперь это назначение уже не тайна. Господин Клержо подал в отставку. После тридцати лет службы это нельзя считать увольнением. Господин Кошен богат...

Бисиу. Если верить Кольвилю, он торгует кошенилью.

Виме. Ну, конечно, кошенилью, ведь он же компаньон Матифá, владельца фирмы на улице Ломбардцев. Так вот, он тоже уходит. Пуаре уходит. И на их места никого не берут. Назначение господина Рабурдена состоится сегодня утром... но опасаются интриг...

Бисиу. Каких интриг?

Флeри. Ну, со стороны Бодуайе, конечно! Клерикальная партия поддерживает его; а вот еще статья в газете либералов: всего несколько строк, но презабавно. *(Читает.)* «Вчера в фойе Итальянской оперы поговаривали о возвращении господина Шатобриана в министерство, эти слухи вызваны тем, что место, предназначенное господину Бодуайе, получает господин Рабурден, которому покровительствуют друзья высокородного виконта. Ясно, что клерикальная партия могла отступить только в результате соглашения с прославленным писателем». Негодяи!

Дюток *(подслушавший этот разговор, входит)*. Кто это негодяи? Рабурден? А, так вы уже знаете новость?

Флери *(свирепо вращает глазами)*. Рабурден?! Негодяй?! Да вы спятили, Дюток, не хотите ли пулю в лоб — авось поумнеете!

Дюток. Я ничего не сказал против господина Рабурдена, но мне во дворе сейчас шепнули, что он донес на многих чиновников, сообщил всякие сведения о них — словом, заслужил благоволение начальства каким-то исследованием, в котором всех нас опорочил...

Фельон *(решительно)*. Господин Рабурден не способен...

Бисиу. Каково! А? Скажите, Дюток... *(Они шепчутся и выходят в коридор.)* Что случилось?

Дюток. Вы помните насчет карикатуры?

Бисиу. Помню, ну и что же?

Дюток. Нарисуйте ее! Вы будете назначены помощником начальника канцелярии и получите щедрое вознаграждение. Видите ли, дорогой, в высших сферах происходят раздоры: министр связал себя, он обещал место Рабурдену; но если он не назначит Бодуайе, то поссорится с духовенством. Разве вы не знаете? Король, дофин, его супруга, Церковное управление по раздаче подаяний — словом, двор хочет Бодуайе, а министр хочет Рабурдена.

Бисиу. Так! Что же дальше?

Дюток. Министр понял, что придется уступить, но все это не так просто, нужно найти повод, чтобы отделаться от Рабурдена. И вот откопали какой-то старый его труд, где он обследует весь персонал административных управлений, чтобы очистить его, — и кое-какие страницы уже ходят по рукам. По крайней мере я так объясняю себе всю эту историю. Нарисуйте карикатуру, вмешайтесь в эту большую игру, окажите услугу министерству, двору, всем власть имущим — и вы получите повышение. Понимаете?

Бисиу. Не понимаю, каким образом вы могли все это узнать, — да уж не сочиняете ли вы?

Дюток. Хотите, я покажу вам, что написано о вас?

Бисиу. Покажите.

Дюток. Тогда приходите ко мне, я хочу отдать этот документ в верные руки.

Бисиу. Идите к себе, я приду потом. *(Возвращается в канцелярию рабурденцев.)* Дюток лишь подтвердил мне то, что я рассказывал вам, — уверяю вас! Господин Рабурден, предлагая некоторые преобразования, дал якобы весьма нелестные отзывы о чиновниках. Вот в чем тайна его возвышения. Мы живем в такое время, когда ничему уже не удивляешься. *(Став в позу Тальма.)*

Прославленных голов мы видели паденье.

Так почему ж, глупцы, пришли вы в изумленье?

Нами могут пожертвовать ради успеха! Нет, Бодуайе слишком глуп, чтобы преуспевать с помощью подобных средств! Примите мои поздравления, господа, у вас отменный начальник! *(Выходит.)*

Пуаре. Видно, мне суждено уйти из министерства, так и не поняв ни слова из того, что говорит этот господин. К чему он вспомнил про головы?

Флeри. Ну, ясно, черт возьми! Он имел в виду четырех сержантов Ла-Рошели, Бертона, Нея, Карона, братьев Фоше[[81]](#footnote-81) — словом, всех казненных!

Фельон. Он легкомысленно распространяет весьма сомнительные слухи.

Флeри. Скажите попросту, что он лжец, враль и что в его устах даже правда становится клеветой.

Фельон. Ваши слова нарушают правила вежливости и уважения друг к другу, обязательные между сослуживцами.

Виме. Но я считаю, что если его слова — ложь, то он клеветник, диффаматор, а клеветника бьют хлыстом.

Флери *(оживляясь)*. И если канцелярия — общественное место, это дело прямо для полиции нравов.

Фельон *(желая предотвратить ссору, старается перевести разговор на другую тему)*. Успокойтесь, господа. Я работаю над новым маленьким трактатом о морали и как раз остановился на понятии души...

Флeри *(прерывая его)*. И что же вы о ней говорите, господин Фельон?

Фельон *(читает)*. «*Вопрос.* Что такое душа человека?

*Ответ.* Духовное вещество, которое мыслит и рассуждает».

Тюилье. Сказать «духовное вещество» — все равно, что сказать «нематериальный камень».

Пуаре. Дайте же кончить...

Фельон *(продолжает)*. «*Вопрос.* Откуда происходит душа?

*Ответ.* Она происходит от бога, создавшего ее простой и неделимой, почему, следовательно, нельзя и допустить, что она может быть разрушена. И он сказал...»

Пуаре *(поражен)*. Бог?

Фельон. Да, сударь. Так утверждает предание.

Флери *(к Пуаре)*. Вы сами все время перебиваете!

Фельон *(продолжает)*. «И он сказал, что создал ее бессмертной, то есть что она никогда не умрет.

*Вопрос.* Для чего служит душа?

*Ответ.* Для того, чтобы постигать, желать и вспоминать, то есть иметь разумение, волю, память.

*Вопрос.* Для чего служит разумение?

*Ответ.* Для познания. Оно есть око души».

Флeри. А душа — око чего?

Фельон *(продолжает)*. «*Вопрос*. Что познается разумением?

*Ответ.* Истина.

*Вопрос.* Для чего человеку дана воля?

*Ответ.* Дабы любить добро и ненавидеть зло.

*Вопрос.* Что такое добро?

*Ответ.* То, что делает человека счастливым».

Виме. И это предназначается для молоденьких барышень?

Фельон. Да. *(Продолжает.)* «*Вопрос.* Сколько есть видов добра?»

Флeри. Все это как-то очень легкомысленно.

Фельон *(задетый)*. Сударь! *(Успокаиваясь.)* Впрочем, вот и ответ. Я как раз дошел... *(Читает.)*

«*Ответ.* Есть два вида добра — добро вечное и добро временное».

Пуаре *(с презрительной гримасой)*. И это будут раскупать?

Фельон. Смею надеяться. Необходимо большое напряжение ума, дабы установить правильную систему вопросов и ответов, вот почему я просил вас дать мне подумать, ибо в ответах вся соль...

Тюилье *(прерывая его)*. Ну, тогда ответы можно продавать отдельно.

Пуаре. Это что, каламбур?

Тюилье. Да! Такие ответы пригодятся для засола капусты.

Фельон. Прошу прощения, что прервал вас. *(Снова погружается в свои папки с делами. Про себя.)* Но зато они совсем забыли о господине Рабурдене.

А в это время между де Люпо и министром происходил разговор, который решил судьбу Рабурдена. Перед завтраком де Люпо пришел в кабинет его превосходительства, предварительно убедившись в том, что ла Бриер их не может услышать.

— Ваше превосходительство не играет со мной в открытую...

«Ну вот, теперь мы поссоримся из-за того, что его любовница вчера пококетничала со мною», — подумал министр.

— Я не ожидал, что вы такое дитя, дорогой друг, — сказал он.

— Друг? — подхватил секретарь министра. — А вот мы это сейчас узнаем.

Министр свысока посмотрел на де Люпо

— Мы одни — и можем объясниться. Депутат того округа, где находится мое поместье Люпо...

— А это в самом деле поместье? — спросил министр, смеясь, чтобы скрыть свое удивление.

— Да, я прикупил к своей усадьбе еще участки на двести тысяч франков, — небрежно бросил в ответ де Люпо. — Вам известно об уходе этого депутата уже десятый день, и вы не сочли своим долгом меня предупредить, хотя отлично знаете, что я хочу попасть в палату как член партии центра. А подумали вы о том, что я могу перейти на сторону доктринеров, которые поглотят и вас и монархию, если эта партия и в дальнейшем будет вербовать людей талантливых, не получивших признания? Известно ли вам, что в каждой нации наберется не больше пятидесяти — шестидесяти опасных вольнодумцев, ум которых равен их честолюбию? Умение управлять и состоит в том, чтобы найти их и либо отрубить их умные головы, либо купить этих людей. Не знаю, талантлив ли я, но честолюбив — бесспорно, и вы совершаете ошибку, не столковавшись с человеком, который желает вам добра. Коронование на миг всех ослепило, ну а потом?.. А потом опять пойдет словесная война, и споры, и речи, полные отравы... Что касается вас, то, смотрите, не загоните меня в левый центр, это будет некстати, поверьте мне! Несмотря на все ухищрения вашего префекта, которому, вероятно, даны тайные инструкции провалить меня, я все-таки получу большинство. Настала минута, когда нам необходимо до конца понять друг друга. Легкий удар по способу Жарнака иногда содействует укреплению дружбы. Мне дадут графский титул, и за все мои заслуги, вероятно, не откажут в большом кресте Почетного легиона. Но эти возможности меня волнуют меньше, чем одно обстоятельство, имеющее прямое отношение к вам. Рабурден еще не назначен, а сегодня утром я получил сведения, что вы доставите удовольствие очень многим, если предпочтете ему Бодуайе.

— Бодуайе? — воскликнул министр. — Да вы ведь знаете ему цену!

— Знаю, — отвечал де Люпо, — но как только его неспособность станет очевидна, вы избавитесь от него, попросив тех, кто ему покровительствует, пристроить его в другом месте. Таким образом, вы сможете предоставить в распоряжение своих друзей хороший директорский пост, а те помогут вам отделаться от какого-нибудь обременительного честолюбца.

— Я обещал Рабурдену...

— Да, но я не предлагаю вам сегодня же изменить ваше решение. Я знаю, как опасно говорить «да» и «нет» в один и тот же день. Отложите все назначения до послезавтра. А послезавтра вы сами придете к выводу, что сохранить Рабурдена невозможно; впрочем, вы получите от него самого прошение об отставке.

— Прошение об отставке?!

— Да.

— Почему?

— Он — орудие каких-то тайных сил, для которых широко занимался шпионажем во всех министерствах, и все случайно открылось, об этом везде идут разговоры; чиновники в ярости. Ради бога, не работайте сегодня с ним, позвольте мне избавить вас от этого под каким-нибудь предлогом. Отправляйтесь к королю во дворец, я уверен, что там многие будут довольны вашей уступкой относительно Бодуайе, и вы, бесспорно, добьетесь кое-чего взамен. А впоследствии никто вам не помешает прогнать этого болвана, ибо вы действуете, так сказать, по приказу свыше.

— Кто заставил вас так резко изменить свое отношение к Рабурдену?

— Разве вы стали бы помогать Шатобриану писать статью против министерства? Ну вот, прочтите, например, как Рабурден в своем исследовании аттестует меня, — сказал де Люпо, протягивая министру листки рукописи. — Он создал план целой системы управления, вероятно, в интересах какого-то сообщества, которое нам неизвестно. Я сохраню с ним дружеские отношения, чтобы следить за ним; мне кажется, я окажу этим большую услугу, за которую получу звание пэра (ибо стать пэром — единственный предмет моих желаний). Будьте уверены, что я не жажду ни министерского поста, ни чего бы то ни было, что могло бы затронуть ваши интересы; я мéчу только в пэры, это даст мне возможность жениться на дочери какого-нибудь банкира, которая принесет мне двести тысяч ежегодного дохода. Поэтому дайте мне повод оказать правительству незабываемую услугу, чтобы королю было доложено обо мне как о спасителе престола. Я уже давно утверждаю, что либерализм больше не будет давать нам регулярных сражений; он отказался от заговоров, от карбонаризма, от вооруженных восстаний, он уже ведет подкоп и готовится к решительному перевороту, чтобы заявить: «Убирайся, я сяду на твое место!» Неужели вы думаете, что я сделался поклонником жены какого-то Рабурдена ради собственного удовольствия? Ничуть! У меня уже были кое-какие сведения! Итак, я обращаюсь к вам сегодня с двумя просьбами: отложите назначение и искренне содействуйте моему избранию. Вы увидите, к концу сессии я вам с лихвой заплачу мой долг!

Вместо ответа министр протянул ему список готовых назначений.

— Итак, я пошлю сказать Рабурдену, что вы откладываете встречу с ним до субботы, — сказал де Люпо.

Министр кивнул в знак согласия. Вскоре во дворе показался министерский курьер. Он явился к Рабурдену и предупредил его, что занятия с министром переносятся на субботу, когда палата рассматривает только ходатайства и министр свободен целый день.

Именно в эту минуту Сайяр и ввернул в разговоре с женою министра заранее приготовленную фразу, на которую та с достоинством отвечала, что не вмешивается в государственные дела, но, впрочем, слышала, будто бы г-н Рабурден уже назначен. Сайяр в ужасе поднялся к Бодуайе, где оказались Дюток, Годар и Бисиу; все четверо были в неописуемом исступлении, ибо заняты были чтением беспощадных строк, в которых Рабурден давал оценку чиновникам канцелярии.

Бисиу *(тыча пальцем в какую-то строку)*. А вот и про вас тут есть, папаша Сайяр:

«*Сайяр.* Кассы следует упразднить во всех министерствах, каковые должны иметь текущие счета в казначействе. Сайяр богат и в пенсии совершенно не нуждается».

Хотите посмотреть, что говорится о вашем зяте? *(Листает рукопись.)* Вот:

«*Бодуайе.* Совершенно неспособен. Уволить без пенсии. Богат».

А наш друг Годар? *(Листает рукопись.)*

«*Годар.* Уволить. Дать пенсию, равную одной трети его оклада».

Словом, все мы тут. Я, видите ли, «артистическая натура», мне рекомендуется работать для Оперы, для Меню-Плезир, для Музеума, оплата из средств цивильного листа. «Очень одарен, нет выдержки, к усидчивому труду неспособен, характер беспокойный». Ну подожди, я припомню тебе эту «артистическую натуру»!

Сайяр. Упразднить всех кассиров? Чудовищно!

Бисиу. А что он пишет относительно нашего загадочного Деруа?

«*Деруа.* Человек опасный тем, что непоколебимо верен принципам, враждебным всякой монархической власти. Будучи сыном члена Конвента, восхищается Конвентом и может стать опасным публицистом».

Бодуайе. Даже полицию перещеголял!

Годар. Я подам через секретаря министра жалобу по всей форме; если подобный человек будет назначен, мы все должны уйти в отставку.

Дюток. Послушайте меня, господа! Если мы сейчас взбунтуемся, — скажут, что мы сводим личные счеты! Нет, вы лучше потихоньку распустите слухи. А когда все министерство возмутится, тогда ваши действия будут всеми одобрены.

Бисиу. Дюток хочет действовать по принципам знаменитой арии дона Базилио, созданной великим Россини и свидетельствующей о том, что прославленный композитор был также незаурядным политиком! Предложение Дютока кажется мне разумным и уместным. Я намерен завезти Рабурдену завтра утром мою визитную карточку; на ней будет напечатано: «Бисиу», а внизу: «Нет выдержки, к усидчивому труду неспособен, характер беспокойный».

Годар. Это хорошая мысль, господа! Давайте все закажем такие же карточки, и пусть Рабурден получит их завтра утром.

Бодуайе. Господин Бисиу, возьмите на себя это небольшое поручение, но позаботьтесь, чтобы все клише были уничтожены сразу же после оттиска.

Дюток *(отводя Бисиу в сторону)*. Ну как, теперь вы согласны нарисовать шарж?

Бисиу. Я понимаю, милейший, вы все это знали уже десять дней тому назад. *(Пристально смотрит ему в глаза.)* А помощником правителя канцелярии я буду?

Дюток. Даю честное слово! Да еще получите тысячу франков в придачу, как я обещал. Вы и не подозреваете, какую окажете услугу особам весьма могущественным.

Бисиу. А вам они известны?

Дюток. Да.

Бисиу. Только я хочу сам переговорить с ними.

Дюток *(сухо)*. О чем тут разговаривать? Сделаете рисунок — будете помощником правителя канцелярии, не сделаете — не будете.

Бисиу. Итак, действуйте! Завтра же карикатура будет ходить по рукам. Давайте дразнить рабурденцев. *(Обращаясь к Сайяру, Годару и Бодуайе, которые разговаривают друг с другом шепотом.)* Идемте, расшевелим соседей. *(Выходит вместе с Дютоком и появляется в канцелярии Рабурдена. Увидев его, Флeри, Тюилье и Виме оживляются.)* Что вы переполошились, господа? Я был совершенно прав; вы можете убедиться в гнусном предательстве, вам это подтвердит добродетельный, честный, почтенный, благочестивый и праведный Бодуайе, который, уж конечно, не способен ни в какой степени на подобное ремесло. Ваш начальник придумал настоящую гильотину для чиновников, никаких сомнений, пойдите полюбуйтесь! Не отставайте от других! Если публика останется недовольна, можно не платить, наслаждайтесь своим несчастьем бесплатно! Поэтому-то назначения и отложены. Во всех канцеляриях чиновники волнуются, Рабурдена сейчас предупредили, что министр сегодня не будет с ним работать. Ну, идите же!

Фельон и Пуаре одни остались в канцелярии. Первый слишком любил Рабурдена и не спешил удостовериться в том, что могло опорочить человека, которого он не хотел судить; второму оставалось прослужить всего пять дней. В эту минуту в канцелярию спустился Себастьен, взять бумаги на подпись. Он был очень удивлен, что в канцелярии пусто, но промолчал.

Фельон. Знаете ли вы, мой юный друг *(встает, хотя это не в его обыкновении)*, что у нас творится, какие слухи ходят относительно господина Рабурдена, которого вы так любите *(шепотом на ухо Себастьену)* и которого я люблю и почитаю? Говорят, он совершил неосторожность и оставил в канцелярии свой труд о чиновниках... *(Фельон не договаривает фразы и поддерживает дрожащими руками Себастьена, который становится белее полотна и в изнеможении опускается на стул.)* Приложите ему ключ к спине, сударь. Есть у вас ключ?

Пуаре. При мне всегда ключ от моей квартиры.

*(Старик Пуаре-младший сует ключ за воротник Себастьену, а Фельон заставляет молодого человека выпить стакан холодной воды. Бедный юноша, наконец, приходит в себя, но тут же заливается горючими слезами. Он опускает голову на стол Фельона, бессильно поникнув, точно сраженный молнией, и рыдает так горько, так безутешно, так неудержимо, что в первый раз за всю свою жизнь Пуаре взволнован чужим горем.)*

Фельон *(стараясь придать своему тону решительность)*. Полно, полно, мой юный друг! Мужайтесь. В серьезные минуты мужество необходимо. Ведь вы мужчина. Что случилось? И почему это так потрясло вас?

Себастьен *(рыдая)*. Я, я погубил господина Рабурдена! Я переписывал проект и оставил его здесь, я — убийца своего благодетеля, я больше не могу жить! Такой человек! Он был бы министром!

Пуаре *(сморкаясь)*. Значит, он действительно написал этот доклад?

Себастьен. Но ведь только для того, чтобы... Ну вот, я в довершение всего чуть было не выдал тайны! Ах, подлый Дюток! Это он выкрал...

Слезы и рыдания Себастьена возобновились с такой силой, что Рабурден услышал их из своего кабинета, узнал голос молодого человека и поднялся наверх. Когда он вошел в канцелярию, Себастьен был в полуобморочном состоянии; его, точно Иисуса при снятии с креста, поддерживали Фельон и Пуаре, стоявшие по обе стороны в позе жен-мироносиц, с искаженными жалостью лицами.

Рабурден. Что случилось, господа?

*(Себастьен вдруг выпрямляется, затем падает на колени перед Рабурденом.)*

Себастьен. Это я погубил вас, сударь! Дюток показывал всем ваш проект, он его, наверно, выкрал!

Рабурден *(спокойно)*. Я знаю. *(Поднимает Себастьена и ведет его к дверям.)* Вы — дитя, мой друг. *(К Фельону.)* Где господа чиновники?

Фельон. Они отправились, судáрь, в кабинет господина Бодуайе, чтобы посмотреть исследование, якобы...

Рабурден. Довольно.

*(Выходит, обняв Себастьена. Пуаре и Фельон онемели от изумления.)*

Пуаре *(к Фельону)*. Господин Рабурден?!

Фельон *(к Пуаре)*. Господин Рабурден?!

Пуаре. Вы подумайте! Господин Рабурден?!

Фельон. Но вы заметили, как спокойно и достойно он держался, несмотря ни на что?

Пуаре *(состроив хитрую мину, похожую на гримасу)*. Меня не удивит, если окажется, что под этим что-то кроется...

Фельон. Человек чести, чистый, без единого пятна!

Пуаре. А этот Дюток?

Фельон. Судáрь, мы насчет Дютока совершенно того же мнения; ведь вы меня понимаете?

Пуаре *(несколько раз кивает головой и произносит с многозначительным видом)*. Да.

*(Все чиновники возвращаются.)*

Флeри. Строгая критика, ничего не скажешь. Я читал — и не верил своим глазам! Господин Рабурден! Лучший из людей! Если среди таких людей находятся шпионы, то к добродетели можно почувствовать отвращение. А я видел в Рабурдене одного из героев Плутарха.

Виме. О да, это верно!

Пуаре *(он знает, что ему осталось служить всего пять дней!)*. Но что вы скажете, господа, о человеке, который украл этот труд, выследил господина Рабурдена?

*(Дюток выходит.)*

Флeри. Он Иуда Искариотский. А кто это сделал?

Фельон *(лукаво)*. Среди нас его сейчас нет.

Виме *(догадавшись)*. Это Дюток!

Фельон. Доказательств, судáрь, я не видел. Но пока вас здесь не было, этот молодой человек, господин де ла Рош, чуть не помер. Да вот, на моем столе еще не высохли его слезы.

Пуаре. Он потерял сознание, мы держали его на руках. А ключ-то! Ключ от моей квартиры! Ах, ведь ключ остался у него за воротником. *(Пуаре выходит.)*

Виме. Министр не пожелал работать сегодня с Рабурденом, а господин Сайяр, которому начальник личного стола шепнул словечко, пришел предупредить господина Бодуайе, — пусть подает просьбу о награждении его орденом Почетного легиона; к новому году на отделение дали один орден, и его получит господин Бодуайе. Вы понимаете? Господина Рабурдена принесли в жертву даже те, кто пользовались его услугами. Вот что говорит Бисиу. Нас всех должны были уволить, за исключением Фельона и Себастьена.

Дю Брюэль *(входит)*. Что же, господа, это правда?

Тюилье. Совершеннейшая правда.

Дю Брюэль *(снова надевает шляпу)*. Прощайте, господа. *(Выходит.)*

Тюилье. Наш водевилист не очень-то любит пальбу! Он отправился к герцогу де Реторе, к герцогу де Мофриньезу; ну и пусть побегает! Говорят, начальником у нас будет Кольвиль.

Фельон. А ведь, казалось, он любил господина Рабурдена.

Пуаре *(входит)*. С великим трудом удалось мне раздобыть ключ от моей квартиры; этот малыш все еще ревет, а Рабурден исчез неведомо куда.

*(Входят Дюток и Бисиу.)*

Бисиу. Ну, господа, страшные дела творятся в вашей канцелярии. Где дю Брюэль? *(Заглядывает в кабинет.)* Ушел.

Тюилье. Хлопочет.

Бисиу. А Рабурден?

Флери. Исчез! Растаял! Испарился! Подумать только, лучший из людей!

Пуаре *(к Дютоку)*. Этот сраженный горем юноша обвиняет вас в том, господин Дюток, что вы десять дней тому назад взяли рукопись Рабурдена...

Бисиу *(глядя на Дютока)*. Вам нужно оправдаться в подобном обвинении, милейший!

Дюток. Где этот змееныш, который ее переписывал?

Бисиу. А откуда вы знаете, что он переписывал? Помните, что только алмазом полируют алмаз.

*(Дюток уходит.)*

Пуаре. Послушайте, господин Бисиу, мне остается пробыть на службе всего пять с половиной дней, и мне хотелось бы хоть один раз, один-единственный раз иметь удовольствие вас понять. Окажите мне честь и объясните, при чем здесь алмаз...

Бисиу. А вот при чем, папаша, — разок я, так и быть, снизойду до вас: подобно тому, как лишь алмаз может резать алмаз, лишь зоркий одолеет зоркого.

Флери. Он говорит «зоркий» вместо «шпион».

Пуаре. Я не понимаю...

Бисиу. Ну, поймете в другой раз.

Господин Рабурден поспешил к министру. Министр был в палате депутатов. Рабурден отправился в палату и послал министру записку. Министр в это время был на трибуне, поглощенный жарким спором. Рабурден остался, но не в зале совещаний, а во дворе, решив, несмотря на холод, ждать его превосходительство возле кареты, чтобы поговорить, когда тот будет садиться в нее. Служитель сообщил ему, что министр участвует в схватке, вызванной выступлением девятнадцати представителей крайней левой, и что заседание очень бурное. Рабурден, охваченный мучительным волнением, ходил по двору; он прождал пять бесконечных часов. В половине седьмого потянулись вереницей члены палаты; вышел егерь министра и сказал кучеру:

— Эй, Жан, его превосходительство уехали с военным министром; они будут у короля, а потом вместе обедают Мы поедем за барином к десяти часам, у него вечером совещание.

Рабурден вернулся домой, еле волоча ноги; легко представить себе, как он был подавлен. Было уже семь часов. Он едва успел переодеться.

— Ну, ты назначен! — радостно воскликнула его жена, когда он появился в гостиной.

Рабурден откинул голову — в этом движении была жестокая печаль — и ответил:

— Боюсь, что моей ноги уже не будет в министерстве.

— Что случилось? — спросила жена с отчаянной тревогой.

— Моя докладная записка о чиновниках ходит по рукам, а мне так и не удалось поговорить с министром!

Перед Селестиной вдруг пронеслась картина ее последней встречи с де Люпо, и словно некий демон открыл ей при вспышке адской молнии все значение их разговора. «Если бы я повела себя как пошлая мещанка, место было бы за нами», — подумала Селестина.

Она смотрела на Рабурдена почти с болью. Наступило горестное молчание; за обедом оба сидели безмолвно, погруженные в свои мысли.

— А тут еще сегодня наша среда, — заметила она.

— Не все пропало, дорогая, — сказал Рабурден, целуя жену в лоб, — быть может, завтра мне удастся поговорить с министром, и все разъяснится. Себастьен вчера просидел всю ночь, копии закончены и сверены, я положу свою работу на стол министру и попрошу прочесть ее. Ла Бриер посодействует мне. Человеку не выносят приговор, не выслушав его.

— Хотела бы я знать, будет ли у нас сегодня господин де Люпо?

— Этот? Можешь быть уверена, что явится, — отвечал Рабурден. — Он хищник, он, как тигр, любит слизывать кровь с той раны, которую нанес!

— Бедный друг мой, — продолжала Селестина, беря его за руку, — я не понимаю, как создатель столь мудрого плана реформ мог упустить из виду, что посвящать в свой замысел никого нельзя. Такие замыслы человек таит про себя, ибо только он один знает, как применить их в жизни. Тебе следовало в своей сфере поступить так же, как Наполеон поступал в своей: он гнулся, извивался, ползал! Да, Бонапарт ползал! Чтобы стать главнокомандующим, он женился на любовнице Барраса. Тебе надо было выждать, добиться депутатства, следовать всем поворотам политики, то погружаться на морское дно, то подниматься на хребте волны и, подобно господину Виллелю, взять себе девизом итальянскую поговорку: «col tempo![[82]](#footnote-82)», что означает: «Все приходит в свое время для того, кто умеет ждать». Этот оратор, стремясь к власти, семь лет держал ее на прицеле и начал в 1814 году с протеста против хартии, — он был тогда в твоем возрасте. Вот где твоя ошибка! Ты подчинялся, хотя создан, чтобы повелевать.

Приход художника Шиннера заставил умолкнуть и жену и мужа; слова Селестины побудили Рабурдена призадуматься.

— Дорогой друг, — сказал Шиннер, пожимая руку чиновнику, — преданность художника довольно бесполезна, но в подобных случаях мы, люди искусства, остаемся верны своим друзьям. Я видел вечернюю газету. Бодуайе назначен директором и награжден орденом Почетного легиона...

— Меж тем, как я прослужил дольше всех, целых двадцать четыре года, — отвечал, улыбаясь, Рабурден.

— Я довольно хорошо знаком с графом де Серизи, министром; если вы хотите прибегнуть к его покровительству, я могу съездить к графу, — предложил Шиннер.

Гостиная постепенно наполнялась гостями, которые были не в курсе всех этих административных перемен. Дю Брюэль не пришел. Г-жа Рабурден была вдвое веселей и любезней, чем обычно, — так конь, раненный в сражении, находит в себе силы нести своего всадника.

— Она все же держится очень мужественно, — заметили некоторые из дам и, видя ее в несчастье, были с ней особенно ласковы.

— Однако же де Люпо пользовался ее особой благосклонностью, — сказала баронесса дю Шатле виконтессе де Фонтэн.

— Вы полагаете, что...

— Но тогда господин Рабурден получил бы хоть орден! — сказала г-жа де Кан, желавшая защитить свою приятельницу.

Около одиннадцати появился де Люпо, и состояние его можно описать в двух словах: очки его были грустны, а глаза веселы. Однако стекла так хорошо скрывали взор, что только физиономист мог бы заметить их дьявольский блеск. Де Люпо подошел к Рабурдену и пожал ему руку, которую тот вынужден был протянуть.

— Нам нужно будет с вами поговорить, — сказал де Люпо и, сделав несколько шагов, уселся возле прекрасной г-жи Рабурден, которая приняла его как нельзя лучше.

— Прекрасно, — пробормотал он, искоса взглянув на нее, — вы несравненны, вы такая, какой я себе рисовал вас, — великая даже в несчастье! Знаете ли вы, как редко отвечает выдающаяся личность тому представлению, которое о ней создано? И вы правы, мы восторжествуем, — шепнул он ей на ухо. — Ваша судьба в ваших руках до тех пор, пока вашим союзником будет человек, который вас обожает. Мы все обсудим.

— Но Бодуайе действительно назначен? — спросила она.

— Да, — отвечал секретарь министра.

— Он получил орден?

— Еще нет, но получит.

— Так о чем же говорить?

— Вы не знаете, что такое политика.

Пока тянулся этот вечер, казавшийся г-же Рабурден бесконечным, в доме на Королевской площади разыгрывалась одна из тех комедий, какие можно наблюдать в большинстве парижских гостиных при каждой смене чиновников министерства. Гостиная Сайяров была переполнена. Супруги Трансоны прибыли в восемь часов. Г-жа Трансон обняла г-жу Бодуайе, *урожденную Сайяр*. Г-н Батай, капитан национальной гвардии, явился с супругой и в сопровождении кюре от св. Павла.

— Позвольте мне первой поздравить вас, господин Бодуайе, — возгласила г-жа Трансон, — ваши таланты оценены. Скажем прямо, вы честно заслужили повышение.

— Ну, вот вы и директор, — сказал Трансон, потирая руки, — для нашего квартала это большая честь.

— И, уж можно сказать, дело сделалось без всяких интриг! — воскликнул папаша Сайяр. — Да, мы-то не интриганы! Мы не бегаем по интимным вечерам министров.

Дядя Митраль, улыбаясь, потер себе кончик носа и взглянул на свою племянницу Елизавету, беседовавшую с Жигонне. Фалейкс не знал, что и подумать об этом наивном ослеплении папаши Сайяра и Бодуайе. Тут вошли господа Дюток, Бисиу, дю Брюэль, Годар и Кольвиль, назначенный правителем канцелярии.

— Что за рожи! — сказал Бисиу, обращаясь к дю Брюэлю. — Какую славную можно нарисовать карикатуру, изобразив их в виде скатов, дорад и слизняков, пляшущих сарабанду.

— Господин директор, — начал Кольвиль, — разрешите поздравить вас, или, вернее, поздравить нас, с тем, что вы будете во главе управления; мы пришли заверить вас, что со всяческим усердием поможем вам в ваших трудах.

Господин и госпожа Бодуайе, отец и мать нового директора, также присутствовали при этом и наслаждались славой, выпавшей на долю их сына и невестки. Бидо-Жигонне, пообедавший у Бодуайе, шнырял по сторонам своими юркими глазками, и от его взглядов Бисиу становилось не по себе.

— Ну и урод! — сказал художник дю Брюэлю. — Прямо для водевиля! И откуда такие берутся? Он так и просится на вывеску для «Двух китайских болванчиков». А сюртук! Я думал, что только Пуаре может щеголять в одеянии десятилетней давности, столько претерпевшем от парижской непогоды.

— Бодуайе великолепен, — заметил дю Брюэль.

— Головокружителен! — согласился Бисиу.

— Господа, — обратился к ним Бодуайе, — вот мой родной дядя, господин Митраль, и мой двоюродный дед с жениной стороны, господин Бидо.

Жигонне и Митраль посмотрели на трех чиновников тем особым взглядом, в глубине которого поблескивает золото, и произвели должное впечатление на обоих насмешников.

— Каковы? — сказал Бисиу на обратном пути, вступая под аркады Королевской площади. — Вы внимательно рассмотрели этих двух Шейлоков? Держу пари, что они идут на Центральный рынок, чтобы пустить в оборот свои денежки из ста процентов в неделю. Они дают в долг под жалованье, торгуют старым платьем, позументом, сырами, женщинами и детьми; они — генуэзско-женевско-ломбардские арабо-евреи и к тому же еще парижане, вскормлены волчицей, а порождены турчанкой.

— Я слышал, что дядя Митраль был судебным приставом, — сказал Годар.

— Вот видите! — отозвался дю Брюэль.

— Я сейчас пойду проверить, как подготовлен литографский камень, — продолжал Бисиу, — но хотелось бы мне понаблюдать, что происходит сейчас в салоне господина Рабурдена. Вы — счастливчик, дю Брюэль, что можете туда пойти!

— Я? — удивился водевилист. — А что мне там делать? Мое лицо не пригодно для того, чтобы состроить соболезнующую мину. И потом, уж очень это безвкусно — паломничать к людям, получившим отставку.

В полночь гостиная г-жи Рабурден опустела, в ней остались только несколько гостей, де Люпо и хозяева дома. Когда Шиннер и Октав де Кан с женой тоже уехали, де Люпо поднялся с таинственным видом, повернулся спиной к часам и взглянул сначала на жену, потом на мужа.

— Друзья мои, — сказал он, — не думайте, что все пропало. Ведь мы с министром — ваши союзники. Дюток примкнул к той стороне, которая показалась ему сильнее. Он действовал в угоду Церковному управлению и двору, он предал меня, но это в порядке вещей, политический деятель никогда не жалуется на предательство. Однако не пройдет и нескольких месяцев, как Бодуайе будет смещен, его, вероятно, переведут в полицейскую префектуру, ибо клерикалы не оставят его без поддержки.

Затем он произнес длинную тираду относительно Церковного управления по раздаче подаяний, относительно опасностей, которым подвергает себя правительство, опираясь на церковь, на иезуитов и т. п.

Однако нельзя не отметить, что и двор и Церковное управление, которым либеральные газеты приписывают такое влияние на исполнительную власть, весьма мало участвовали в назначении почтенного Бодуайе. Эти маленькие интриги, дойдя до высших сфер, просто тонули среди более важных интересов, из-за которых там шла борьба. И если кое-кто и замолвил словечко за Бодуайе, уступая навязчивости кюре от св. Павла и г-на Годрона, то это ходатайство было приостановлено первым же замечанием министра. Конгрегацией управляли только страсти, и все предавали друг друга... Тайная власть этого объединения — вполне, впрочем, допустимого при наличии дерзкого сообщества доктринеров, под названием «Помогай себе сам, и небо тебе поможет»[[83]](#footnote-83), — казалась опасной только из-за того мнимого могущества, которое ей приписывали подначальные ей люди в пылу взаимных угроз. Да и либералам нравилось изображать в своих пересудах Церковное управление как некую гигантскую силу — политическую, административную, гражданскую и военную. Страх всегда будет создавать себе кумиры. В эту минуту Бодуайе верил в силу Церковного управления по раздаче подаяний, тогда как единственной «церковью», покровительствовавшей ему, были те благотворители, что обосновались в кофейне «Фемида». В иные эпохи бывают лица, учреждения, носители власти, которых обвиняют во всех несчастьях, не признавая за ними никаких достоинств, и в которых глупцы видят весь корень зла. И так же, как в свое время считалось, что г-н Талейран непременно должен по поводу каждого события сказать остроту, так в эти годы Реставрации полагали, что Церковное управление содействует или препятствует успеху любого начинания. К сожалению, оно не делало ни того, ни другого. Ибо его влияние не определялось человеком, подобным кардиналу Ришелье или кардиналу Мазарини, но всего только фигурой, напоминавшей кардинала Флeри: это лицо робело в течение пяти лет, осмелело на один день — и осмелело неудачно. Впоследствии доктринеры безнаказанно достигли при Сен-Мерри большего, чем Карл X намеревался достигнуть в июле 1830 года. И если бы не глупейшая статья о цензуре, включенная в новую хартию, у журналистов был бы тоже свой Сен-Мерри. Младшая ветвь вполне легально осуществила бы план Карла X.

— Имейте мужество остаться правителем канцелярии при Бодуайе, — продолжал де Люпо, — будьте истинным политическим деятелем; отбросьте все великодушные мысли и побуждения, замкнитесь в кругу своих служебных обязанностей; не говорите вашему директору ни слова, не давайте ему никаких советов, делайте только то, что он прикажет. Через три месяца Бодуайе будет вынужден уйти из министерства — его или уволят, или переведут в другую сферу административной деятельности. Может быть, в дворцовое ведомство. Мне дважды пришлось очутиться под лавиной глупости; я выжидал — пусть прокатится.

— Все это так, — сказал Рабурден, — но на вас не клеветали, не оскорбляли вашу честь, не позорили вас...

— Ха-ха-ха! — прервал его де Люпо взрывом гомерического хохота. — Да это же в нашей прекрасной Франции насущный хлеб любого выдающегося человека! К таким нападкам можно относиться двояко: или смириться, все бросить и сажать капусту; или быть выше и бесстрашно идти вперед, даже не оглянувшись.

— Я знаю только один способ развязать петлю, которую затянули у меня на шее шпионство и предательство, — отвечал Рабурден, — это немедленно объясниться с министром, и если вы действительно так искренне преданы мне, то вы ведь можете свести меня с ним завтра же!

— Вы хотите изложить ему ваш план административной реформы?

Рабурден наклонил голову.

— Ну что ж, доверьте мне ваши планы, ваши записки, и, клянусь вам, он просидит над ними всю ночь.

— Так идемте к нему вместе! — торопливо отвечал Рабурден. — После шестилетних трудов я, право же, заслужил хотя бы эти два-три часа, в течение которых министр будет вынужден признать мое усердие.

Упорство Рабурдена принуждало де Люпо вступить на открытый путь, где нельзя было спрятаться в кусты, и секретарь министра помедлил в нерешительности; взглянув на г-жу Рабурден, он спросил себя: «Что же возьмет во мне верх — ненависть к мужу или влечение к жене?»

— Раз вы не хотите мне довериться, — заявил он, наконец, правителю канцелярии, — значит, я навсегда останусь для вас только тем человеком, о котором вы писали в ваших секретных записках. Прощайте, сударыня!

Госпожа Рабурден отвечала холодным кивком.

Селестина и Ксавье молча разошлись по своим комнатам, до того они были подавлены обрушившимся на них несчастьем. Жена думала о том, в какое ужасное положение она теперь попала и как это уронит ее в глазах мужа. А правитель канцелярии, решив, что его ноги больше не будет в министерстве и что он подаст в отставку, просто терялся перед серьезностью вытекавших отсюда последствий: ведь это значило изменить всю свою жизнь, начать какую-то новую деятельность. Он до утра просидел перед камином, даже не заметив, что Селестина, уже в ночной сорочке, не раз на цыпочках входила к нему.

«Мне все равно придется пойти в министерство, чтобы взять свои бумаги и сдать Бодуайе дела, вот я и посмотрю, как они отнесутся к моему уходу в отставку», — решил Рабурден. Он написал прошение об отставке и сопроводил его письмом, в котором обдумал каждое слово:

«*Ваше высокопревосходительство!*

Имею честь обратиться к Вам с просьбой об отставке, каковая изложена в прилагаемом при сем прошении; смею надеяться, Ваше превосходительство вспомнит сказанные мною слова о том, что я отдаю в Ваши руки свою честь и что все зависит от моего немедленного объяснения с Вами. Об этом объяснении я тщетно умолял Вас, но теперь оно было бы, вероятно, уже бесполезно, ибо отрывок из моего труда о системе административного управления, случайно выхваченный и, следовательно, не дающий верного представления о моем проекте в целом, уже ходит по рукам чиновников, толкуется недоброжелателями вкривь и вкось, — и я, чувствуя осуждение, безмолвно вынесенное мне вышестоящими лицами, принужден уйти в отставку. Когда я в то утро порывался с Вами говорить, Вы, Ваше превосходительство, могли подумать, что я хлопочу о своем повышении, меж тем как я помышлял лишь о славе Вашего министерства и общественном благе; для меня важно внести перед Вами ясность в этот вопрос».

Затем следовали обычные формулы вежливости.

Было половина восьмого, когда этот человек свершил великое жертвоприношение, — он сжег весь свой труд. Устав от дум и сломленный душевными муками, он заснул, откинув голову на спинку кресла. Рабурден проснулся от странного ощущения — руки его были залиты слезами Селестины, стоявшей перед ним на коленях. Она вошла, прочла прошение об отставке и поняла, как огромна постигшая их катастрофа. Теперь они с Рабурденом были вынуждены жить на четыре тысячи франков в год. Г-жа Рабурден подсчитала свои долги — они доходили до тридцати двух тысяч франков! Семье грозила самая ужасная нищета. А этот человек, столь благородный и доверчивый, даже не подозревал о том, как она, злоупотребляя доверием мужа, распорядилась их состоянием. И вот она рыдала у ног Рабурдена, прекрасная, словно кающаяся Магдалина.

— Значит, погибло все! — в ужасе вскричал Ксавье. — Значит, я обесчещен не только на служебном поприще, я обесчещен и в своей...

Негодование оскорбленной невинности молнией сверкнуло в глазах Селестины, она вскинула голову, точно лошадь, взвившаяся на дыбы, и бросила на Рабурдена испепеляющий взгляд.

— Я! — величественно бросила она ему. — Я?! — повторила она тоном выше. — Но разве я заурядная, пошлая мещанка? И разве ты не был бы назначен, если бы я поступилась своей честью? Однако, — продолжала она, — то, что случилось, еще более невероятно.

— Так что же случилось? — спросил Рабурден.

— Дело в том, что мы должны тридцать тысяч франков, — отвечала она.

Рабурден в каком-то безумном порыве радости схватил жену и усадил ее к себе на колени.

— Не печалься, дорогая, — сказал он, и голос его был полон такой восхитительной доброты, что ее горькие слезы сменились невыразимо сладостным чувством облегчения. — Я тоже совершил немало ошибок. Я работал без всякой пользы для моего отечества, хотя воображал, что могу ему принести пользу... Теперь я пойду по другой тропинке. Если бы я торговал бакалеей, мы были бы миллионерами. Так вот, станем бакалейщиками. Тебе, мой ангел, всего двадцать восемь лет! Ну что ж, через десять лет промышленность вернет тебе ту роскошь, которую ты так любишь и от которой нам предстоит в ближайшие дни отказаться. Я тоже, дорогая моя девочка, не пошлый человек. Продадим нашу ферму! За семь лет ценность ее возросла. Эта сумма да деньги от продажи нашей обстановки покроют *мои* долги...

За великодушное слово *«мои»* она подарила мужу такой поцелуй, в котором была тысяча поцелуев.

— У нас будет сто тысяч франков, которые мы можем вложить в коммерческое дело, — продолжал он. — Не пройдет и месяца, как я что-нибудь придумаю. Я уверен, что и нам, как Сайяру, подвернется какой-нибудь Мартен Фалейкс. Подожди меня с завтраком. Я иду в министерство и вернусь свободным от ярма нищеты.

Селестина сжала мужа в объятиях с такой силой, какой не бывает у мужчин даже в минуты наибольшего гнева, — ибо под влиянием чувства женщина становится сильней самого крепкого мужчины. Она плакала, смеялась, рыдала, говорила — все вместе.

Когда Рабурден в восемь часов утра вышел из своей квартиры, привратница вручила ему визитные карточки с насмешливыми надписями, оставленные господами Бодуайе, Бисиу, Годаром и прочими. Все же он отправился в министерство, где у входа его ожидал Себастьен, который принялся умолять своего начальника не ходить в канцелярию, ибо там чиновники показывали друг другу гнусную карикатуру на него.

— Если вы хотите смягчить мне горечь падения, принесите сюда этот рисунок, — сказал Рабурден, — я намерен пойти сейчас к Эрнесту де ла Бриеру и лично ему передать свою просьбу об отставке — не то, если она пойдет обычным административным путем, все дело могут извратить. А карикатуру я, по некоторым соображениям, хотел бы иметь в руках.

Убедившись, что его письмо попало к министру, Рабурден вернулся во двор; он нашел Себастьена в слезах; юноша протянул ему литографию.

— Это очень остроумно, — сказал Рабурден сверхштатному писцу, причем лицо его было таким же ясным, как лицо спасителя в терновом венце.

Он спокойно вошел в присутствие и направился прежде всего в канцелярию Бодуайе, чтобы пригласить его в кабинет начальника отделения и сообщить ему все данные относительно тех дел, которыми этот рутинер должен был отныне управлять.

— Скажите господину Бодуайе, что вопрос не терпит отлагательства, — добавил он в присутствии Годара и других чиновников, — мое прошение об отставке уже у министра, и я не хотел бы оставаться лишних пяти минут в канцелярии.

Увидев Бисиу, Рабурден прямо направился к нему и, показывая ему литографию, заметил, ко всеобщему удивлению:

— Разве я был неправ, сказав, что у вас артистическая натура? Жаль только, что вы направили острие своего карандаша против человека, которого нельзя судить таким способом, да еще в канцеляриях. Но во Франции смеются надо всем, даже над господом богом!

Затем он повел Бодуайе в кабинет покойного ла Биллардиера. Возле двери стояли Фельон и Себастьен, единственные, у кого хватило смелости во время катастрофы остаться верными человеку, над которым тяготело обвинение. Видя на глазах у Фельона слезы, Рабурден не мог удержаться и пожал ему руку.

— Судáрь, — сказал тот, — если мы можем хоть чем-нибудь быть вам полезны, располагайте нами.

— Входите же, друзья, — обратился к ним Рабурден с благородной приветливостью. — Себастьен, мой мальчик, пишите прошение об отставке и пошлите его с Лораном, вас, наверно, тоже опутали клеветой, которая меня погубила; но я позабочусь о вашем будущем; я вас не оставлю.

Себастьен разрыдался.

Господин Рабурден заперся с г-ном Бодуайе в бывшем кабинете ла Биллардиера, и Фельон помог ему ознакомить нового начальника отделения со всеми трудностями, с которыми приходится иметь дело администратору. При каждом новом вопросе, который ему разъяснял Рабурден, при появлении каждой новой папки крошечные глазки Бодуайе раскрывались все шире.

— Прощайте, сударь, — наконец сказал Рабурден торжественным и одновременно насмешливым тоном.

Тем временем Себастьен упаковал все бумаги, принадлежащие правителю канцелярии, вынес их и положил в нанятый фиакр. Рабурден прошел через широкий двор министерства, где у окон толпились чиновники, и задержался на несколько минут, ожидая приказаний министра. Министр хранил молчание. Фельон и Себастьен ждали вместе с Рабурденом. Затем Фельон смело проводил низвергнутого начальника на улицу Дюфо и почтительно выразил ему свое восхищение.

Оказав эти похоронные почести непризнанному таланту, он с приятным чувством исполненного долга вернулся на свое место.

Бисиу *(видя входящего Фельона)*. Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni[[84]](#footnote-84).

Фельон. Да, мосье!

Пуаре. Что это означает?

Флeри. Что клерикальная партия ликует, а честные люди продолжают уважать господина Рабурдена.

Дюток *(обиженно)*. Вчера вы этого не говорили.

Флeри. Если вы произнесете еще хоть слово, вы получите пощечину, слышите? Совершенно ясно, что это вы стащили исследование господина Рабурдена.

*(Дюток выходит.)*

Идите, жалуйтесь своему хозяину де Люпо, шпион!

Бисиу *(смеется и гримасничает, словно обезьяна)*. Интересно знать, как пойдут дела в отделении? Господин Рабурден — человек столь замечательный, что у него, наверно, была своя цель, когда он писал этот труд. Министерство лишилось весьма умного чиновника. *(Потирает руки.)*

Лоран. Господина Флeри вызывают к секретарю.

Чиновники обеих канцелярий. Влип!

Флeри *(выходя)*. Это мне безразлично, у меня ведь есть место официального редактора. Весь день я буду свободен, можно разгуливать или делать какую-нибудь занятную работу в редакции газеты.

Бисиу. Из-за Дютока уже уволили эту пешку Деруа, которого обвинили в том, что он способен на самый отчаянный шаг...

Тюилье. *Шах* королю?

Бисиу. Поздравляю! Смотрите, каков остряк!

Кольвиль *(входит; он в радостном настроении)*. Господа, я ваш начальник...

Тюилье *(целует Кольвиля)*. Ах, друг, будь я сам назначен, я бы так не радовался.

Бисиу. Это дело рук его супруги: они у нее недурны, да и ножки тоже.

*(Взрыв смеха.)*

Пуаре. Пусть кто-нибудь вкратце объяснит мне, что у нас сегодня происходит?

Бисиу. Вкратце вот что: отныне прихожая министерства — палата, двор — будуар, прямой путь — самый длинный, а постель больше чем когда-либо — окольная дорожка, которая скорей всего приводит к цели.

Пуаре. Господин Бисиу, прошу вас, объясните, что это значит?

Бисиу. Хорошо, я растолкую вам: кто хочет быть чем-нибудь, должен начать с того, чтобы быть чем угодно. Очевидно, необходима какая-то реформа наших ведомств; ибо, уверяю вас, государство обворовывает своих чиновников не меньше, чем чиновники обворовывают государство, растрачивая время, которое должны ему отдавать; но мы работаем мало оттого, что почти ничего не получаем; нас слишком много для тех дел, которые нужно делать, и моя добродетельная Рабурдина все это поняла. Этот великий администратор, господа, предвидел ту неизбежность, которую дураки называют игрой наших превосходных либеральных учреждений. И вот палата захочет управлять, а администраторы — законодательствовать. Правительство захочет администрировать, а администрация — править. Поэтому законы превратятся в предписания, а ордонансы — в законы. Бог создал нашу эпоху для тех, кто любит посмеяться. Я живу во времена, когда административная власть ставит спектакль, подготовленный величайшим насмешником нашего времени — Людовиком Восемнадцатым. *(Все опешили.)* Господа, если такова Франция, государство, в котором административная власть действует лучше, чем где-либо в Европе, то что же делается в других местах? Бедные страны! Я спрашиваю себя, как они могут жить без двухпалатной системы, без свободы печати, без отчетов и докладных записок, без циркуляров и без целой армии чиновников! Ну, скажите, как они могут держать армию, флот? Как они существуют без дискуссий по поводу каждого вздоха и каждого глотка?.. Можно ли это назвать правительством и отечеством? Меня уверяли (какие-то шутники-путешественники), будто эти страны считают, что у них есть своя политика и что они даже пользуются известным влиянием; но мне их жаль! Ведь у них отсутствует прогресс просвещения, они не способны поднимать вопросы, у них нет независимых трибунов, они погрязли в варварстве. Умен только один французский народ. Вы представляете себе, господин Пуаре *(Пуаре вздрагивает)*, чтобы какая-нибудь страна могла обойтись без начальников отделений, директоров главного управления, без этого великолепного генерального штаба, составляющего славу Франции и императора Наполеона, который имел свои причины на то, чтобы создать все эти должности? И знаете что? Раз эти государства имеют смелость существовать — и в Вене, например, в военном министерстве насчитывают не больше сотни чиновников, тогда как у нас одни оклады и пенсии составляют треть всего бюджета, чего и в помине не было до Революции, — я позволю себе в заключение высказать мысль, что Академия надписей и изящной словесности должна была бы хоть чем-нибудь заполнить свой досуг и объявить премию за решение следующего вопроса: какое государство устроено лучше — то, в котором делается много при небольшом числе чиновников, или то, в котором делается мало при большом числе чиновников?

Пуаре. И это все, что вы можете сказать?

Бисиу. Yes, sir!.. Ja, mein Herr! Si, signor! Da, soudar![[85]](#footnote-85) Не буду обременять вас другими языками.

Пуаре *(воздевая руки к небу)*. Бог мой!.. А еще говорят, что вы остроумны!

Бисиу. Так вы, значит, не поняли?

Фельон. Однако последнее предложение полно глубокого смысла...

Бисиу. ...как и бюджет — столь же сложный, сколь он кажется простым. Я, таким образом, словно освещаю вам фонариком ту пропасть, ту яму, ту бездну, тот кратер вулкана, который «Конститюсьонель» именует «политическим горизонтом».

Пуаре. Я предпочел бы объяснение более понятное.

Бисиу. Да здравствует Рабурден! Вот мое мнение. Вы удовлетворены?

Кольвиль *(серьезно)*. Господин Рабурден виноват только в одном.

Пуаре. В чем же?

Кольвиль. В том, что был государственным деятелем, а не правителем канцелярии.

Фельон *(становясь перед Бисиу)*. Отчего же, судáрь, вы, столь глубоко понимая господина Рабурдена, нарисовали эту мерз... эту низк... эту ужасную карикатуру?

Бисиу. А наши пари? Вы забыли, что мы с чертом заодно и что ваши чиновники проиграли мне обед в «Роше-де-Канкаль»?

Пуаре *(крайне обиженный)*. Значит, мне так и суждено покинуть канцелярию, не поняв ни одной фразы, ни одного слова, ни одной мысли господина Бисиу?

Бисиу. Ваша вина! Спросите у этих господ. Господа, вы поняли смысл моих рассуждений? Они справедливы? Умны?

Все. Увы, да!

Минар. И вот доказательство: я только что написал прошение об отставке. Прощайте, господа, я попытаю счастья в промышленности.

Бисиу. Уж не удалось ли вам изобрести механический корсет или соску, пожарный насос или экипажное крыло от грязи, камин, топящийся без дров, или плиту, чтобы поджаривать котлеты на трех листках бумаги?

Минар *(уходя)*. Это мой секрет.

Бисиу. Что ж, господин Пуаре-младший, что ж, молодой человек, вы видите, все эти господа меня понимают!

Пуаре *(посрамленный)*. Господин Бисиу, окажите мне честь хотя бы один раз поговорить со мной на моем языке, снизойдите до меня...

Бисиу *(подмигивая чиновникам)*. Перед тем как уйти отсюда, вам, вероятно, хотелось бы узнать, что вы такое.

Пуаре *(поспешно)*. Порядочный человек, сударь.

Бисиу *(пожимая плечами)*. ...то есть определить, объяснить, постичь, проанализировать, что такое чиновник... Вы могли бы это сделать?

Пуаре. Мне кажется.

Бисиу *(вертя его пуговицу)*. А я сомневаюсь.

Пуаре. Это человек, которому государство платит за то, чтобы он выполнял известную работу.

Бисиу. Тогда, по-видимому, солдат — тоже чиновник.

Пуаре *(смущенно)*. Ну, нет.

Бисиу. Однако государство платит солдату за то, чтобы он стоял на карауле и маршировал на смотрах. Вы возразите, что он слишком сильно желает уйти со своего места, что он слишком мало сидит на месте, слишком много работает и хотя он то и дело позвякивает ружьем, но редко случается ему позвякать монетами.

Пуаре *(широко раскрывает глаза)*. Но послушайте, сударь, логичнее всего будет признать, что чиновник — это человек, который существует на свое жалованье и не может уйти со своего места, ибо только и умеет, что быть экспедитором.

Бисиу. Ну, вот мы и приближаемся к решению вопроса... Следовательно, канцелярия для чиновника — это как бы его скорлупа. Иными словами, нет чиновников без канцелярии, и нет канцелярии без чиновников. Но куда же мы тогда отнесем таможенного досмотрщика? *(Пуаре, пытаясь переступить с ноги на ногу, на мгновение отодвигается от Бисиу, тот отрывает ему пуговицу и берет его за другую.)* Ну! С бюрократической точки зрения он оказался бы существом промежуточным. Таможенный досмотрщик лишь наполовину чиновник, и, так же как он пребывает на границе между двумя государствами, так же он стоит на границе между канцелярией и армией: не совсем солдат и не совсем чиновник. Но послушайте, папаша, к чему это нас приведет? *(Крутит пуговицу Пуаре.)* Где кончается чиновник? Вопрос весьма важный. Например, префект — чиновник?

Пуаре *(робко)*. Должностное лицо.

Бисиу. Ага! Вот вы и пришли к нелепому выводу, что должностное лицо — не чиновник!

Пуаре *(сбитый с толку, обводит взглядом всех чиновников)*. Господин Годар как будто хочет что-то сказать.

Годар. Чиновник — это вид, а должностное лицо — род.

Бисиу *(улыбаясь)*. Я не считал вас способным на столь остроумную классификацию, о достойный экземпляр одного из подвидов!

Пуаре. К чему это ведет?

Бисиу. Ну-ну, папаша, не мешайте, а то мы совсем запутаемся. Слушайте внимательно, и мы поймем друг друга. Давайте установим аксиому, которую я завещаю канцеляриям! Там, где кончается чиновник, начинается должностное лицо, а где кончается должностное лицо — начинается государственный деятель. Однако среди префектов мало попадается государственных деятелей. Поэтому префект есть нечто промежуточное. Не так ли? Он где-то между государственным деятелем и чиновником, подобно тому как таможенный досмотрщик — наполовину лицо гражданское, наполовину — военное. Давайте распутывать дальше эти глубокомысленнейшие вопросы.

*(Пуаре багровеет.)*

Нельзя ли все это сформулировать в теореме, достойной Ларошфуко: при окладе, превышающем двадцать тысяч франков, чиновника больше не существует. Мы можем с математической точностью вывести отсюда следующий королларий: государственного деятеля можно найти в зоне высоких окладов. И второй королларий, не менее важный и логически неизбежный: директора главных управлений могут быть и государственными деятелями. Не потому ли многие депутаты говорят себе: «Как хорошо быть директором главного управления!» Но в интересах французского языка и Академии...

Пуаре *(словно завороженный пристальным взглядом Бисиу)*. Французский язык!.. Академия...

Бисиу *(отрывает еще одну пуговицу и берется за верхнюю)*. Да, в интересах нашего прекрасного языка, следует заметить, что если правитель канцелярии может, на крайний случай, еще считаться чиновником, то начальник отделения уже должен быть бюрократом. Эти господа... *(повертывается к чиновникам и показывает третью пуговицу, оторванную им от сюртука Пуаре)* эти господа вполне оценят столь деликатное внимание к оттенкам. Итак, папаша Пуаре, на правителе канцелярии категория чиновников кончается. Таким образом, вопрос поставлен правильно, всякая неясность исчезла, и понятие «чиновник», казавшееся неопределимым, нами определено.

Пуаре. Мне кажется, это несомненно.

Бисиу. Однако сделайте одолжение, ответьте на следующий вопрос: так как судья несменяем, а следовательно, согласно вашему тонкому разграничению, не может быть отнесен к должностным лицам, но вместе с тем не имеет оклада, соответствующего его труду, — то можно ли его отнести к классу чиновников?

Пуаре *(разглядывает лепку на потолке)*. Сударь, я уже потерял нить...

Бисиу *(отрывая четвертую пуговицу)*. Мне хотелось показать вам, сударь, насколько все это при ближайшем рассмотрении сложно, а особенно подчеркнуть то, что я скажу сейчас и что предназначается для философов (если вы разрешите мне переиначить слова Людовика Восемнадцатого): стараясь в чем-нибудь разобраться, можешь совсем запутаться.

Пуаре *(отирая лоб)*. Простите, сударь, меня мутит... *(Пытается застегнуть сюртук.)* Ах, вы оторвали мне все пуговицы.

Бисиу. Так вы, наконец, поняли?

Пуаре *(недовольным тоном)*. Да, сударь... да, я понимаю, что вы просто хотели сыграть со мною скверную шутку и незаметно оторвать все мои пуговицы.

Бисиу *(торжественно)*. Старец! Вы ошибаетесь! Мне хотелось запечатлеть в вашем мозгу возможно более яркую картину конституционной власти *(все чиновники смотрят на Бисиу; Пуаре, опешив, уставился на него с какой-то тоскливой тревогой)* и, таким образом, сдержать слово. Я воспользовался иносказательными приемами дикарей. Слушайте! Пока министры разглагольствуют в палате, примерно столь же содержательно и плодотворно, как мы сейчас, — административная власть под шумок обрывает пуговицы у налогоплательщиков.

Все. Браво, Бисиу!

Пуаре *(он на этот раз понял)*. Я теперь не жалею о своих пуговицах.

Бисиу. А я поступлю так же, как Минар, я больше не желаю расписываться в получении грошей и лишу министерство своего сотрудничества. *(Выходит, сопровождаемый смехом всех чиновников.)*

Тем временем у министра происходила другая сцена, более поучительная, чем предыдущая, ибо она показывает, как гибнут в высших сферах великие идеи и как там утешаются в несчастье.

В эту минуту де Люпо представлял министру нового директора, г-на Бодуайе. В гостиной, кроме них, были два-три влиятельных депутата, поддерживающих министерство, и г-н Клержо, которому его превосходительство только что обещал приличный оклад. Обменявшись несколькими банальными фразами, присутствующие заговорили о злободневных событиях.

Один из депутатов. Значит, вы с Рабурденом расстаетесь?

Де Люпо. Он подал в отставку.

Клержо. Говорят, он задумал реформу всей административной системы?

Министр *(глядя на депутатов)*. В канцелярии оклады, быть может, и не соответствуют тем требованиям, которые предъявляются чиновникам.

Де ла Бриер. Господин Рабурден утверждал, что сто чиновников, получая по двенадцати тысяч франков, справятся с работой быстрее и лучше, чем тысяча получающих по тысяче двести.

Клержо. Может быть, он и прав.

Министр. Что вы хотите? Так уж устроена эта машина, нужно было бы ее сломать и построить заново, но у кого хватит на это смелости при нашей парламентской трибуне, под огнем дурацких декламаций оппозиционеров или свирепых статей в печати? Отсюда следует, что настанет день, когда правительство и администрация принуждены будут искать выхода из порочного круга своих взаимоотношений.

Первый депутат. Почему?

Министр. Судите сами! Министр задается благими целями и не может осуществить их. По вине вашей палаты время, отделяющее замысел от его осуществления, станет бесконечным. И если даже вы действительно сделали невозможной грошовую кражу, то вы все-таки будете не в силах помешать корыстным служебным злоупотреблениям. Согласие на известные операции будет зависеть от тайных сговоров, за которыми трудно уследить. И, наконец, у чиновников, от писца до правителя канцелярии, будет собственное суждение; они уже не явятся руками, которыми управляет единый мозг, исполнителями воли правительства; оппозиция стремится предоставить им право выступать против него, голосовать против него, судить его.

Бодуайе *(вполголоса, но так, чтобы его все же слышали)*. Его высокопревосходительство поистине великий мыслитель!

Де Люпо. У бюрократии, разумеется, есть ошибки: я считаю, что она медлительна и дерзка, она слишком тормозит деятельность министерств, она кладет под сукно немало проектов, душит прогресс, но административная власть во Франции сама по себе чрезвычайно полезна...

Бодуайе. Без сомнения!

Де Люпо. ...хотя бы для продажи бумаги и для гербовых сборов. А если она, как все превосходные хозяйки, излишне придирчива, зато может в любую минуту дать полный отчет в своих расходах. Какой разумный негоциант с радостью не выбросит пяти процентов со всей своей продукции, со всего своего оборотного капитала, только бы застраховать себя от растратчиков?

Другой депутат *(владелец мануфактурного предприятия)*. Промышленники Старого и Нового света обеими руками подписали бы подобное соглашение с тем злым демоном, который называется растратой.

Де Люпо. Ну что ж, хотя статистика — игрушка нынешних государственных деятелей, ибо они воображают, что цифры — это и есть расчет, все же цифры нужны при расчетах. Так давайте считать. Впрочем, цифра — самый убедительный аргумент для общества, основанного на личном интересе и на деньгах, а наше общество, созданное хартией, именно таково! По крайней мере я так думаю! Немножко цифр — это для мыслящих масс самое убедительное. Как уверяют наши деятели левой, в конце концов все решается цифрами. Так обратимся к цифрам. *(Министр отходит в сторону с одним из депутатов и беседует с ним вполголоса.)* Во Франции существует до сорока тысяч чиновников, этот подсчет сделан на основе окладов; дорожный сторож, метельщик или работница на сигарной фабрике не являются чиновниками. Средний оклад чиновника составляет полторы тысячи франков в год. Помножьте полторы тысячи на сорок тысяч, и вы получите шестьдесят миллионов. И, конечно, публицист мог бы прежде всего указать Китаю и России, где все чиновники воры, а также Австрии, американским республикам и всему свету, что за эти деньги Франция обладает самой дотошной и придирчивой, самой бумаголюбивой и чернилолюбивой, самой счетолюбивой, хитроумной, въедливой и аккуратной — словом, самой лучшей в мире экономкой, какой только может быть административная власть! У нас нельзя ни израсходовать, ни получить ни одного сантима без особого письменного требования, без подтверждающих документов, которые и проводятся по кассовым ведомостям с приложением особой квитанции, а требование и квитанция регистрируются, контролируются, проверяются людьми в очках. При малейшем отступлении от формы чиновник пугается, ибо дотошность его кормит. Многие государства вполне удовольствовались бы такими порядками, но Наполеону и этого было мало. Великий организатор восстановил институт высших должностных лиц при единственном в своем роде суде. Эти люди проводят целый день за проверкой бон, бумаг, росписей и описей, залоговых квитанций, платежных расписок, принятых и выданных вкладов и т. п. — словом, всех документов, составленных чиновниками. У этих неподкупных судей талант точности, гений сыска, зоркость рыси и проницательность в отношении счетов, доведенная до такой степени, что подобные люди готовы сызнова проделать все вычисления, чтобы откопать какую-нибудь неуловимую, ничтожную разность. Эти благородные жертвы цифр способны спустя два года вернуть какому-нибудь военному интенданту его отчет, если он в нем ошибся на два сантима. Таким образом, французская административная власть, самая чистопробная изо всех, которые занимаются бумагомарательством на земном шаре, достигла того, что во Франции, как сейчас заметил его превосходительство, воровство невозможно, лихоимство — миф. Что против этого возразить? Государственные доходы составляют в нашей стране один миллиард двести миллионов франков, и она их тратит целиком, вот и все. Миллиард двести миллионов поступают в ее кассы, и столько же из них уходит. Таким образом, ее оборот составляет два миллиарда четыреста тысяч франков, и она платит только шестьдесят миллионов, то есть два с половиной процента, за уверенность, что она застрахована от растраты. Поваренная книга нашей политической кухни стоит шестьдесят миллионов, но ведь жандармерия, суды, тюрьмы и полиция стоят столько же — и ни сантима не возвращают. А к тому же мы находим применение людям, которые, будьте уверены, ничего другого делать не умеют, поэтому расточительство, если оно у нас существует, может быть только вполне легальным и высоконравственным; обе палаты являются его соучастницами, оно узаконено. Растраты сводятся разве лишь к тому, что государство занято делами, в которых нет необходимости ныне или никакой надобности вообще, — например, меняет нашивки у солдат, затевает постройку кораблей, не позаботившись о корабельном лесе, так что потом приходится покупать его втридорога; готовится к войне, которой так и не объявляет; платит долги какой-нибудь державы и не требует их возмещения или по крайней мере гарантий и т. д. и т. п.

Бодуайе. Это растраты высшего порядка, и чиновников они не касаются. За плохое управление страной отвечает государственный деятель, стоящий у кормила власти.

Министр *(он кончил беседу с депутатом)*. В том, что сказал де Люпо, есть доля истины; но *(обращаясь к Бодуайе)* знаете, господин директор, никто не умеет становиться на точку зрения государственного деятеля. Отдавать приказы относительно разного рода расходов, даже бесполезных, еще не значит — плохо управлять. Ведь, согласитесь, это все-таки способствует обращению денег, которым все больше угрожает опасность, особенно во Франции, превратиться в мертвый капитал из-за скаредной и глубоко нелепой привычки провинциалов накапливать кучи золота...

Депутат *(слушавший де Люпо)*. Но если ваше превосходительство правы и если наш остроумный друг *(берет де Люпо под руку)* также не ошибается, то какой же из этого следует вывод?

Де Люпо *(посмотрев на министра)*. Видимо, что-то все-таки придется изменить...

Де ла Бриер *(робко)*. Значит, господин Рабурден прав?

Министр. Я повидаюсь с Рабурденом.

Де Люпо. Ошибка этого бедняги состоит в том, что он взял на себя смелость вершить суд над администрацией и людьми, которые к ней принадлежат; он хочет, чтобы осталось всего три министерства...

Министр *(прерывая его)*. Да он с ума сошел!

Депутат. А как же тогда в министерствах были бы представлены руководители парламентских партий?

Бодуайе *(с улыбкой, которая ему кажется тонкой)*. Уж не намеревался ли господин Рабурден изменить и конституцию, данную нам королем-законодателем?

Министр *(задумчиво берет под руку де ла Бриера и уводит его)*. Мне хотелось бы прочитать этот план Рабурдена, и так как вы с Рабурденом знакомы...

Де ла Бриер *(в кабинете министра)*. Он все сжег. Вы допустили, чтобы Рабурдена опозорили, и он ушел из министерства. Не верьте, ваше высокопревосходительство, что у него, как старается всем внушить де Люпо, было намерение хоть что-нибудь изменить в нашей совершенной системе централизованной власти!

Министр *(про себя)*. Я сделал ошибку. *(Некоторое время молчит.)* Ну, не беда! В проектах реформ у нас никогда недостатка не будет...

Де ла Бриер. Недостаток у нас не в идеях — исполнителей нет.

В кабинет вошел де Люпо, этот мастер защищать злоупотребления.

— Ваше превосходительство, я уезжаю к своим избирателям.

— Подождите! *(Его превосходительство прервал разговор со своим личным секретарем и отошел с де Люпо к окну.)* Оставьте мне этот округ, мой милый, взамен вы получите графский титул, и я уплачу ваши долги... Словом, если после смены палаты я останусь у дел, то обещаю, что при ближайшем назначении вас сделают пэром Франции.

— Вы человек своего слова, я согласен.

Так Клеман Шарден де Люпо, сын человека, получившего дворянство при Людовике XV и имевшего право на герб — *четырехпольный щит: на первом, серебряном, поле — черный волк, уносящий в зубах красного ягненка; на втором, пунцовом, — три серебряных пряжки; на третьем — три красно-серебряных вертикальных полосы и двенадцать геральдических фигур; на четвертом, золотом, — красный жезл, поставленный вертикально на шлем, заштрихованный косыми чертами; четыре лапы грифонов, выступающие по бокам и поддерживающие щит; девиз — «en lupus in historia»[[86]](#footnote-86)*, — мог теперь увенчать графской короной этот герб, доставшийся ему по иронии судьбы.

В 1830 году, в конце декабря, г-ну Рабурдену пришлось посетить по одному делу бывшее свое министерство, где все канцелярии были уже перетряхнуты сверху донизу. Этот переворот особенно тяжело сказался на канцелярских служителях, которые весьма не любят иметь дело с новыми лицами. Явившись с раннего утра в присутствие, где он знал все входы и выходы, бывший правитель канцелярии невольно услышал следующий диалог, происходивший между двумя племянниками Антуана, — дядя уже успел выйти в отставку.

— Ну, как поживает твой начальник отделения?

— И не говори, ничего я с ним не могу поделать. Он звонит мне, чтобы спросить, не видел ли я, где его носовой платок или табакерка. Всякого тут же принимает, даже подождать не заставит, нет в нем ни капли собственного достоинства. Приходится учить его: «Сударь, его сиятельство, ваш предшественник, ради своего престижа кресло изволили перочинным ножичком ковырять, чтобы люди думали, будто граф работают». Словом, все у него вверх дном! То и дело прибирай за ним, везде беспорядок; нет, видимо, он очень недалек. А твой?

— Мой? О, я наконец приучил его. Он теперь знает, где лежит его почтовая бумага, конверты, все его вещи. Мой прежний чертыхался, а этот кроткого нрава... Но у него нет никакого величия; потом, он не получил ни одного ордена, а я не люблю, когда у начальника нет орденов: его можно принять за одного из нас, это унизительно. Он таскает бумагу из канцелярии; а на днях спросил меня, не могу ли я приходить к нему на дом и прислуживать за столом, когда у него гости.

— Какое нынче правительство, милый мой!

— Да, все скареды.

— Лишь бы нам не урезали наше несчастное жалованье!

— Я очень боюсь этого! Палаты вникают во все мелочи. Дрова для печки, и то отсчитывают!

— Ну, если они возьмут такую манеру, все это долго не продержится.

— Тсс... Вот маху дали, нас кто-то слышал!

— Пустяки, это покойный господин Рабурден... Ах, сударь, я сразу вас узнал по осанке... Если у вас тут какое-нибудь дело, так никто даже не догадается, с каким уважением с вами обходиться надо; только одни мы и остались с тех времен... Господа Кольвиль и Бодуайе не успели просидеть свои кожаные кресла после вашего ухода... Ох, господи, да их уже через полгода назначили сборщиками податей в Париже...

*Париж, июль 1836 г.*

1. Превосходнейшей синьоры Иполиты Висконти и Ателлана. [↑](#footnote-ref-1)
2. Превосходнейший господин Джироламо Унгаро, купец из Лукки. [↑](#footnote-ref-2)
3. Наваррский дворянин женится на той, которая была его сестрой и дочерью, о чем он не знает. [↑](#footnote-ref-3)
4. Добродетельной, благороднейшей, славнейшей графини Серафине Сан‑Северино. [↑](#footnote-ref-4)
5. *...в первые дни Реставрации носил орден Лилии.* — Орден, утвержденный Людовиком XVIII, изображал белую лилию, эмблему династии Бурбонов. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Атаназ Грансон* — персонаж романа Бальзака «Старая дева», покончил самоубийством из‑за неразделенной любви. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Макиавеллизм* — коварная, лицемерная политика, не отступающая ни перед какими средствами для достижения цели; названа по имени итальянского политического деятеля эпохи Возрождения Макиавелли (1469—1527). [↑](#footnote-ref-7)
8. *Гондревиль* — персонаж из романов Бальзака «Темное дело», «Депутат из Арси», «Супружеское согласие» и др. — крупный государственный сановник. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Де Трай* — персонаж из романов Бальзака «Гобсек», «Беатриса», «Цезарь Бирото», «Кузина Бетта» и др. — великосветский авантюрист. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Г‑жа де Сталь* , Анна‑Луиза‑Жермена (1766—1817) — французская писательница, представительница либерального французского романтизма, автор романов «Дельфина» и «Коринна». [↑](#footnote-ref-10)
11. *Бюффон* , Жан‑Луи Леклерк (1707—1788) — знаменитый французский естествоиспытатель, автор «Естественной истории», в которой он высказал мысль об изменяемости видов под влиянием окружающей среды. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Сикст Пятый* — римский папа (1585—1590), отличался непомерным честолюбием и стремился играть выдающуюся роль в политике западноевропейских государств. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Мазарини* (1602—1661) — первый министр и фактический правитель Франции в годы малолетства Людовика XIV. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Сюжер* (ум. 1151) — аббат, правивший Францией во время отсутствия Людовика VII, когда тот уехал в Крестовый поход. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Сюлли* , барон Рони (1560—1641) — главный советник Генриха IV по управлению государством. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Шуазель* , Этьен Франсуа (1719—1785) — министр Людовика XV. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Кольбер* , Жан Батист (1619—1683) — министр Людовика XIV. [↑](#footnote-ref-17)
18. *...трое скорее договорятся, чем семеро.* — Во Франции в эпоху Реставрации было семь министров: иностранных дел, военный, морской, финансов, юстиции, внутренних дел и дворцового ведомства. [↑](#footnote-ref-18)
19. *...налог на двери и окна...* — был введен во Франции во время Директории; взимался по количеству дверей и окон в доме. [↑](#footnote-ref-19)
20. *...при возобновлении закона о монополии на табак...* — Государственная монополия на табак была упразднена во Франции первой французской буржуазной революцией; временно возобновленная в эпоху Наполеона, монополия на табак была окончательно восстановлена при Реставрации. [↑](#footnote-ref-20)
21. *...де Люпо принадлежал к роду Бертранов и занят был только отысканием Ратонов...* — В басне Лафонтена «Обезьяна и кот» обезьяна Бертран заставляет кота Ратона таскать для себя каштаны из огня. Имена хитрого Бертрана и простака Ратона стали во Франции нарицательными. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Бонно* — персонаж из поэмы Вольтера «Орлеанская девственница»; играл роль сводника в любовных делах короля Карла VII. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Бертье* , Луи Александр (1753—1815) — маршал Наполеона I. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Отец Жозеф* , монах Жозеф дю Трамбле, прозванный «Серым кардиналом», — доверенное лицо кардинала Ришелье; беспринципный и жестокий, «отец Жозеф» не имел никакого официального звания, но пользовался огромной властью в государстве. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Бейль* , Пьер (1647—1706) — французский философ, предшественник французских просветителей XVIII века. Его главное произведение «Исторический и критический словарь» сыграло большую роль в борьбе против феодально‑церковной идеологии. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Принц Ваграмский* — титул Бертье, маршала Наполеона I. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Гефестион* (ум. в 324 г. до н. э.) — соратник и ближайший друг Александра Македонского. [↑](#footnote-ref-27)
28. *...буфеты Буль...* — художественная, богато инкрустированная мебель в «стиле Буль», названа по имени французского художника‑мебельщика Андре‑Шарля Буля (1642—1732). [↑](#footnote-ref-28)
29. *Асмодей* — злой демон еврейских сказаний. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Селимена* — персонаж комедии Мольера «Мизантроп» (1766); тип светской кокетки. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Он слишком молод, и у него нет ценза...* — В годы Реставрации во Франции членами палаты депутатов могли быть только лица, достигшие сорокалетнего возраста и платившие не менее ста франков прямых налогов. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Перье* , Казимир (1777—1832), *Манюэль* , Жак‑Антуан (1775—1827) — французские политические деятели, принадлежавшие в период Реставрации к различным группам либеральной оппозиии. Упоминая имена Перье и Манюэля, министр в своей беседе с депутатом намекает на обычную для буржуазной избирательной системы фальсификацию выборов в парламент. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Перье* , Казимир (1777—1832), *Манюэль* , Жак‑Антуан (1775—1827) — французские политические деятели, принадлежавшие в период Реставрации к различным группам либеральной оппозиии. Упоминая имена Перье и Манюэля, министр в своей беседе с депутатом намекает на обычную для буржуазной избирательной системы фальсификацию выборов в парламент. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Брийа‑Саварен* (1755—1826) — французский писатель, автор книги «Физиология вкуса». [↑](#footnote-ref-34)
35. *Император Александр* — имеется в виду русский император Александр I. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Гужон* , Жан — знаменитый французский скульптор эпохи Возрождения. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Диана де Пуатье* (1499—1566) — фаворитка французского короля Генриха II. [↑](#footnote-ref-37)
38. *Бильбоке* — центральный персонаж из комедии «Паяцы» Дюмерсана и Варена, поставленной впервые в Париже в 1831 году. [↑](#footnote-ref-38)
39. *«Восточный вопрос»* — термин, обозначавший в истории дипломатии совокупность сложных противоречий, связанных с борьбой европейских государств в XVIII—XIX веках за влияние в Турции и на Балканском полуострове. Впервые термин «Восточный вопрос» вошел в политический обиход в 1831 году. [↑](#footnote-ref-39)
40. *Севрен* (1771—1853) — французский драматург, автор комедий и водевилей. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Пиксерекур* , Гильбер де (1773—1844) — французский драматург, создатель мелодрамы. [↑](#footnote-ref-41)
42. *Планар* (1783—1855) — французский драматург, автор комедий и водевилей. [↑](#footnote-ref-42)
43. *Пиго‑Лебрен* , Шарль‑Антуан (1753—1835) — французский писатель, автор фривольных романов. [↑](#footnote-ref-43)
44. *Пиис* (1755—1838) — французский поэт‑песенник и автор водевилей. [↑](#footnote-ref-44)
45. *Дювике* (1766—1835) — французский театральный критик. [↑](#footnote-ref-45)
46. *Левенгук* , Антуан (1632—1723) — голландский ученый, и *Мальпиги* (1628—1694) — итальянский ученый, впервые в XVII веке применили микроскоп для научных исследований в области биологии. [↑](#footnote-ref-46)
47. *Де Распайль* , Франсуа (1794—1878) — французский ученый (химик и медик) и политический деятель, участник революций 1830 и 1848 годов. [↑](#footnote-ref-47)
48. *...как это пытался сделать берлинец Гофман...* — намек на повесть немецкого романтика Гофмана (1776—1822) «Повелитель блох», в которой герой с помощью микроскопического стеклышка читает мысли людей. [↑](#footnote-ref-48)
49. *Калло* (1592—1635) — известный французский рисовальщик и гравер, пользовавшийся приемами реалистического гротеска. [↑](#footnote-ref-49)
50. *Пакье* , Этьен — префект полиции при Наполеоне I. — *Моле* , Луи‑Матье — министр юстиции при Наполеоне I. Благодаря своему умению приспособиться к любому правительству оба занимали крупные посты также и в период Реставрации и Июльской монархии. [↑](#footnote-ref-50)
51. *Конгрегация* — религиозная организация католической церкви; во времена Реставрации один из важнейших проводников политической реакции. [↑](#footnote-ref-51)
52. *Ленде* , Робер (1746—1825) — член Конвента, министр финансов при Директории. [↑](#footnote-ref-52)
53. *...в насмешку над его матримониальными планами прозвали его «голубок Вильом».* — Во время Империи некий Вильом был управляющим брачной конторы. [↑](#footnote-ref-53)
54. *Амадис* — герой популярного в средние века рыцарского романа «Амадис Галльский»; во имя любви к прекрасной принцессе совершил ряд необыкновенных подвигов. [↑](#footnote-ref-54)
55. *Дело Фюальдеса* — нашумевший во время Реставрации судебный процесс, связанный с убийством прокурора Фюальдеса в публичном доме. [↑](#footnote-ref-55)
56. *Процесс Кастена* — нашумевший во время Реставрации судебный процесс, связанный с делом доктора Кастена, отравившего своего друга и его брата, чтобы овладеть их имуществом. [↑](#footnote-ref-56)
57. *Поля убежищ* — французская колония на берегу Мексиканского залива, основанная бежавшими от преследования в период Реставрации бонапартистами. [↑](#footnote-ref-57)
58. *Галль* , Франц‑Иосиф (1758—1828) — австрийский врач и анатом, создатель теории френологии, согласно которой якобы существует неразрывная связь между психическими особенностями человека и формой его черепа. [↑](#footnote-ref-58)
59. Целомудренная богиня моего Генриха (*лат.*). [↑](#footnote-ref-59)
60. *«Победы и завоевания»* — сборники статей о действиях французской армии, выходившие с 1817 по 1821 год. [↑](#footnote-ref-60)
61. *Боливар* , Симон (1783—1830) — один из вождей национально‑освободительного движения в испанских колониях Америки в начале XIX века. [↑](#footnote-ref-61)
62. *Лаффит* , Жак (1767—1844) — банкир, во время Июльской монархии возглавил кабинет министров. [↑](#footnote-ref-62)
63. *Делавинь* , Казимир (1793—1843) — французский поэт и драматург. [↑](#footnote-ref-63)
64. *Курье* , Поль‑Луи (1772—1825) — французский ученый‑эллинист и писатель. Выступал с остроумными политическими памфлетами против правительства Реставрации. [↑](#footnote-ref-64)
65. *Мишель Кретьен* — персонаж из произведений Бальзака «Утраченные иллюзии», «Тайны княгини де Кадиньян» и др. Образ Мишеля Кретьена, пламенного республиканца и демократа, нарисован Бальзаком с большим сочувствием. [↑](#footnote-ref-65)
66. *Молодая Германия* и *Молодая Италия* . — В период революционного движения 30‑х годов XIX века в Италии создалось тайное общество «Молодая Италия» (1831), ставившее себе целью борьбу за республику и за государственное и национальное единство Италии. По образцу «Молодой Италии» в 1834 году в Швейцарии возникло тайное революционное общество немецких эмигрантов «Молодая Германия», ставившее себе аналогичные цели. [↑](#footnote-ref-66)
67. *Вольней* , Константен Франсуа (1757—1820) — французский ученый‑востоковед и писатель. [↑](#footnote-ref-67)
68. *...охрана, которая сдается, но не умирает...* — Бисиу пародирует слова, приписываемые наполеоновскому генералу Камбронну: «Гвардия умирает, но не сдается». [↑](#footnote-ref-68)
69. *Рейша* , Антуан‑Жозеф (1770—1836) — чешский композитор, профессор музыки в Париже. [↑](#footnote-ref-69)
70. *Одри* , Жак‑Шарль (1781—1853) — комический актер. [↑](#footnote-ref-70)
71. *Немножко пошуанил* — то есть принимал участие в контрреволюционном восстании шуанов в Вандее во время первой французской буржуазной революции. [↑](#footnote-ref-71)
72. *Операция под Кибероном.* — Во время французской революции, в 1795 году, контрреволюционный отряд французских эмигрантов, субсидируемых Англией, высадился в Бретани на Киберонском полуострове с целью поднять восстание против Республики, но был разбит революционными войсками. [↑](#footnote-ref-72)
73. *...издание Бодуэна...* — состояло из 40 томов мемуаров, посвященных второстепенным деятелям первой французской буржуазной революции 1789 года. [↑](#footnote-ref-73)
74. *...как провалились Булонская экспедиция и поход в Россию...* — В 1805 году Наполеон сосредоточил большую армию в Булони, на берегу Ла‑Манша, с целью организовать вторжение в Англию через пролив. Эта попытка окончилась неудачей. После похода в Россию в 1812 году наполеоновская армия была окончательно разгромлена. [↑](#footnote-ref-74)
75. Споры судьба решает (*лат.*). [↑](#footnote-ref-75)
76. *Ветреник* и *Маскариль* — персонажи из комедия Мольера «Ветреник». Ловкий лакей Маскариль старается устроить любовные дела своего молодого хозяина, но тот сумасбродными выходками беспрестанно разрушает интриги своего слуги. [↑](#footnote-ref-76)
77. *Барер* , Бертран (1755—1841) — член Конвента и Комитета общественного спасения. [↑](#footnote-ref-77)
78. *Кифера* — один из Ионических островов, известный в античности культом богини любви Афродиты (Киферейи). [↑](#footnote-ref-78)
79. Сладостного безделия (*итал.*). [↑](#footnote-ref-79)
80. Отсюда — гнев (*лат.*). [↑](#footnote-ref-80)
81. *Он имел в виду четырех сержантов Ла‑Рошели.* — Четыре сержанта, служившие в городе Ла‑Рошель, были казнены в 1822 году в Париже за участие в заговоре против Бурбонов. — *Бертон* , Жан‑Батист — наполеоновский генерал, также был казнен в 1822 году за участие в заговоре против Бурбонов. — *Ней* , Мишель — маршал Наполеона, был расстрелян в 1815 году правительством Бурбонов. — *Карон* , Огюст‑Жозеф — полковник наполеоновской армии, был расстрелян в 1822 году за попытку освободить из тюрьмы участников заговора, возглавляемого Бертоном. — *Братья Фоше* , Цезарь и Константен, — участники революционных и наполеоновских войн, были казнены правительством Бурбонов в 1815 году. [↑](#footnote-ref-81)
82. Со временем! (*итал.*). [↑](#footnote-ref-82)
83. *«Помогай себе сам, и небо тебе поможет»* — общество, основанное в 1826 году доктринерами, поставившими себе целью образование партии «Золотой середины», далекой от всех крайних партий эпохи Реставрации. [↑](#footnote-ref-83)
84. Был победитель — богам, побежденный — Катону любезен (*лат.*). [↑](#footnote-ref-84)
85. Да, сударь! (*англ., нем., итал., русск.*) [↑](#footnote-ref-85)
86. Вот волк, о котором повествует история (*лат.*). [↑](#footnote-ref-86)